ВРЕМЯ И МЫ

83

1985

В ЭТОМ НОМЕРЕ: УБИЙСТВО МАЙОРА КОЛЛИНСА, ИЛИ США ПРИ КОММУНИЗМЕ ● СССР: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ ● СТАЛИН ПЕРЕД ЗАХВАТОМ ВЛАСТИ ● ТРАГЕДИЯ ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА

Зиновий Зиник
Руссофобка и фунгофил. Новый роман

Марина Глазова
Синий циферблат. Лирика

Ефим Эткинд
О сумрачной России. Критическое эссе

ВРЕМЯ и МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Одиннадцатый год издания

Выходит один раз в два месяца

83
1985

НЬЮ-ЙОРК-ИЕРУСАЛИМ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1985

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
АСЯ КУНИК *(отв. секретарь)*
ИЛЬЯ ЛЕВКОВ
ЛЕВ НАВРОЗОВ
ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДОРА ШТУРМАН *(зам.гл.редактора)*
ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине
Juscwa Mischijew
Amsterdamerstr. 14
1000 Berlin 65

OCR и вычитка - Давид Титиевский, март 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА
Зиновий ЗИНИК
Руссофобка и фунгофил 5
Владимир МАТЛИН
Робник 91

ПОЭЗИЯ
А.ЕРЕМЕНКО
Гипсовый шок 107
Марина ГЛАЗОВА
Синий циферблат 111

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА
Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Эссе о подземных водах 116
Ефим МАНЕВИЧ
Нужен ли Москве Израиль? 130
Ефим ЭТКИНД
О сумрачной России 137
МАРРАН
Пляски у заветной черты 148

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Семен ЛИПКИН
Арест романа 172
Михаил РЕЙМАН
Сталин перед захватом власти 198

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"
Истоки самобытности 234

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

©"Время и Мы"

ISSN 0737 7061

Зиновий ЗИНИК

РУССОФОБКА И ФУНГОФИЛ

5. НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН

Все эмоции уходили на затянувшийся роман с Костей — и не только эмоции: на постоянные наезды в Москву уходили все деньги. Первые месяцы она утешала себя тем, что в глазах лондонских приятелей она стала существом особым. Под маской заурядной секретарши жила ходячая легенда о загадочной России. Но на доказательство загадочности этой России уходило все больше и больше сил и денег. Одно время отбою не было от приглашений на ужины и ленчи, где неизбежно возникал "русский вопрос", и тогда все головы поворачивались к ней, и она небрежной скороговоркой растолковывала рецепт "тюремной баланды" в сочинениях Солженицына или меню кремлевских руководителей по спецзаказам из партраспределителя.

Незаметно для себя самой она постоянно возвращалась в разговорах о России к одной единственной теме: продуктам питания, просто потому, что только это и интересовало Костю. В свою очередь только этим был, видимо, интересен Костя

Продолжение. Начало в № 82.

своим друзьям. Эти друзья! Они проявляли дружеские чувства только тогда, когда Костя устраивал для них вечера кулинарных излишеств. Как только от мяса оставались кости, пропадал и интерес к Костиной персоне. Как постепенно пропадал интерес к российским историям Клио со стороны ее лондонских друзей. Их не трогало, есть ли колбаса или творог на прилавках московских продмагов. Они переживали за безработицу в Великобритании, а поскольку в Советском Союзе безработица запрещена законом и человек за тунеядство может получить тюремный срок с принудительными работами, перебои с продуктами не могли затмить в их глазах свет социализма.

Тем более Клио не могла связно и доказательно продемонстрировать постоянную нехватку продуктов среди трудового населения страны социализма. По мнению друзей Кости, мясные продукты исчезли с прилавков просто потому, что все российские коровы и быки заняли место в партийном аппарате. Но это были явно политические шутки низкого сорта, в то время как на столе у них Клио всегда обнаруживала первоклассную ветчинку с краешком, а если не ветчину, то колбасу "отдельную" или копченую скумбрию, которую по-английски называли "киперсами", не говоря уже о консервированной печени трески и икры баклажанной "Родина", к которой Клио никак не могла привыкнуть, несмотря на настойчивые уговоры и увещевания Кости о достоинствах этих консервов в смысле калорий и витаминов. Впрочем, к концу каждого пребывания в Москве Клио чувствовала себя настолько изголодавшейся, что аллергия на "Родину" практически исчезала. Каким образом все эти экзотические продукты оказывались на столе в каждом доме, в то время как в магазинах продавалась одна картошка с мылом и галоши с тушенкой, оставалось для Клио полнейшей мистикой, несмотря на разъяснения словоохотливых хозяев, гордых своей сноровкой и продуктовыми связями. В их деловитых и хитроумных советах она не понимала поначалу ни слова — мелькали жаргонные обороты вроде "стол заказов" или "из-под прилавка", какие-то загадочные термины вроде

"подмазать" или "застолбить очередь" — все то, что по-русски называется словом "блат" (первое время она путала это слово с другим распространенным жаргонным словечком "блядь").

Правда, трудно было понять, почему при таком хорошо организованном расхищении социалистического хозяйства на это уходила вся жизнь, все эти люди только и делали, что звонили куда-то, кому-то подмазывали, застолбляли очередь блатом из-под прилавка.

Однажды, по совету своей соседки. Костя отправился в гастроном за баночкой селедки. Простояв в очереди чуть ли не целые сутки, он с гордостью притащил в дом с таким трудом добытую банку, вскрыл дрожащими руками этот дефицитный продукт и чуть не упал в обморок: под селедочной наклейкой оказалась трехкилограммовая банка красной икры. Тут же начались телефонные звонки всем и каждому, весть распространилась по всем концам Москвы, и Костя во главе с компанией своих верноподданных побежали снова занимать очередь в рыбный отдел. На рыбном заводе кто-то, видно, ошибочно законсервировал красную икру в селедочные банки; но скорее всего не ошибочно, а по причине продажи налево и, может быть, даже за границу.

Все были страшно возбуждены и обсуждали шикарную жизнь на год вперед с дореволюционной закуской под водку, но всех подвел своей прижимистостью поэт Мандельштюк. Жмот Мандельштюк, стоя в очереди, стал утверждать, что целая банка ему не по карману и решил поделить добычу пополам с кем-то еще в углу магазина прямо на глазах у публики. Кто-то из посторонних тут же углядел в селедочной банке икру и началось такое столпотворение, что в икру превратили бы и продавцов. За прилавком, тут же поняв в чем дело, быстро прикрыли торговлю. Кассу закрыли, и заведующий перекрикивая поднявшийся вой трудящихся, лично обратился к толпе с речью. Весь белый с лица, он просил общественность войти в его положение и возвратить банки с селедкой, то есть с ошибочной икрой, обратно, обещая даже небольшое вознаграждение — иначе, утверждал он, ему грозит расстрел за расхищение народного достояния.

Трудно сказать, насколько содержимое банок было для заведующего сюрпризом; возможно, сюрпризом было то, что эти спецбанки поступили в распродажу рядовому покупателю без ведома заведующего, и за этот мафиозный просчет ему действительно придется расплачиваться. Так или иначе, Костины друзья успели нахватать достаточно псевдоселедочных банок, чтобы быстро смыться подобру-поздорову, пока заведующий не вызвал милицию. Разгоряченные, как будто после акта революционной экспроприации, все ввалились в комнату, неся за пазухой заветные банки. Но первая же, вскрытая "для обмыва" банка посеяла подозрительность, которая постепенно, по мере вскрытия других, стала перерастать в зловещую враждебность к Косте. Из всех банок, только мандельштюковская была с икрой, остальные соответствовали наклейке с селедкой атлантической, плывущей в Америку, но уловленной советской рыболовной сетью. Кто-то даже предлагал устроить над Костей показательный процесс за дезинформацию, но все, как всегда, закончилось пьянкой, где съели всю вскрытую икру, а селедку унесли в авоськах. Но и оставшейся селедки хватило на месяц отвратительного мытья посуды, а селедочный запах, казалось, застрял в легких уже на всю жизнь.

Избавиться от этого селедочного привкуса мало помогали консервы, которыми и питался, главным образом, Костя. Клио не удивлялась бы самому факту консервного меню Кости; в конце концов, рабочий класс Англии только и питается консервами, потому что они там самые дешевые. Но в Москве консервы эти были дефицитом — все эти шпроты и патиссоны — и доступны были отнюдь не простым людям. Костя же был в привилегированном положении, поскольку у него в доме не переводились эти банки, вредно действующие на пищеварение Клио. И не только на пищеварение. Они подрывали веру Клио в того легендарного Костю, каким она увидела его впервые в новогоднюю ночь — Костю как истинного представителя пролетарской России. Мало того, что в действительности он был из семьи врачей-гинекологов, дело в том, что сама работа на заводе оказалась блефом в глазах

Клио. Да, он работал на заводе — но кем? Вахтером. И на каком заводе? На консервном! И для чего? Не для того, чтобы слиться с рабочими массами, а чтобы таскать эти самые привилегированные консервы. Дело не в самом хищении народного хозяйства: крали все. Дело в том, что Костя преклонялся перед Западом, а в консервах видел чуть ли не символ индустриального прогресса западной цивилизации в сравнении с варварской отсталостью России.

По ходу своих консервных пиршеств Костя рассказывал ей последние новости, услышанные на работе. Например, о беспрецедентной придирчивости охранников из проходной комбината вино-водочных изделий и трагическом инциденте с приятелем Кости. В связи с усилением режима и проверки, тот изобрел оригинальный способ выноса спиртных напитков — с помощью презерватива! Презерватив заглатывался, причем конец его придерживался зубами, а потом в этот презерватив через открытый конец вливалось спиртное — без рентгена никакой охранник не обнаружит. Влив таким манером три литра коньяку, приятель Кости смело отправился к проходной, с раздувшимся в пузе презервативом. "Ну и пузо ты себе отрастил! Зарядкой по утрам занимаешься?" — гоготнул охранник и хлопнул приятеля по пузу. Если бы Костин приятель, известный матерщинник, ответил бы на этот удар по пузу соответствующим крепким словечком, все бы закончилось не так трагично: открыл бы он рот, коньяк хлестнул бы изо рта в морду охраннику и уволили бы приятеля с работы. Ну штраф. Ну дали бы условно с вычетом зарплаты. Но приятель от своего решил не отступать, сдержался, рта не раскрыл — и на тебе: раздутый в животе презерватив от удара лопнул, коньяк разлился по пищеводу и приятель скончался к утру от алкогольного отравления.

Как выяснилось, в вахтеры на завод Костя попал не из рабочей среды, а только потому, что его уволили из Академии наук, где он работал в высокооплачиваемой должности инженера-экономиста. И уволили его из-за разногласий с начальством по вопросам кулинарии. Может быть, Константин и остался бы на всю жизнь советским гражданином, простаи-

вающим в очередях большую часть суток, не желая рисковать годами отсидки, не случись ему присутствовать на торжественном завтраке у их начальника академика в честь прибытия в институт арабской делегации по обмену. Академик, частый визитер в странах арабского социализма, угощая у себя в кабинете арабских товарищей грузинским шашлыком, выписанным из ресторана "Арагви", заметил, что ряд мясных блюд, употребляемых ближневосточной кухней, роднят арабов с советскими национальными республиками. Например, чехартма. "Что такое чехартма?" — полюбопытствовали арабские товарищи. "Чехартма, — сказал академик, — это мясное кавказское блюдо, жаркое в общем". — "Глупости! — имел глупость вмешаться Костя, налегавший не столько на чехартму, сколько на грузинский коньяк. — Черемша вовсе не мясо, а растение, вроде нашего лука".

Академик, стараясь сдерживаться в присутствии иностранцев, мягко возразил: "Нет-с, ангел мой, — сказал он Косте, — чехартма не лук, а жаркое из баранины". Костя же упорствовал: "Черемша — лук!" — "Чехартма — баранина!" — твердил академик. "Черемша — лук!" — уже повысив голос, наскакивал Константин. "Что ж, я с вами буду спорить, — возмущался академик. — Вы же никогда на Кавказе не были и не ели чехартмы". Это окончательно вывело из себя Константина: "Не ел, потому что терпеть не могу. От черемши, — кричал он, — такой же запах, как от чеснока!" (хотя сам, между прочим, совал чеснок в любое мясное блюдо), — и не долго думая, запустил в академика шашлычным шампуром. И, к несчастью, попал — только не в академика, а в главу арабской делегации. К счастью, шампур запутался в арабской чалме, и араб жизни не лишился, а Костя не лишился свободы, но зато лишился места работы с волчьим билетом, как и вообще академической карьеры, и, кроме как в вахтеры, податься было некуда, а уж если в вахтеры — то на консервный завод.

Суть спора о чехартме и черемше Клио в ту пору понять, конечно, не могла, но уже начала догадываться о маниакальной сущности своего будущего супруга. То, что она принимала вначале за невинное пристрастие к вопросам кулинарии,

вроде садоводства или разведения рыб в аквариуме, было настоящей болезнью, припадки которой приводили к нелепым инцидентам, вызывающим замешательство у других и ставящим Клио в неприятное положение. Как скажем инцидент во французском посольстве на приеме с неким Владимиром Высоцким и Мариной Влади.

Можете себе представить, на какие лицемерные улыбки и заигрывания с вышестоящими снобами ей пришлось пойти, чтобы пробиться на это сверхэлитное сборище. Клио пошла на все эти унижения только потому, что приближалась регистрация их брака, и она уже прекрасно знала, что от советских бюрократов можно ожидать чего угодно. По бюрократическим причинам процедура бракосочетания откладывалась уже несколько раз. Даже по причине ремонта в ЗАГСе, но главным образом из-за бесконечной очереди — как будто прослышав о замужестве Клио, все советские девы решили последовать ее примеру незамедлительно. Она уже три месяца торчала в Москве: слава Богу, Антони устроил ей секретарскую работу в одном из торговых представительств Великобритании, через которое Клио и удалось выторговать дефицитное приглашение на вечер с Высоцким и Мариной Влади у французов.

Ни Марина Высоцкий, ни Володя Влади ее не интересовали; конечно, она истосковалась по крахмальным скатертям и официантам, но добивалась она приглашения, главным образом, с надеждой завязать связи в дипломатических кругах — на случай, если с браком и последующим совместным отъездом в Англию будут осложнения.

Костя должен был, вроде бы, с благодарностью отнестись к этим плодотворным усилиям Клио, давшимся ей с такими унижениями — от фальшивого флирта с начальством, до экономии каждой копейки на бальное платье. То есть, конечно, согласился Костя тут же, даже с излишним для такого события энтузиазмом. В конечном счете, Клио ставила себя в двусмысленное положение по отношению к советским органам, притащив на дипломатическое сборище советского человека Костю.

Как только они вошли в приемную залу, Клио сразу запо-

дозрила в Костином поведении что-то неладное. Она тащила его к столу, к общению, к нужным связям. Какой был стол — после бульонных кубиков и консервов с пищекомбината! Картофель "фри" и рыба "лабардане" и еще что-то такое гоголевское. Как возбуждена была Клио водоворотом черных фраков, шуршанием мехов, ароматом духов и журчанием французской речи. Все это было настолько театральным, что из головы выветривались даже привычные мысли о фальшивости подобной позолоты человеческого существования. Но Костя не разделял ее золушкиного возбуждения. Он стоял в углу, у двери, откуда взад и вперед сновали официанты, и нервно теребил душащий его галстук, который с таким трудом навязала ему и повязала на шею Клио. При каждом очередном обносе подноса с деликатесами Костя раздраженно отворачивался, лишь искоса взглянув на орнамент из тартинок. Она попыталась затащить его поближе к группе, оживленно а ля фуршет обсуждавшей самиздат, и кому, как не Косте, выступить тут в роли Солженицына, но Костя просто в глаза не видел ее потайных подмигиваний и зазывательных жестов. Не стоило и пренебрегать контактом с этими высоцкими владями, вокруг которых увивались буквально все. По слухам, эта пара в четыре руки играла на гитаре в знаменитом оркестре на Таганке, о котором Клио слышала еще в Лондоне от Марги. Но всякий раз, когда она пыталась вовлечь Костю, ее ожидал решительный отпор.

"Я должен быть поближе к кухне, — шипел он ей на ухо заговорщицки. — Кухню-то, между прочим, держат в другом конце паласа. Не пижонят стеклянными перегородками, в открытую, как в ресторанах-модерняшках, — добавил он уже практически самому себе. — Если повара секретничают, значит, есть чего держать в секрете", — мудро покачал он пальцем в воздухе, воровато оглянувшись.

Полный смысл этой загадочной ремарки дошел до Клио не сразу. Костя дернулся и переменился в лице, когда официанты стали обносить присутствующих очередным салатиком. Если бы не этот Костин вздрог и не эротические вздохи гурманов с разных концов залы, Клио, уже нахватавшись всякой

всячины, вообще проигнорировала бы эти малюсенькие тарелочки с миниатюрными порциями какой-то мелко нашинкованной белиберды. Выдавали по одной порции без добавки, и Костя, выхватив с подноса тарелочку, устремился в дальний угол, расшвыривая в стороны фраки и шлейфы. Там, с побледневшим лицом Чацкого средь шумного бала, он дрожащей рукой подносил к губам содержимое тарелочки по щепоткам и затем медленно и тщательно пережевывал. Его челюсти как будто выдвинулись по-звериному вперед и двигались не только вверх и вниз, но и из стороны в сторону.

Великосветская публика давно забыла про салатик, уже разносили кофе с ликерами и в разных углах попыхивали шоколадные сигары, уже перебирались в соседнюю диванную, чтобы послушать Таганского барда, а Костя все торчал в углу, сосредоточенно пережевывая салат.

Ломая нервно пальцы, Клио ходила вокруг него кругами по опустевшей зале. Оглядываясь по сторонам, с лицом, искривленным светской улыбкой, она наконец решилась потянуть Костю за рукав: "В чем дело? — прошипела она на ухо. — Мы пропустим Высоцкого!" Но Костя не отвечал, только выпучил на нее глаза в решительном отказе, продолжая тщательно выбирать из тарелки крохи салата и вращать челюстями. Клио заглянула в салатную мисочку, которую Костя держал перед носом — то ли как плевательницу, то ли как чашу алхимика-талмудиста. Там оставалась последняя крошка с налепившейся кисточкой какой-то зелени. Глубоко вздохнув, Костя подцепил эту волшебную травку, пожевал, почмокал губами, наморщил лоб и, наконец, издал победное "ааа-га!", от чего на него устремились удивленные взгляды во фраках из опустевших концов залы. Но Костя уже тащил Клио к выходу и, растолкав швейцаров и лакеев, рванулся к веренице такси у посольского подъезда. В такси Костя не проронил ни слова, только чмокал губами.

Ворвавшись в дом, он чуть ли не отбросил Клио к кушетке, а сам стал выхватывать из ящиков разные пакетики, рыскать по полкам, отвинчивая крышки банок и баночек, вытряхивал коробки, смешивал, звенел ложкой в стакане, жуж-

жал ручной мельницей, стучал пестиком в ступке, крутил, мешал, перетряхивал, пересыпал, подливал, и Клио казалось, что вот-вот и из миски, в которой замешивался загадочный состав, повалит зловонный дым. Но Костя действовал все спокойней и рассчитанней и наконец с легкой дрожью в руках выставил миску на середину стола. Снял с себя женский кухонный фартук, вздохнул нервно, подцепил чайной ложкой мизерную порцию сварганенного им блюда. Снова причмокивая и посвистывая зубом, о чем-то раздумывал, морщил лоб, и вдруг подпрыгнул, чуть ли не сбив абажур с лампы под потолком. "А ларчик просто открывался!" — сначала шепотом, а потом все громче повторял он и снова устремился к полкам с баночками и коробочками, снова рыскал, нюхал, подмешивал, снова пробовал и наконец блаженная улыбка осветила его лицо.

"А ларчик просто открывался, — пустился кружить он по комнате с притопом и прихлопом. — Вот он, вот он!" — тыкал он радостно в миску на столе. Потом подхватил ложку, подцепил из миски салатику и чуть ли не насильно запихнул ложку в рот Клио. Она послушно прожевала и, пожав плечами, сказала, что этот салатик уже ела час назад во французском посольстве.

"В том-то и цимес!" — возбужденно воскликнул Костя. Из его бессвязной речи выходило, что салатик этот был фирменным блюдом и строжайшим секретом кухни французского посольства в Москве на протяжении столетий. Об этом салатике веками ходили слухи и о нем восхищенно отзывались в своих мемуарах все русские дипломаты — от поэта Вяземского до полпреда Литвинова, но только ему, Константину, в этот час, в этот год, в это столетие удалось разгадать секретный рецепт и восстановить ингредиенты этой магической закуски. Оставив Клио стоять посреди комнаты с грязной ложкой в руках, Костя вооружился самописка и бросился записывать рецепт в свою амбарную книгу.

Пожалуй, в тот вечер Клио и стала подозревать о маниакальной сущности своего супруга. Еще за год до этого она умилялась кулинарными увлечениями Кости, еще был свеж в

в памяти его образ в новогоднюю ночь — домашний вид Кости у газовой плиты, распоряжающегося толпой услужливых псевдоинтеллектуалов. Еще недавно Клио терпеливо сносила даже передряги на советской таможне, где ее регулярно принимали за контрабандистку с наркотиками: таможенники развинчивали баночки-крыночки с дорогостоящими специями, вскрывали пакеты и вытряхивали экзотические смеси, так что месяцами, после очередного московского визита, Клио мерещился всюду запах всяких кинамонов, эстрагонов и кардамонов. Костя был помешан на специях, которые, по его теории, целиком и полностью символизировали имперскую культуру западной цивилизации, в то время как русская кухня из всех специй предпочитала крапиву, которой секли крепостных, а потом из нее же готовили щи с березовой кашей, а чай варили из пропаренных банных веников.

"Разве в русском блине есть запах? — вопрошал гневно Костя. — Какой цивилизованный человек эту безвкусную муку с водой есть станет? Не в синайской же пустыне мы живем!" И ссылался на известные сюжеты классиков русской литературы от Чехова до Лескова, подробно описывавших, как русские люди умерщвляли англичан, немцев и французов этими самыми блинами, шантажируя иностранцев законами гостеприимства с целью удушения западного влияния.

От месяца к месяцу их знакомства Костины истории становились все жутче и жутче. Где он их выискивал — трудно сказать, и постороннему иногда казалось, что порой они имели слабое отношение к кулинарии, как, скажем, жуткая история из газеты "Правда" 20-х годов; эту газету он откопал у старьевщика и зачитывал ее при всех удобных случаях, даже повесил ее в конце концов над кушеткой в рамочке:

"7 апреля 1922

Появление старика-еврея Гиндина на Лубянской, а затем на Театральной площади с тремя детскими трупиками породило массу провокационных толков.

Народный суд решил положить этим толкам конец, поставив дело на следующий же день, 5 апреля, на публичное су-

дебное рассмотрение. У дверей Политехнического музея задолго до 4 часов большая толпа.

Уже явились эксперты — проф. Слетов и Манаков и раввин Мазе, вызванные на суд по телефону.

К 8 часам следствие закончено, обвинение предъявлено подсудимым.

А вот и первый подсудимый — Гиндин. Старый, ветхий, чуть передвигает ноги старик. На седых встрепанных волосах рваная шапчонка. В крючковатых пальцах жилистых рук листок обвинения.

— Вот так герой процесса, — смеется публика. — Его в богадельню, а не на суд...

Начинается допрос подсудимых.

— Гиндин, чем вы занимаетесь?

— При синагоге нахожусь, — шепелявит через силу старик, — бывает человек умрет, Псалтирь читаю, помогаю хоронить... Добрые дела делаю...

— Кто вас направил на похороны?

— Кто? Фукс, дай Бог ему здоровья. Я без Фукса ничего не делаю. Он первый человек....

Допрашивают Фукса, заведующего еврейским Дорогомиловским кладбищем.

— Я еще с 19-го года заведываю кладбищем от московского совета. Наблюдаю за порядком, но не за транспортированием трупов...

— А почему вы послали старика Гиндина для похорон умерших?

— Меня просили, я и указал на него — хотел дать ему заработать.

— Следующий подсудимый!

Со скамьи поднимается пожилая "тетенька" — трамвайная стрелочница Романова Татьяна.

Она ничего не знает.

— Переводила я стрелку: вагоны теперь часто ходят. Гляжу, народ бежит, ну и я побежала. Гляжу, у старика под ногами мешок, а там трупик... А все кричат-кричат...

— Ну, а вы?

— Не помню.

— Она меня била, — заявляет Гиндин суду. — Она била и кричала: "Жид зарезал ребенка".

Следом допрашивается театральный барышник юноша Серафимов. Он торговал билетами под колоннадой Большого театра, услышал крики: "Бей жидов!" и побежал смотреть. Вернувшись к театру, продолжал "волноваться".

— Я спрашивал у знакомого еврея: возможно ли это, что евреи пьют русскую кровь? Он мне сказал: "Не верь, это невозможно..."

Подсудимый Ефременков попал в толпу, по его заявлению, случайно.

— Шел я, пообедамши. Слышу, кричат: "Бей их, колоти их!" Ну, я и пошел: "Што, мол, такое?" — "Да жиды ребенка зарезали!"

— И вы кричали?

— Да, было. Тетенька эта, — показывает на стрелочницу, — мне сказала, а я другому сболтнул. Так у нас и пошло...

Ефременков — чернорабочий управления домами ВЦИК. Малограмотный крестьянин, "деревенщина", — рекомендуется он.

— Вы верите, что евреи?..

— Нет, дорогой, — торопится ответить Ефременков, — не подвергаю. Ежели кто скажет теперь, извините за выражение, в рожу плюну!..

Последний подсудимый — комендант 195-го приемно-пропускного пункта Липовецкий. Он не принял мер к оборудованию покойницкой, в результате чего крысы обгрызли труп ребенка Рабинович.

Родители ребенка Каплуны показывают, что их сын умер от воспаления легких: простудился во время переезда матери из Елизаветграда в Москву, к мужу. Каплуны — беднякибеженцы и прибегли к услугам Гиндина, ибо не могли похоронить сына самостоятельно...

Считая безусловно доказанным, что Рабинович и Каплун умерли естественной смертью, суд признает наличие вины за всеми подсудимыми и приговаривает:

Фукса — к году принудительных работ без лишения свободы.

Липовецкого — к трем годам принудительных работ.

Романова, Ефременков и Серафимов — вели антисемитскую агитацию, но они — лишь слепое орудие в руках опытных черносотенцев и врагов советской власти, и потому им выносится строгий общественный выговор.

Старик Гиндин — его вина доказана, но нельзя карать дряхлого и голодного человека, таскающего на кладбища трупы за кусок черствого хлеба.

Приговор производит на присутствующих огромное впечатление, усиленное заключительным словом председателя суда, призывающего к борьбе со средневековыми предрассудками и темнотой.

Клио никак не могла понять, какое отношение эти детские трупы имеют к кулинарии: "Это про антисемитизм, кровавый навет", — говорила она. "Еврейская кровь в качестве советской подливки появилась на прилавках партийной идеологии гораздо позже, — возражал ей Костя. — И потому старик-еврей на Лубянке с мешком трупов был оправдан в двадцатых годах. Но вот куда делся третий ребеночек из мешка? — И Костя указывал с дотошностью, что в мешке у еврея было три детских трупика, а на суде фигурировали только два. — Куда делся третий трупик? Об этом "Правда" умалчивает. Но я скажу, куда он делся: его съели!"

С фанатичным блеском в глазах Константин подкармливал Клио историями о людоедстве: от костров из человеческих костей в приволжских степях и до подворотен ленинградской блокады, где в темноте маскировки поджидали аппетитных доходяг парни с баграми и крючьями, чтобы подцепить жертву и уволочь в подвал — разделать на антрекоты и продавать из-под полы.

Свои антисоветские измышления Константин с усидчивостью летописца, вносил регулярно в амбарную книгу, один вид которой стал вызывать у Клио приступы безотчетного страха и подавленности. Это был том желто-серой дешевой бумаги,

разлинованной и разграфленной полями по бокам. В разделе "кредит" Костя вносил рецепты иностранной кухни, а в разделе "дебит" смачно описывал клеветнические легенды о пищеедстве, переходящем в людоедство на Руси. Весь этот кулинарный трактат проходил у него под названием "Русская кухня — история террора и людоедства", и писал он его на протяжении вроде бы чуть ли не целого десятилетия. Об этом труде сам он отзывался с той русской усмешкой, которую Клио так и не научилась расшифровывать — смесью самоуничижения, иронии и одновременно оскорбленной гордости. Содержание же трактата оставалось для нее загадкой, поскольку состояло из отрывков, где вместе с рецептами блюд попадались страницы, которые она посчитала бы откровенной порнографией, если бы они не перемежались антисоветской кулинарией.

Долгими вечерами, под завывание вьюги за окном, Клио просиживала над переводами этих макабрических текстов. Цель Кости состояла в публикации своего трактата на Западе — чтобы весь мир узнал, по его словам, о преступлениях русской кухни. "Синявский с Даниэлем, как, впрочем, и Солженицын, упустили внутреннюю сущность российской трагедии — ее желудочный, в буквальном смысле, характер", — говорил Костя, расхаживая по комнате, качающейся под стук колес поезда за окном. А перед глазами Клио качались непереводимые на язык Шекспира формулировки, вроде: "процесс раскулачивания желудков и людоедство как форма коллективизации", с рецептами готовки человечины — от шинковки по типу германской кислой капусты» до маринада по-французски и студня из человеческих костей.

Клио начинала догадываться, зачем Костя с ней сблизился. И ее он использовал в качестве ингредиента в его рецепте спасения России через озападнивание ее, России, желудка. Клио была для Кости подопытной свинкой с Запада — переварит или не переварит она всю эту клевету на родину социализма? Сам он русский народ явно не переваривал.

Она готова была принять и эту позицию. Индивидуум должен бороться с рабскими традициями своего народа, с консер-

ватизмом общества и конформизмом советской бюрократии, коррумпировавшей пролетариат в ходе победного шествия к коммунизму. И уж если встал на путь диссидентства, надо выйти на столбовую дорогу, а не сидеть, окопавшись под банками и кулинарными рецептами на соседнем с Лефортовской тюрьмой перекрестке. Жизнь диссидента, конечно же, эскапизм и побег из обыденности труда и дисциплины в революционный мандраж и круговорот встреч с иностранными корреспондентами на воле и с замечательными людьми своего века во время тюремного заключения, в условиях достаточно гуманных для метафизического диалога, особенно после разоблачения культа личности Сталина. Но этого эскапизма и детской болезни левизны в коммунизме можно избежать, и тому в Москве была масса примеров. Об этих примерах она наслушалась еще в Лондоне от знатоков московской жизни, которых к тому времени в английской столице развелось больше, чем безработных при нынешнем правлении консерваторов. Многие были знакомы с поэтом Евтусенским, который тоже считал себя диссидентом (иначе разве он стал бы известен на Запада?), но тем не менее у него, по слухам, была шикарная дача на юге России под названием "Бабий Яр", а в Москве на Тишинском рынке он выстроил себе башню из слоновой кости в сто метров высотой. Официально эта башня была воздвигнута как памятник дружественным народам Африки, но в барельефе резных иероглифов, составляющих лозунг революционеров с Берега Слоновой Кости, опытный глаз углядывал очертания еврейской письменности: так что башня стала символом вклада евреев в русскую культуру.

Даже у затравленного Солженицына, судя по слухам, была интересная жизнь на даче у Растроповича: на сон грядущий Твардовский читал ему "Новый мир", а Растропович аккомпанировал на виолончели. Короче говоря, некоторые умели совместить род инакомыслия и полноценного существования в условиях диктатуры. Но только не Костя.

Был, наконец, другой, третий путь — на Запад. Константин мог бы преспокойно зачитывать свою поваренную книгу в микрофоны всех русскоязычных радиостанций Запада, перевоспитывая желудки России промыванием мозгов в эфире. Но Костя и слышать не хотел о западном эфирном существовании.

Никто, кроме Клио, не догадывался и о существовании амбарного катехизиса с обличительным рецептуарием — книга скрывалась даже от ближайших друзей. И тем не менее Константин вбил в свои шизофренические мозги, что судьбы России зависят от его желудочных концепций и что его желудок чуть ли не душа России. "Россия — это я", — было явно его девизом и с загадочной миной он намекал на то, что, между прочим, Рим спасли гуси. То, что гуси не спасут Москву было ясно для Клио уже давно, поскольку с прилавков продмагов они исчезли окончательно. Слезы Клио в виде соленых пятен все чаще подмешивались к рецептам из амбарной книги в домашнем переводе на английский. "Уууехать-уууехать-уууехать!" — кричал за окном поезд. Но отступать было поздно. Руссофильские англичанки-подруги, вдоволь наигравшись с кремлевской экзотикой, уже давно повыскакивали замуж у себя в сусексах, мидлсексах и девонширах, и, предчувствуя тоску и унижение от их скорбных взглядов на нее, соломенную вдову, Клио предпочла анонимность брака за железным занавесом. Кроме того, решила она, нельзя бросать на произвол судьбы психически больного человека, вообразившего, что у него в прямой кишке застряла Россия. И Клио решила продлить срок пребывания в Москве еще на год.

* * *

Этот московский год остался в ее памяти как некий затянувшийся кошмар. Так вспоминают с содроганием вынужденную зимовку на плавучей льдине, отсидку в турецкой тюрьме с крысами или первый аборт, когда сломлены и гордость и стыд и никакое унижение не стоит на пути к одной-единственной цели: выжить, выцарапаться, выкарабкаться.

Вместе с регистрацией брака в конторе, где женщина, похожая на мешок с капустой, увешанный медалями и орденами, долго говорила о роли семьи в борьбе с фашистскими захватчиками, Клио лишилась секретарской работы в британском

торгпредстве — то ли по соображениям госбезопасности, то ли по сокращению штатов. Ей ничего не оставалось, как целыми днями просиживать дома, особенно когда ударили настоящие морозы и зашуршали первые вьюги.

От Кости зависели не только часы ее сна, точнее, снившихся ей кошмаров. Как тюремщик, Костя диктовал, естественно, и рацион питания, составленный, как и следовало ожидать, главным образом из консервов, уворованных на фабрике, не считая тех малосъедобных консервированных изысков, которые Клио успела завезти из Лондона. Пока Костя, прихлебывая бульон из кубиков, заправленный брюссельской капустой из лондонской жестяной банки, зачитывал соответствующую капусте цитату из Пруста, Клио безуспешно пыталась отвлечься от единственного слова, все громче и громче звучавшего у нее в голове и заглушавшего рулады Костиного чтения и собственное бурчание в животе. Этим словом было — мясо. Поначалу она пыталась отрешиться от суетных мыслей о мелкобуржуазном хапаньи продуктов из-под прилавков, но когда из кулинарных экспериментов Кости исчезли последние намеки на мясной отдел продмага, кровавые картины чикагских боен и йоркширских мясорубок стали неотступно преследовать Клио в ночных кошмарах.

Однажды ей даже приснился еврей Гиндин с мешком посреди Лубянской площади: он предлагал ей трупик ребеночка, объеденного крысами, на жаркое, говорил, что по дешевке отдаст, поскольку его все равно арестуют. "Возьмите и ешьте себе на здоровье, — говорил еврей с мешком. — Вам людоедствовать можно: вы иностранка". Но Клио мотала головой: "Я не иностранка, я советская по мужу", — и отпихивала рукой холодного ребеночка, а сама думала: может взять, Костя ведь людоед?

Во время приемов пищи по Костиной методе Клио сидела за столом как будто в полудреме, с пустой застывшей в воздухе ложкой в одной руке, а другой подперев подбородок, со взором, похожим на заиндевевшее стекло, и до головокружения внюхивалась в запахи, проникающие из коридора в дверную щель. Там Костина соседка Тоня варганила нечто, явно

отличающееся от Костиной консервной диеты. Точнее, Костино меню находилось в непосредственной зависимости от благорасположения соседки Тонечки.

Тонечка работала в мясном отделе продмага и постепенно до Клио стало доходить, откуда возник миф о Косте как главном народном добытчике мяса для дружеских пирушек. Все эти куриные ножки, окорока, лангеты и антрекоты с вырезкой поступали непосредственно из-под Тониного прилавка. Однако эти поставки зависели от крайне запутанных нюансов в отношениях Кости со своей соседкой, и эти нюансы оставались для Клио долгое время загадкой. Во всяком случае, первые несколько месяцев пребывания Клио в качестве Костиной жены в коммунальной квартире привели к тому, что Косте пришлось ограничиваться собственным консервным пайком вахтера, и Клио, окончательно деморализованная тоской по мясу, стала сама выискивать возможные ходы к детанту, то есть к Тонечке на кухне. И она эти шаги явно, хоть и сдержанно, приветствовала. Она становилась для Клио неким искушением, возвращающим ее смятенный ум к моральным урокам закона Божьего в квакерской школе.

Тоня, крепкая девица в бигудях и шелковом халатике цвета морской волны с павлинами, крутилась у плиты. "Ромштексам доверять нельзя, — журчала она грудным полудеревенским говорком. — Закаялась ромштексы брать, а вот опять бес попутал", — и она, гремя сковородой, швыряла на нее бездумно лепешки мяса, густо обваленные в сухарях. Сухари витали облачком над плитой. "Панировка, говорят, а под панировкой этой что? Я вилкой-то в эти сухари потыкала, ничего вроде, а вот стала жарить, и жиру натопленного — хоть в помойное ведро выливай. А с жиру-то — одни кости!"

Клио заглядывала сбоку, делая вид, что полощет ложку у раковины. "Вам, Клеечка, на разжарку картофеля жирку не отлить?" Клио, как загипнотизированная, согласно кивала головой, уставившись на полноватые, с ямочками, локти Тонечки, фокусничавшей над сковородой. Всякий раз, поймав на себе этот затуманенный взгляд, Тоня с улыбочкой милосердия на крупных губах, прищурившись, говорила: "Что это вы,

Клеечка, сегодня с лица такая бледная?" Похлопав у себя в комнате дверцей холодильника, снова вырастала перед Клио, как джин-соблазнитель из бутылки: "А вот кореечки не хотите попробовать? Постненькой?" — и чуть не насильно совала ей в рот блестящую, как лаковая туфля, шкурку со слоистой бахромой подкопченной свинины. Клио, учуяв запах английского бекона, жадно вгрызалась в нежующийся кусок и заглатывала его, чуть не поперхнувшись, со слезой, выступавшей от упорной работы челюстей. "И что вы, англикане, все такие французистые? Все диетничаете? — приговаривала Тонечка, хлопая закашлявшуюся Клио ласково по спине, как будто взвешивая баланс мяса и костей. — У нас в деревне такие миниатюрные до гроба в девках пропаслись бы. Но Константин у нас городской, аристократ, ему миниатюры захотелось, вот и держит тебя на консервном пайке с бульоном. Ты, Клеечка, когда пузо с голодухи пухнет, ты на супруга не гляди — стучись в дверь в любой час дня и ночи — пошамать чего и вынесу, нечего костьми греметь ради ублажения иностранных вкусов мужа к англицкому студингу. Я Константина не первый год знаю: мужчина любит, чтоб в женщине было за что подержаться!" — и Тоня с горделивой скромностью запахивала халатик голубой синтетики на своих рвущихся к небесам дирижаблях плоти.

В этом же экспортном, по блату, халатике (добытом через подругу Зину из галантерейного магазина), она стала являться без стука и в Костину комнату с продуктовым пакетом, лопающимся по бокам, как и ее откормленное тело. Из этого пакета на стол выкладывалось нечто невероятное для изголодавшихся жителей московской коммуналки: скажем, целый окорок или нетронутое полено копченой колбасы. Костя начинал излагать очередные гадости про советские мясокомбинаты, где якобы в мясорубках ночуют крысы, но Тонечка как будто не слушала; усаживалась на качающийся табурет и, дав Косте вдоволь выговориться, пресекала: "Ешь, аристократ! Ешь, да помалкивай! — наставляла она Костю, оседлав табуретку, как будто предлагая Косте не окорок на столе, а свое тугое бедро, сверкающее из-под халатика. — Одними бусурманскими рецептами жену не прокормишь, гляди, совсем миниатюра стала! — и она по-матерински, хотя была лет на десять моложе Клио, прижимала ее к себе. — И не думайте мне деньги сувать, — заключала она. — Мы тут не чужие. Свои люди — сочтемся!" — и, чмокнув звонко Клио в щечку, удалялась к себе по коридору.

"Как бескорыстен русский человек! — ворочалось в сонном мозгу Клио, пока желудок переваривал очередное подношение Тонечки. — Разве Марга способна на такую щедрость?" Даже в студенческие годы "борьбы с буржуазными предрассудками" стоило тебе принести подруге чашку кофе во время ленча, обязательно совали десять пенсов в ладонь, и ты совала, если тебе принесут: всегда баш на баш. Тонечка от денег категорически отказывалась, хотя речь шла не о какой-то мизерной чашке кофе, а о целой поросячьей ноге. Но от мыла, пачку которого Клио привезла из Лондона, Тонечка не отказалась. "Завотделом промтоваров мыло из загранки с оберткой съест, — говорила Тоня загадочные фразы, связанные со сложным распределением продуктов потребления. — А вот нельзя ли из-под вашей сертификатной "Березки" выкопать эти самые виски-дриски? У моей парикмахерши завтра день рождения, я ей сервилату венгерского несу с духами "Родина" впридачу, но надо ж ведь что-то и приличное-заграничное преподнесть?"

За парикмахершей последовал завотделом "Обувного", не считая Книжной лавки ССП для приобретения романа "Двадцать лет спустя" Александра Дюма, чтобы не соскучился директор магазина "Ткани" на улице Горького; как будто все социалистическое хозяйство целиком зависело от винотдела инвалютного магазина "Березка", и без этой "подмазки" страна давно скатилась бы к первобытному варварству пещерного быта, с костровым принципом общего котла и охотой на мамонтов.

Принимая очередное продуктовое подношение из Тониных пухлых ладоней в обмен на очередной "сувенирчик", Клио успокаивала себя тем, что, может быть, это и есть коммунизм, то есть возвращение к натуральному обмену на основе взаи-

мопомощи. Тонечка же в свою очередь всякий раз повторяла: "Ой, да что ты! Ой, да зачем это? Да мы ж свои люди — сочтемся!", — но, помявшись, награждала Клио сочным поцелуем и тут же принималась интимно излагать, как она "подмажет" завотделу по соцпутевкам насчет пансиона в Трускениках, где под новый год собираются все завотделами московских продмагов и распределяют должности в облаках пара тамошних саун.

С каждым разом (а эти разы повторялись, поскольку голод не тетка, навещающая раз в год) Тонечка все меньше отнекивалась и все настойчивей требовала внимания к своему душевному миру. Ее тревожили разнообразные и неотложные вопросы: "Говорят, у вас там по улицам черномазые толпами ходят?" — интересовалась она, задумчиво глядя на Клио. Та в замешательстве пыталась объяснить, что в Лондоне по улицам ходят не толпами, а по отдельности, вне зависимости от расовой принадлежности. Тоня с готовностью качала головой: "Я чего спрашиваю, — уточняла она, — неужели у них, у негров, член тоже черный?". Клио краснела. "Да ты не красней, — хлопала ее по коленке Тоня, — я же из интернационализма интересуюсь. Однако любопытно было бы попробовать. Исключительно ради интернационализма. Черная-то кожа шершавее, небось?"

Разговоры на эти интернациональные темы раз от разу учащались. "Говорят, у вас там искусственные даже члены продаются. Синтетические. С электрической приставкой. А?" Клио, потупившись, объясняла, что электрические называются не членами, а вибраторами. "Жужжит? — хихикала Тоня. — А по мне и пускай себе жужжит. Когда мужик на тебе крякает да хрипит, как удавленник, лучше что ли? А потом брык — и захрапел, а ты всю ночь ворочайся, неудовлетворенная. — Она вздыхала. — Вот твой Костя не такой. Костя нежный".

Эти загадочные для Клио вздохи окончательно разъяснились, когда однажды Тонечка явилась в комнату с синяком под глазом: "Мой инвалюга из отлучки вернулся. Подаю ему борщ, — шмыгая носом, отчитывалась Тоня, — отхлебнул он две ложки и говорит: это что, говорит, гороховый что ли

суп?" — "Ну да, говорю, гороховый!" Похлебал он еще две ложки". — "Какой же, говорит, гороховый, когда это борщ!" — "А чего ж ты, говорит, гороховый говоришь?" И вдарил мне, инвалюга, отсюда и до сюда". Она вздохнула, пощупав пальцем синяк. Клио не до конца поняла причину семейного конфликта, но синяк на лице был налицо, и не в первый раз.

Муж Тони был инвалид то ли войны, то ли собственной судьбы, по вине которой провел полжизни в исправительно-трудовых лагерях как расхититель народного имущества из пушного кооператива. Тоню он выписал из деревни в качестве домработницы взамен на московскую прописку, но супружеские обязанности, подразумевавшиеся в этом негласном соглашении, исполнять отказывался. "Да и не стоит у него ничего, — объясняла Тоня. — Всю сперму жизнью заморозило. Так что мне без заграничного вибратора не будет душевного покоя. Разве что иногда грузчик наш из продмага палку кинет, когда он не в дупель пьяный, а он у нас пьян в дупель семь суток в неделю. И еще разве что с ревизором перепихнешься: но это по работе, без этого нельзя, разве это любовь? Человек он строгий, семейный, застегнулся и пошел, а где душевная ласка?"

Поскольку вибратор стоил ползарплаты секретарши, Клио делала вид, что не понимает запросов Тонечки. Валюта кончилась, и давно начался натуральный обмен: за дубленкой последовали джинсы, и дело уже шло к лифчику с трусиками. Постепенно переодеваясь во все советское, как в новую шкуру, Клио лихорадочно соображала, что осталось у нее в запасе иностранного, кроме собственного тела? В иностранном происхождении собственной души она стала сомневаться — тем более вряд ли душу можно обменять на иностранную валюту в стране советского атеизма. Но Клио недооценила великой терпеливости женщины русских селений, когда та знает что хочет.

В очередной раз одарив Клио говяжей вырезкой, Тонечка в ответ на благодарности пробормотала свое казенное: "Ой, да что ты, свои же люди!" Но к себе в комнату не уходила, а все сидела, чего-то выжидая, и мяла уголок скатерти. Потом,

решившись, опустилась рядом с Клио на диванчик, сжала ее руки в своих пухлых ладонях и снова заговорила про семейный идеал, про совместное счастье Клио и Кости без вибратора — поскольку Константин хоть и с загибами насчет рецептов спасения России, но на мужском потенциале у него это никак не сказывается, она-то уж знает, не первый год в этой квартирке проживает. И, снова помолчав, перешла к практическим выводам. Поскольку у Клио с Костей впереди супружеская жизнь до седины волос во всех присутственных местах, а у нее, Тонечки, в этом смысле вдовья бесперспективность, не уступит ли Клеечка своего Костю ей, Тоне, всего на пару часов — для телесного слияния. "Ты ничего дурного не подумай! — спешила внести ясность Тоня, глядя, как Клио откашливается, поперхнувшись от Тониной просьбы говяжьей вырезкой, со слезами на глазах, то ли от кашля, то ли от унижения. — Ты не думай: любовные шашни я с ним заводить не собираюсь. Исключительно, чтобы унять телесную лихорадку — уже ночами не сплю. Был бы у меня, Клеечка, вибратор, разве я б к тебе обращалась? Но подумай сама: Василий, грузчик, опять в запое, ревизии не предвидится, а от моего инвалюги, сама знаешь, никакого толку. А с посторонними я не гуляю. Дошла до того, что за прилавком с весами не могу совладать. Вместо того чтоб покупателя облапошить, сама граммы лишние довешиваю. Как мужчина у прилавка — у меня в груди как будто пудовые гири раскаленные, вчера чуть в бочку со сметаной от головокружения не свалилась. Так что прошу тебя, можно сказать, как аптеку: для излечения. Тем более, у Кости, знаю, завтра отгул, а у меня вторая смена. Много времени не займет, а ты пока на нашего вечно живого в Мавзолее с утра поглядишь, ты ж в Мавзолее не была?" И Клио, онемев от услышанного, от самого тона просьбы, жалобно-деловито, при всей невероятности сказанного, качнув головой, подтвердила, что в Мавзолее она, действительно, не была, и вообще: "свои люди — сочтемся".

В то утро первого Тонечкиного с Костей "сеанса" Клио кружила по заскорузлым от мороза московским улицам, со слипающимися от замерзших слез ресницами и делала вид,

что плачет не от ревности и унижения, а переживает за судьбы неудовлетворенных российских женщин, жертв мужского шовинизма советского толка.

Со студенческих лет Клио приучала себя не поддаваться мелкобуржуазному чувству ревности, ложному чувству собственничества. Может быть, просьба Тонечки была ниспослана свыше, как некое духовное испытание, проверка шоком — готова ли она отречься от принципа индивидуализма, неразрывного с западной цивилизацией, и приобщиться к трудной науке общинного быта, где надо делить не только свои мысли друг с другом, не только хлеб и соль. Направляясь в то утро к Мавзолею, она всем сердцем старалась отождествить себя с душой и телом Тонечки, с ее голодным деревенским детством и людоедством, паспортным контролем и московской пропиской, с мужем-инвалидом, который стал старым хрычом не по своей вине, а в результате тягот народных, то есть тюрьмы, как извечного рока этого народа-раба и зэка Божьего.

Но чем жарче становился накал ее благородных чувств, тем, казалось, ниже становилась температура воздуха на Красной площади. И чем ближе она приближалась к мумии вождя революции, шаг за шагом передвигаясь в гигантской очереди по заиндевевшим булыжникам, тем острее ощущалась пустота в желудке, поскольку приближалось обеденное время английского ленча, а кругом высились лишь угрюмые, с пятнами изморози, кремлевские стены, напоминавшие мясо лишь своими багровыми колерами — мясо обветрившееся, залежалое, обмороженное.

Затаив дыхание, она миновала застывшего с примкнутым штыком часового, боясь, что он пропорет ей штыком желудок, чтобы раз и навсегда прекратить неприличные рулады, возмутительные в обстановке встречи с вождем революции. Но морозный румянец под юношеским пушком этого часового напомнили ей золотистый пушок Тонечкиной выи, склоненной над духовкой с ароматным варевом. И перед глазами стали навязчиво мелькать лангеты Тонечкиных бедер и с некоторой долей воображения — августовские вишни ее сосков,

недоступные в зимние месяцы — за исключением Центрального рынка — персики ее щек и ананасы ее ягодиц, а ярче всего — клубника со сливками, которые взбивал Костя своим могучим инструментом и, склоняясь над этим роскошным мясным блюдом, поливал его соусом. И Клио хотелось проглотить Тонечкины телеса целиком с потрохами, в неком припадке голода по человеческой теплоте и плоти на этом морозе, превращающем эротику в людоедство.

Как будто поймав ее на этой людоедской мысли, кто-то грубо подтолкнул ее, тяжело дыша в затылок: она поняла, что задерживает шествие мимо гроба вождя. Глаза ее скользнули по восковому личику мумии с как будто наклеенной бородкой. Очередь снова вынесла ее на булыжную площадь. Дразнящая пустота в желудке сменилась тупой сосущей тошнотой как будто в животе оказалась эта мумия. Она зашла в городскую уборную: ее долго и мучительно рвало.

Что заставляло ее согласиться на Тонечкины уговоры — уступала ли она зовам желудка или сочувствию к чужой одинокой женской доле? Она чувствовала себя всей Россией: не способной себя прокормить, зато взамен дарящей любовь. И когда Тонечкины запросы стали повторяться с регулярностью месячных, Клио даже стала наводить справки о возможности принять советское гражданство, чтобы официально, так сказать, зарегистрировать собственный жертвенный статус. Но, видимо, не все униженные и оскорбленные этой коммунальной квартиры разделяли ее пафос жертвенности. В очередной раз, когда в глазах у Тони появилось знакомое томное беспокойство, поскольку Вася опять в дупель пьян, а ревизии не предвидется, муж-инвалид в отлучке вторую неделю, Клио решила на прогулку вообще не выходить, а отсидеться на кухне. Тем более, мороз на улице трещал такой, что даже школьники не посещали школу. Тем более, был повод: на кухне скопилась гора грязной посуды, как раз займет те полчаса "свиданки", как называла Тонечка свои визиты в Костину комнату.

Клио стояла у кухонной раковины с черными ранами сбитой эмали, скосив глаза на заросшее грязью и кухонным жиром окно, и грохотом посуды пыталась заглушить то ли стук вагонных колес за окном, то ли скрипучее грохотанье кровати под нарастающее паровозное пыхтенье за стеной. Чтобы не слышать эти охи и всхлипы и скрипы, она даже обвязала голову полотенцем, но постельная возня не заглушалась ничем, и от этих инвокаций, мнимых или действительных, у Клио начинало слабеть в коленках и банное мыло (посудомоечная пена была незнакома этой цивилизации) выскакивало из ее огрубевших красных пальцев с заусеницами и падало на потрескавшийся щербатый пол.

Унижение было не в том, что Костя сейчас там за стеной занимается кулинарными ритуалами с Тонечкиным жарким телом, а в том, что Клио там нет, что ее не допустили к дегустации российского тепла на советском морозе, а ей хотелось быть Тоней на месте Кости, или Костей на месте Тони, быть ими обоими. Всякий раз она ждала, что ее позовут, покличут и посвятят в загадочный ритуал душевной дележки, а не будут держать сторожем брата своего или кем там еще.

Кисловатый, затхлый запах годами непроветривавшейся кухни напомнил ей о деревенском хлеве, и взвизгнувший гудок паровоза слился с заголосившей за стеной Тонечкой. Как зарезанная свинья. Чем они там занимаются? И кому она сторож? И сторож ли? Что если все эти идеи, надежды, амбиции, которые привели ее в эту мистическую советскую Россию, все это блеф? И права была тетка, твердившая дяде миссионеру, что с дикарями надо обращаться по-дикарски, иначе они тебя съедят.

Обмывок банного мыла снова выскользнул из пальцев, и подняв его с почерневшего как будто глиняного, пола, Клио перехватила свое отражение в мутном, запотевшем зеркальце над кухонной раковиной. И себя не узнала. С полотенцем на голове, с лицом, обветрившемся от русской зимы, с обломанными ногтями, вся в каких-то поддевках, поскольку разные джинсы и водолазки перекочевали к Тоне — от нее, — от лондонской Клио ничего не осталось. Осталась ряженая, уготовленная на заклание — то есть привычное для этой страны людоедство. И тут она почувствовала, что за спиной зако-

пошилось нечто и потом уткнулось в туфлю и поползло вверх по ноге, твердое и упругое, как крыса. И как тут не быть крысам, если квартира кишела клопами и тараканами, сколько ни поливай дезинсекторатами и пестицидами, а ночью пробираешься в уборную, щелкнешь выключателем — и на тебя чуть ли не прыгает армия суетливых вавилонян на тысяче ножек, толкущихся по всем углам в своих собственных очередях распределительной продуктовой сети: как тут и крысам не возникнуть? Она передернулась, как будто за шиворот засунули мыльный обмывок, скользнувший вниз по спине липким и скользким комком, и, сжав недомытую тарелку, как единственное оружие, Клио стала медленно поворачиваться, чтобы пришибить паразита, крадущегося по ее туфле.

"Не пужайсь, англичаночка", — осклабилось на нее существо, раскачивающееся на протезе посреди кухни. Палкой-костылем с резиновой наставкой на конце он теребил туфлю Клио, но тут, скосивши взгляд на тарелку, зажатую, в ее руках, костыль убрал. Тонин супруг-инвалид своим видом напоминал "крокодильскую" карикатуру на лондонского безработного: с колтуном слипшихся, торчащих из-под шапки-ушанки волос, с испитым, подернутым плесенью лицом алкаша, где нос был похож на гнилую картофелину, а заячья обветренная губа не прикрывала искрошенных и желтых от никотина зубов. Неясно было, где испоганенное жизнью тело переходит в обезображенность тряпья, где рубаха слилась по цвету с немытой шеей и небритостью.

Это чудище было для Клио тенью одного из тех лондонских побродяжек, догов-собак английского общества, что ищут ночлега под железнодорожными мостами. Она снова вспомнила Колина с его рождественским подарком. Инвалид раскачивался перед Клио как призрак несправедливой Англии, как ее общественная совесть; но из-за своей экзотичности для ее, Клио, глаз он неожиданно предстал пародией на английского лорда, викторианским судьей в парике, как будто стыдящим ее, Клио, за то, что она предала забытью всех униженных и оскорбленных там, у себя на родине, и дала себя вовлечь в развратные и поганые обычаи чужого народа. И

вот теперь, с руками, грязными от посуды, с чужими объедками, предавалась ментальной похоти и блуду, в который втягивала ее извращенная преданность туземному мужу. Ее, аккуратненькую и дисциплинированную школьницу со скаутским галстучком как будто поймали курящей в уборной, или прямо в дорматории с одноклассницей под простыней, и вот директор гимназии, судья в парике, лорд-канцлер раскачивался перед ней, грозя костылем истории.

Клио всматривалась в шевелящиеся губы, произносящие загадочные проклятия в ее адрес, пока не рассылашала, наконец, обращенный к ней вопрос Тонечкиного инвалюги: "Давно хотел спросить, англичаночка, а что рабочий класс у вас там в Англии глушит?" — "Рабочий класс — что?" — не поняла с испугу Клио. "Глушит. Ну это, то есть, выпить чего предпочитает?" — повторил, раскачиваясь, инвалид социальной несправедливости. "Все, — подумав, ответила Клио и добавила: — Все, и еще сидр". — "Сидр? Это еще что такое, сидр?"

Клио, напрягая свои познания в русском, попыталась объяснить про яблочную настойку. "Так в нем, в сидре, градуса, значит, нет? Чего ж его пить?" — недоумевал Тонин супруг. Клио объяснила, что градус достигается количеством выпитого. "Полезный, наверное, напиток? — задумчиво переспросил инвалид. — Ну а чем они его закусывают? Чем закусывает английский рабочий класс?" — спрашивал он, продвигаясь к Клио. "Ничем", — отступив на шаг, ответила Клио. "Вот это по-мужски! — стукнул костылем инвалид. — Этому надо нам, пролетариату самой первой страны социализма, поучиться у английского пролетариата. Не закусывать! — Он помолчал. — Английскому пролетариату, однако, легче. Если в этом сидре-дристе градусу нет, чего ж его закусывать? Нет никакой необходимости. А если взять водку, скажем, — он помотал пальцем в воздухе, — или если спирт, то тут мы достигли больших успехов. Мы и водку не закусываем. Закусывать все равно нечем. Если б не Антонина!" — И он икнул.

В этом загадочном диалоге Клио, как всякая иностранка, подозревала иной, потайной смысл, скрывающийся за неле-

пыми фразами. Тонечкин супруг заведомо намекал на ее чуждость этому обществу, его России. И впервые за все эти месяцы она неожиданно для себя дала волю долго копившейся обиде и ревности, и ей захотелось любым способом отомстить этой круглозадой Тонечке за ее мясистые преподношения — за то, что из-за ее российских страданий, она, гордая британка, должна стоять над горой грязной посуды перед этим упырем из болота на протезе с его хитрыми вопросами.

"Антонину мою не видала? Пошамать хоца! — пробурчал инвалид и двинулся к кухонному столу. "Натравить бы этого вампира на парочку за стеной", — подумала Клио, но тут же соврала, противореча собственным намерениям. "Она из магазина не успела приходить еще", — забормотала она свои англицизмы, как будто в раскаянии за собственные мстительные мысли.

"Как же это не успела приходить еще, когда на столе кило говядины гниет без присмотра?" — и супруг Тони инквизиционно указал на истекающий кровью кусок вырезки на тарелке. И тут из-за двери Костиной комнаты с удвоенной мощью грянул дует голосистой Тонечки и кроватного скрипа.

"Антонина голосит, — нахмурился супруг-инвалид, склонив ухо в сторону двери. — Так только Антонина моя визжать может, когда я ей мозги ее деревенские костылем вправляю", — утверждался он все больше и больше в своих соображениях и догадках и, наконец, покачиваясь и хромая, двинулся к Костиной комнате. Клио тоже стала продвигаться из своего угла, пытаясь своим телом скрыть существование двери в ад плотского греха за стеной. "Отойди, англичанка, — грозно наступал на нее инвалид. — Я тебя не тревожу, но и другим свою Антонину колошматить не позволю. Я ейный законный супруг". — И, отшвырнув Клио костистым плечом, одним ударом деревянной ноги вышиб дверь.

Клио думала (если она вообще думала в этот момент) увидеть нечто оргиастическое и греховное из египетских ночей с Антонием и Клеопатрой, но глазам ее, выглядывающим из-за спины Тонечкиного супруга, предстало нечто производственно-фабричное. Лицом к двери, на карачках стояла Тоня — со сбитыми на лоб потными кудряшками перманентной завивки, с закатившимся взором и чуть ли не высунутым языком. Как будто катая белье на берегу невидимой речки, она мощными челночными движениями ягодиц раскачивала кровать и Костю, который вцепился в ее зад, явно боясь свернуться на пол. "Сейчас кончу, ей-ей, сейчас кончу!" — голосила Тонечка, как будто объясняя представшему перед ней супругу, что вот-вот закончит рабочую смену и поступит в его распоряжение. Страсть слепа. И только, когда супруг-инвалид опустил свою тяжелую лапу на ее перманент, потянув за волосы, Тонечка, ошарашенно завертев глазами, очнулась и издала то ли стон, то ли вопль, то ли от ужаса, то ли выполнив наконец обещание кончить. Этот вопль перешел в животный визг боли, когда инвалид, рванув, сбросил ее на пол и потащил за волосы через весь коридор, голую и извивающуюся, как Синяя борода, в свое подземелье. Он даже не удосужился прикрыть дверь их комнатушки, откуда стали раздаваться мерные и глухие удары.

Клио бросилась к двери. Тяжелое уханье исходило от Тониного супруга, который, сняв деревянный протез, сосредоточенно дубасил Тоню по белому телу, не исключая физиономии. Оглянувшись на возникшую в дверях Клио, он на секунду оторвался от своего утомительного занятия и сказал угрожающе, наставив на Клио костыль: "Ты в наши внутренние дела не суйся, иносранка. Развела тут капиталистическую конкуренцию, басурманка бесстыжая! Я семью разрушать не позволю!" — И снова заработал протезом по Тониным телесам. Косте, взиравшему на эту сцену с безразличием опытного зоолога, пришлось вызывать милицию.

Потом был визит в больницу к Тонечке. Были бесконечные удостоверения личности госпитализированной и путаница в номерах палат, пожухлая масляная краска и истершийся линолеум, запах швабры, грязных кастрюль и нечистых бинтов, запах смерти. Клио пробиралась через коридоры, уставленные из-за недостатка помещения больничными койками, как во время войны или революции. Санитарка, с усами содержательницы борделя, указала Клио на Тонечкину койку в

переполненной палате — иначе Клио ни за что не узнала бы свою соседку. Тоня покоилась на кровати запеленутая, как мумия, с ног до головы в гипсе и бинтах.

Мумия вздохнула распухшими с синевой и кровоподтеками губами и глянула на Клио глазами ошпаренной кипятком собаки. Клио схватилась было за графин с водой, за кулек с яблоками на тумбочке. Но веки заплывших от побоев глаз снова опустились. Клио тоже опустилась на стульчик рядом с кроватью и с минуту вслушивалась в стоны с соседних коек.

Когда она уже поднялась идти, губы Тони вдруг зашевелились, и глаза снова просительно заморгали. Как сестра милосердия, Клио склонилась ухом к этим израненным губам, как будто душеприказчица последней воли умирающего и услышала полушепот, полустон: "В деревню... — и потом еще раз, с глотком воздуха, — в деревню хочу... — и снова: — домой хочу, в деревню..." И из-под заплывших век потекли слезы и расплылись желтыми пятнами на бинтах. "В Англию! В Англию!" — понукала себя Клио, стуча каблуками по больничным коридорам к выходу.

* * *

Но вернувшись из больницы и снова увидев спину Константина, ссутулившегося над столом, решила умолчать об отъезде. В центре стола, как будто ценный антикварный предмет, лежал зеленый огурец, на который не мигая и уставился Костя. Огурец был последним подношением Тонечки, сувенир эпохи натурального обмена, плата за предоставленную ею последнюю "свиданку" с Костей.

"А не заделать ли нам завтра греческого садзыки?" Для садзыки, объяснил он, ничего не требуется, кроме свежего огурца и укропа, который сохранился в сушеном виде еще со времен лондонских визитов Клио, а чеснок с прошлого года на стене висит. Не хватает только простокваши, но и это не проблема: стоит плюхнуть ложку сметаны в молоко, и на утро готова тебе простокваша. "Помянем Тонечку греческим садзыки, — заключил Константин и, отправляясь на ночную вахту в своей консервной проходной, отдал Клио распоряжение. — Сметанки купи". — "Где?" — беспокойно заморгала Клио. "Да хоть в продмаге у депо", — бросил ей Костя, походя, напоследок хлопнув дверью.

* * *

Она шла по переулкам, через проходные дворы, как законная жительница своего района, привыкшего к беззаконию. Она не могла понять, зачем она тащится за этой сметаной и почему послушно следовала указаниям Константина, почему не собрала чемоданы и не покинула эту житейскую клоаку раз и навсегда.

Клио миновала цепочку замерзших граждан, продвигающихся с похоронным звяканьем сумок к окошку сдачи пустых бутылок. Дворник резанул ей по сердцу скребком, которым он сбивал лед с тротуара, отделенного от проезжей части гигантским крепостным валом и противотанковыми заграждениями из снега. На другой стороне улицы лед уже успели посыпать солью с песком, и эта смесь вместе со слякотью льда оседала на туфлях белыми оползнями кожной проказы. Но настоящая толкучка, как в бомбоубежище, ожидала ее в продмаге. Уличная жижа, вместе с топотом сотен ног, растекалась лужами по кафельному полу. Не обращая внимания на ругань и толкотню, через толпу протискивалась уборщица в синем халате, с ведром и шваброй в руках, и разбрасывала по полу опилки, полной горстью, прямо на покупателей. Те чертыхались, но все их внимание концентрировалось на невидимой в колготне и толкотне спирали очереди в мясо-молочный отдел. Другая невидимая спираль вела в кассу, и где эти два витка кончались, и где начинались, и как друг с другом не смешивались, понять было немыслимо, и тем не менее люди с железной интуицией следовали друг за другом в невидимой иерархии очередей, и спешили одернуть каждого, кто эту иерархию подвергал сомнению. Очень быстро выяснилось, что сметана есть, но отпускают ее в общей очереди, которая ломилась за "докторской" колбасой — продмаг, видимо, сочетался в Советском Союзе с аптекой, и больных было много.

"Больше полкило в одни руки не давать!" — то и дело раздавались крики там, где, судя по всему, находился конец очереди. Сколько ни убеждай эту очередь, что она, Клио, вегетарианка и ей нужна не колбаса, тем более "докторская", а исключительно сметана, никто ей не поверит. Колбасная же очередь тянулась часа на три. Оставалась еще одна возможность: попытать счастье в "горкомовском" гастрономе. Но в "горкомовском", как выяснилось, давали творожную массу с изюмом, а сметаны вообще не было — не завезли, и, уже паникуя, скользя и балансируя на ледке тротуара, Клио снова прискакала в "деповский" продмаг и, работая локтями, пристроилась к очереди в кассу. Когда через полтора часа, до окошка кассы осталось человек десять, над муравейником голов разнесся визгливый голосок продавщицы мясо-молочного отдела: "За сметану не выбивать!" Поскольку Клио еще не научилась воспринимать крики на иностранном языке, не обращенные непосредственно к ней, это предупреждение прошло мимо ушей, пока ей снова лично не повторили, уже из окошка кассы: "За сметану не выбивать, вы что, оглохли?" — "Но я же стояла", — сказала Клио. Она действительно стояла, обреченно предоставив толпе вокруг толкать ее в спину, давить в грудь, оттеснять в сторону плечами, пока этот водоворот не прижал ее к старушке с сердобольным личиком в другой, уже прилавочной, очереди. "А ты беги, дочка, к "энергетическому" — там всегда сметана есть. И сосиски молочные, соседка мне сказала, сегодня дают. Ты мне очередь застолби. Я тебе тут "докторской" возьму, а потом махну за сосиками в "энергетический", — нашептывала ей сердобольная старушка по секрету. Клио стала проталкиваться к выходу.

Но какой-то азарт обреченного человека и чисто английское упорство, даже упрямство, заставили ее повернуть не в сторону дома, а в направлении Энергетического института, где и полагалось быть "энергетическому" гастроному. Отыскать его среди других угрюмых подъездов было нетрудно: очередь вываливалась из него трупной кишкой с волдырями авосек. Отстояв свои положенные полтора часа, Клио наконец возникла перед продавщицей, зажав в кулачке заветный чек на полкило сметаны. Продавщица, не взглянув на нее, стала вытягивать, как фокусник из рукава, гирлянды сосисок.

"Следующий!" — гаркнула она, нанизав чек на острое шило, уготовленное как будто для Клио. Та, коверкая слова, упомянула сметану. "Банка ваша где, гражданка?" — рявкнула продавщица, отбросив сосисочные гирлянды и хватаясь за гигантский половник. "Какая банка?" — смутилась Клио, давно отвыкнув от банков и чековых книжек. "Я вам уже представила чек из кассы", — напомнила она продавщице. "Мне из этого чека кулек вертеть что ли? — расходилась продавщица, размахивая половником. — Куда мне сметану вашу наливать? Банка где? Или в руках понесете?" До Клио дошел зловещий факт: сметана в этой стране продавалась только в разлив. Нужна была посуда. Нужна была банка. Банки, естественно, не было. "Мне в рот вам сметану отвешивать, что ли? — не унималась продавщица. — Вы что, по-русски не понимаете, что ли?" Клио по-русски уже кое-что понимала. Понимала она и громкую ругань напиравшей сзади очереди, вопли "разбазарились тут, понимаете ли!" и пыталась объяснить присутствующим насчет банки и сметаны. "Беги домой за банкой, а я очередь застолблю", — возникла перед ней сердобольная старушка из "горкомовского" продмага. С "докторской" колбасой в авоське она теперь пристраивалась к Клио, объясняя гудящей очереди, что Клио ее дочка, а она ее мать, что они, мол, вместе с дочкой: дочка за сметаной, а она, мать, за сосисками.

"Запомните меня, — упрашивала Клио продавщицу и очередь, — чтобы мне потом снова не стоять". Старушка напутственно выталкивала ее из очереди, очередь бурчала: "Ладно, давай, ладно!" А продавщица уже визжала: "Следующий!"

Была еще одна пробежка по солевым и ледяным полям тротуаров и потом обратно в гастроном, держа банку в протянутых руках, как кубок победителя спортивной эстафеты. Но когда она добежала до "энергетического", гастроном закрылся на обеденный перерыв. Она решила никуда не двигаться и час дежурила перед дверью, сжимая банку в закоченевших

пальцах. К открытию магазина ее уже подпирала новообразовавшаяся со всех сторон "сосисочная" очередь, но она упиралась локтями и не давала никому пролезть впереди себя, вжимаясь лбом в зарешеченную, как в тюрьме, стеклянную дверь. Когда же дверь распахнулась, напиравшая сзади толпа, ринувшаяся к прилавку и к кассе, вынесла ее на кафельный пол, покрытый жижей слякоти с опилками, и Клио, как будто вытолкнутая затычиной в спину на цирковую арену, на протянутый канат, взмахнула руками, проехалась на скользящем каблуке, и банка, скользкая после мороза, вылетела из рук, перевернулась перед толпой разинутых ртов и приземлилась на голый кафель. Удар, и тут же матерная ругань толпы, хрустящей по осколкам сапогами.

Этот хруст стекла, звон разбитых надежд, вместе с режущим сердце скрежетом дворницкого скребка по асфальту сопровождали ее всю дорогу к дому. Войдя в Костину комнату, она одним движением смела с полок все банки и жестяные коробки со специями, и запах, дурманный и резкий, стал ввинчиваться в виски, щекотать ноздри, заставлял слезиться глаза, маскируя ее собственный плач. Эта была вонь желудочного российского духа, Костиного духа. И хруст разбитого стекла казался хрустом костей, когда Клио расхаживала среди этого разгрома и страницу за страницей разрывала Костину амбарную книгу на мелкие кусочки, рассеивая по комнате обрывки с той же систематичностью, с какой хлопья снега за окном ежедневно пытались замаскировать уродство окружающего пейзажа. "Уеду! — мычала она сквозь плач, — одна уеду-у-у", — и паровоз за окном отвечал эхом.

Но когда на пороге возник Костя, она перепугалась: его физиономия представляла собой столь же жуткое месиво погрома, какой она учинила в комнате; как будто ее ненависть к комнатной периферналии перешла на Костино лицо опухшее, с садинами, кровоподтеками, с изуродованной губой — так, наверное, выглядело бы Тонечкино лицо в больнице, если бы с него сорвать бинты. Не говоря ни слова. Костя плюхнулся на кушетку и задрал голову к потолку. Из носа текла кровь, и он вытирал ее грязным платком. Клио забегала по комнате, организуя примочки и йодные тампоны. Наконец, залепленный и перебинтованный, как будто загримировавшись под Тонечку, Константин заговорил, еле шевеля разбитыми губами. Он рассказал, что все произошло из-за митинга в знак протеста против израильской агрессии с обязательной явкой. Костя, как всегда, отсиживался в углу, в задних рядах и дремал, обдумывая очередной кулинарный рецепт. Как гении шахмат могут играть вслепую, так Константин мог ощущать вкус кулинарных комбинаций в уме.

Тем временем выступающие с трибуны в ярких красках расписывали геноцид сионизма против палестинских младенцев, и Костя, естественно, переключился в уме, вслед за ораторами, на кухню Ближнего Востока — от хумуса до шакшуки. Все бы и шло своим чередом — с полудремой и позевыванием, — если бы не пропагандист из обкома, который не ограничился перечислением зловещих фактов, но пустился в исторический экскурс о сионизме.

Этот обкомовский пропагандист указал, что пироги милитаристского разгула сионизма замешаны на дрожжах махрового учения иудаизма от Нила до Ефрата с его оком за око и выбиванием зубов у младенцев царем Иродом при поддержке реакционных фарисеев и седдукеев с употреблением крови младенцев для пасхальной мацы, спровоцировавшей в прошлом дело врачей в период культа личности, осужденного своевременно генеральной линией партии. Косте было плевать и на врачей и на кровь палестинских младенцев как таковую; но пропагандист осмелился приплести кровь к рецепту мацы. А тут, извините, кончался сионизм, и начиналась, извините, совсем другая кухня. Костя встрепенулся и попросил слова. Слово ему дали — от неожиданности. Это был первый случай в истории митингов с обязательной явкой, когда спонтанное волеизъявление трудящихся не ограничилось храпом в задних рядах. Поднявшись на трибуну, Константин заявил, что будет говорить не на тему геноцида, в котором не участвовал, а на тему кулинарии в иудаизме и в связи с этим желает поправить обкомовского работника насчет употребления крови. Принцип кошерной кухни как раз в том и состоит, что ни в

мясе, ни в птице не должно быть намека на кровавость. Поэтому, скажем, зарезав курицу, резник держит ее несколько часов вниз головой, чтобы вся кровь вытекла, до последней капли. Правоверный иудей мог бы, как кажется на первый взгляд, съесть палестинского младенца, отрубив у него предварительно голову для оттока крови, но человеческое мясо тоже некошерное, поскольку палестинский младенец лишен копыт, необходимых для кошерности.

Договорить Константину не дали: председательствующий оборвал его мысль, заявив, что в повестку не входит обсуждение мифов Древней Греции. Костя спорить не стал, посчитав, что свое уже отговорил и, послушно сойдя с трибуны, направился к двери. При выходе его кто-то потянул за локоть:

"Побеседовать надо", — не глядя ему в глаза, буркнул толстый парень из цеха сухофруктов. Из-за его широкой спины перед Костей возникли два товарища физкультурной наружности и, подталкивая Костю вперед четкими затрещинами, эта троица в хорошем конвойном темпе повела его в направлении упаковочного цеха. Там, среди пустынных рядов с банками консервированных ананасов для кремлевского распределителя, рыжий верзила приподнял Костю за ворот пиджака и, приставив кулак к носу, зашипел: "Ты что, сучий потрох, агрессию жидов поощряешь? С преступлениями сионистских фашистов солидаризируешься, жидовская морда? Мы из тебя сделаем кровавый бифштекс, гнида пархатая. Кровь из тебя выпустим, будь спок, перед тем как тебя на консерв пустить, фарисей кошерный", — и с каждой очередной идеологической констатацией утрамбовывал кулаком Костин нос, который из молодой картошки стал превращаться в фаршированный кабачок консервной фабрики "Родина". Но помогла свиная тушенка. Отечественная. Некошерная. Он заметил ее у себя перед носом, когда валялся на полу, корчась от боли под ногами патриотически настроенной троицы. Его рука вслепую нащупала банку и так же вслепую двинула ею по склоненным над ним в святом и кровавом триединстве мордам. Морды взвыли и отпали, и грянули за стеной аплодисменты закончившегося, видно, митинга. Он добрел до проход-

ной, не выпуская из рук эту тяжелую банку, — что и послужило причиной составления рапорта и протокола за вынос готовой продукции с территории фабрики — с приказом о последующем увольнении и волчьей характеристикой. На его разбитую в кровь физиономию почему-то вообще не обратили внимания.

Лишь спустя несколько часов, когда после неоднократных примочек распухшие глаза Кости стали понемногу приоткрываться, он обвел комнату ошарашенным взглядом и пробормотал: "Что произошло? Я думал, у меня в глазах рябит — что тут делается?"

Хромая, он расхаживал от одного угла к другому, нагибался и перебирал осколки, принюхивался к рассыпанным порошкам и травам, вздыхал и бормотал и чертыхался. Потом безуспешно попытался приставить несколько обрывков страниц друг к другу и застонал: "И книгу, суки, уничтожили!" Он был уверен, что обыск и погром был устроен органами. Уничтожение амбарной книги он простить не мог. Когда до Клио дошел наконец смысл Костиных ругательств, она решила его не переубеждать. В конце концов, сами русские все свои беды сваливают на КГБ. Почему бы и ей не привлечь красных дьяволят-чекистов для разрешения собственных душевных конфликтов. Через месяц они собрали нужные бумаги и Константин подал заявление на воссоединение со своей британской супругой по месту ее жительства, в Лондоне.

6. БЕЛЫЙ КЛЮЧ

"Ого! ага! угу!" — послышались душераздирающее победные вопли из дальнего угла садика. Антони, прервав изящное доказательство зловещей абсурдности гонки вооружений, стал недоуменно оглядываться. Около березы в детском возбуждении скакал Костя, потом присел на корточки, порылся в траве и припустился во всю прыть к чайному столику.

"Нашел!" — маниакально повторял он и трясущимися руками тыкал под нос каждому какую-то на вид гигантскую

улитку. В другой его руке поблескивал на солнце нож. "Почему он никогда не расстается с ножом?" — промелькнуло в голове у Клио.

"Положи нож на место", — по-учительски, строго сжав губы, сказала она расшалившемуся школьнику Косте. Тот, не споря, бросил нож на стол и обеими руками выставил свою драгоценную находку навстречу солнцу, любуясь ею в послеполуденном освещении. "Подберезовик, а?" — блаженно прошептал он, обводя всех взглядом триумфатора. Не дождавшись фанфар, он повернулся к Клио и затараторил своим наставительно-укоряющим речитативом, как будто причитая: нет, не зря он, значит, настаивал на бережном отношении к приберезовому участку сада в рамках охраны окружающей среды! Интересно, что произошло бы с этим подберезовиком, дай он волю Клио с ее шизофренической идеей подстригания все под одну гребенку этой самой жужжалкой, которая производит социалистическую уравниловку в отношении флоры — будь то лопух, куриная слепота или колокольчики степные. Даже березу готова она приравнять к пню, только вот, слава Богу, стальные зубы коротки. Что ж тут говорить о подберезовике — разве уцелел бы этот нежный гриб, один из самых замечательных для маринада грибов на свете? В маринаде шляпка подберезовика уступает разве что белому грибу, а в грибном супе дает настой могучий и несравненный, а уж если зажарить подберезовик, да еще с лучком, и приправить картошечкой, да под водочку! И Костя сладко вздохнул, блаженно прикрыв глаза.

"Костя у нас фунгофил", — смущаясь пояснила Клио, заметив, как Антони заерзал на стуле, опасаясь назревающего семейного скандала.

"Фунгофил? — непонятно с чего покраснев, переспросил Антони. — О! — добавил он и сочувственно улыбнулся Косте.

"Поосторожнее!" — гаркнул на него Костя, когда Антони с остраненным любопытством человека, думающего о своем, потянул лежащий на столе подберезовик за ножку.

"Ядовитый, наверное, гриб, — невинно заметил Антони, пропустивший мимо ушей все предыдущие рассуждения

Кости про подберезовики. Нацепив модные, под Джона Леннона, в стальной оправе очки, он понюхал гриб на расстоянии и потом брезгливо отодвинул его от себя мизинцем. — Я предпочитаю наши традиционные британские шампиньоны".

"Ядовитый?! Это подберезовик-то ядовитый? — возмутился Костя. — Шампиньоны! И они, кстати, не британские, а французские. Их в Россию Наполеон завез с грязью на солдатских подошвах. Да в Москве эти шампиньоны никто в рот не возьмет, они на улице Горького растут, сквозь асфальт лезут, их прохожие топчут.

"Они, по крайней мере, не червивые, — вставил по-английски Антони. — Я говорю про шампиньоны, — снова по-английски любезно пояснил Антони. — В шампиньоне, по крайней мере, нет червей, как в этом — как вы его называете?" — И Антони с явным отвращением ткнул пальцем в испещренную дырочками бахрому шляпки подберезовика.

"Эй, эй, полегче! — вздернулся Костя в защиту гриба. — Ну и что если и черви? Черви тоже мясо. А если вы такие уж вегетарианцы, положи гриб в соленую воду — весь червь наружу полезет, и жарь его, гриб, по-вегетариански."

В неловкой паузе все стали вслушиваться в пение птиц и поглядывать на солнце, утопающее в пухлую перину облаков, где утопала и малейшая надежда на возобновление разговора. Клио, как можно оживленнее, загремела чашками, разливая остатки чая. "Чиво чай не дуешь, мужик?" — игриво спросила Марга и фривольно толкнула Костю локтем в бок. Тот слегка отодвинулся. В результате общения с ленинградской фарцой и московскими художниками-нонконформистами Марга шиковала по-русски неким подобием полуподпольной фени, которую считала языком избранной советской интеллигенции. Но Костю гораздо больше покоробило совсем иное.

"Кто чай заваривал? — строго спросил он, отхлебнув из чашки с гримасой отвращения. Чай, естественно, заваривала Клио. — И опять, наверное, крутым кипятком заливала? —

"Чай? — вежливым попугаем повторил Антони, старавшийся следить за диалогом по-русски. — А чем еще надо заваривать чай? Если не ошибаюсь, кипятком".

"Костя говорит, что в Англии не умеют заваривать чай", — объяснила ему по-английски Марга.

"О!" — удивился Антони и снова заерзал на стуле.

"И нечего окать! — нахмурился Костя. — Чай умеют заваривать только в России, — сказал он, — поскольку в Россию чай попал гораздо раньше, чем в Западную Европу". — И произнес целую лекцию об атаманах Петрове и Ялышеве, описавших еще в пятнадцатом веке диковинный китайский напиток; и о землепроходце и посланнике царского двора Василии Старкове, который в обмен на соболей получил от монгольского хана полцентнера чаю, о котором тогда в Англии и не слыхивали, а царь и бояре уже распивали чаи в шестнадцатом веке, и не только бояре, но и простые московские горожане могли купить "ханское зелье" вместе с мылом и пенькой на Красной площади. Чай как напиток, таким образом, демократизировался и проник в низы именно в деспотической России, а не в Англии "с ее хваленой парламентской демократией", — сказал Костя.

"Нетривиальная мысль", — подхватил Антони единственное понятное ему слово "демократия" в Костином монологе.

"Пора отказаться от примитивного деления мира на тоталитаризм и демократию. Деление земного шара на чайные и кофейные зоны гораздо глубже отражает ход истории, — перебил его Костя. — Европа, между прочим, в лице Бурбонов и Габсбургов, издавна захватив монополию на кофе, обратила свое бюргерство в рьяных почитателей кофейных зерен и перекрыла, таким образом, все пути распространения кофе на восток в славянские земли. Европа оказалась в кофейной зоне, в то время как Россия через татарское ханство шагнула семимильными шагами в зону чайную".

"А как с Америкой? Как насчет второй ядерной супердержавы в мире?" — взбудораженно спросил Антони.

"Ядерная, не ядерная! Никакого ядерного конфликта между Америкой и Россией не будет. Потому что они обе из чайной зоны. Чай в Америку попал из России: через чукчей и чучмеков — через Аляску, в общем, на собаках".

"То есть, в конечном счете, через татарское ханство?" — и

Антони опасливо переглянулся с Маргой: Костя был явно не в себе..

"Когда ты успел напиться?" — не выдержала Клио.

"На твоих глазах, — буркнул Костя. — Твоим березовым чаем. Это не чай, а средство для изжоги. Европа погибнет от радиоактивного отравления", — неожиданно заключил он.

"Именно об этом мы только что и говорили", — с энтузиазмом подержал его Антони.

"Европа погибнет, потому что продолжает заваривать чай крутым кипятком из чайника, отвергнув традицию российского самовара — тоже между прочим, наследие татарского ханства, наряду с банями", — добавил Костя как будто в отместку Клио-Европе и перешел к панегирику самовару, "русской чайной машине", как самовар справедливо называют на Западе. Самовар, объяснял Костя, благодаря своей уникальной форме, усиливающей резонанс, обладает замечательной способностью: когда вода только-только закипает, самовар издает едва различимый сольный звук — он "поет"; но вот постепенно количество пузырьков, возникающих на дне и рвущихся на поверхность, все более увеличивается, и, наконец, начинается вторая стадия кипения: она характеризуется массовым стремительным подъемом пузырьков, которые вызывают сначала легкое помутнение, а затем даже побеление воды, напоминая, таким образом, быстро бегущие воды родника. Эта стадия и называется поэтому: "белый ключ"; и самовар тут — благодаря своим резонансным качествам — начинает издавать особый звук. И Костя то ли зажужжал, то ли зашипел.

"Этот еле уловимый момент пропустить ничего не стоит! Если б не самовар! Самовар шумит, шумит, возвещает: заваривай чай, а то плохо будет!"

"Вы сказали: плохо будет? Отчего плохо будет?" — выдавил наконец из себя Антони.

"Не понимаете, да? — зловеще поглядел на него Костя. Неужели цивилизованные англичане не понимают, что если пропустить стадию "белого ключа", то молекулы воды начинают расцепляться от перекипячения. Из воды начинают уле-

тучиваться гигантские массы водорода, и чем дальше кипятишь, как это принято у английских домохозяев, вроде Клио, тем больше в чае дейтрия, тяжелого водорода, представляющего собой изотоп обычного водорода.

"Чего?" — испуганно переспросил Антони.

"Тяжелой воды — вот чего! От перекипания получается тяжелая вода. Вы пьете не чай, а подкрашенную тяжелую воду. А тяжелая вода для чего используется?"

"Для водородной бомбы!" — с открытым ртом застыл Антони.

"Вот именно, — мрачно констатировал Костя. — Вы наливаетесь не чаем, а тяжелой водой. Ваш желудок постепенно превращается в ходячую водородную бомбу! Аррр-р-р-р!!" — вдруг издал он страшный рык, атомный вой и рванулся всем телом — через стол, опрокидывая чашки и блюдца, сахарницу и молочницу. Дело в том, что Антони, вслушиваясь в Костины рассуждения про самовар, нервно теребил ножку подберезовика на столе и, услышав, что его желудок превращается от чаепитий в водородную бомбу, судорожно сжал пальцы и — от изящного гриба на ладони осталась жалкое и жидкое месиво шкурок и волокон.

"Я же говорил, я же предупреждал: осторожнее!" — чуть не хныкал Костя, склонившись над размозженным грибом, как король Лир над мертвой Корделией, и в безуспешной попытке соединить грибные ошметки друг с другом, надеясь на возрождение из праха раздавленного шедевра гриболюба. Клио и Марга с перепуганными бледными лицами носились взад-вперед, собирая, в свою очередь, осколки чайной посуды И вытирая чаинки, прилипшие к одежде и стульям, как будто чайник действительно разорвался ядерной бомбой. Костя не обращал на них никакого внимания. Он мутным взором оглядел место катастрофы, промычал: "Ыых, вы!" И с понурой спиной зашагал прочь, на полпути вернулся, схватил со стола свой нож и направился к дому. Хлопнула дверь. Клио выпрямилась и процедила ему вслед: "На кухню пошел. Опять напьется. Как скотский шотландский шахтер. Или как ирландский парикмахер". Сказать

"как русский сапожник", она не решилась, потому что считала себя интернационалисткой, а не ксенофобкой.

* * *

Недаром он стал твердить про татарское ханство с самоварами. Он сам стал походить на татарина. В первое же появление с Костей на публике Клио поняла, что привезла в Лондон азиата с раскосыми и жадными глазами. Прием, или, как говорят по-английски, "партия" в честь их прибытия на Альбион была устроена по инициативе Марги на квартире Антони в шикарном Кенсингтоне. Клио заранее ненавидела всю эту авантюру. Ненавидела саму новую квартиру Антони за ее аристократическую пустоватость и одновременно лоск и благоустроенность, с баром и каминами.

Ненавидела она и толпу бывших сокурсниц, которых не видела годами; набегут по этому случаю, чтобы, целуя в щечку, выразить телячий восторг в связи со счастливым разрешением ее трудного и необыкновенного испытания в России, а потом шептаться друг с другом в уголке про нелепого иностранца, азиата, татарина, которого она нашла на российской помойке за неимением других "матримониальных альтернатив".

Все это, естественно, находилось вне Костиного разумения. Как всякий приезжий, он вряд ли понимал разницу между фешенебельным Кенсингтоном и убогим Кеннингтоном.

Его зато поразило разнообразие напитков и, главное, их подача: бар со стойкой и даже пиво из бочки — на дому. Это его умилило. В остальном же он плохо понимал, кто и как сюда попал и о чем говорят. На вопросы он отвечал неопределенным мычанием, вежливой ухмылкой, кивком головы в ответ на кивок, улыбкой в ответ на улыбку — как подражает на всякий случай гримасам собеседника всякий иностранец, не понимающий туземный язык и туземные обычаи.

Присутствующие, потерпев поражение в выяснении посредством Кости разницы между тоталитаризмом и демок-

ратией, оставили его в конце концов в покое. Комфортабельно, с большой кружкой пива в руках, он устроился в углу на больших подушках у стены, удобнее, чем в креслах, и наконец расслабился — после всех этих передряг с отбытием, переездом, прибытием, с постоянным хороводом советников и любопытствующих. Перед его глазами сновали ноги англичан, вытанцовывающих свою "партию". "Партийцы", как он тут же прозвал их в уме, тоже пили пиво, но пили странно — без закуски, а если и закусывали, то исключительно жареным арахисом, то есть сладковатой закуской, в то время как каждому очевидно, что пиво требует чего-нибудь солененького для провоцирования жажды, чтобы потом с полным удовлетворением утолить эту жажду заливанием в горло большого глотка пива. Но Косте повезло: рядом с подушками он обнаружил маленькую изящную табуреточку, явно ценной породы дерева, и на этой изящной табуреточке — изящная фарфоровая тарелочка, а в ней — в изящном беспорядке щедро были насыпаны черные сухарики.

Костя блаженствовал у себя в углу на подушках, потягивая пиво под сухарики. Марга с Антони недаром навещали, значит, Москву — осведомлены, значит, как надо пиво пить. Впрочем, Антони, проходя мимо, приостановился, поднял удивленно брови, и, помотав пальцем в сторону сухариков, нерешительно осведомился: "Ээ-э, и нравится?" На что Костя поспешил объяснить насчет обновления гортани путем провоцирования жажды солененьким под пиво. Антони плохо, видимо, понял Костин дискурс и отошел, странно улыбаясь и пожимая плечами. И не он один. Костя заметил, что многие присутствующие оглядываются и бросают на него удивленные взгляды, некоторые явно стараются протолкнуться к его углу с подушками и, убедившись, что Костя действительно употребляет эти сухарики, под пиво, удалялись, прикрыв смущенно улыбку ладонью. Видимо, российский способ употребления пива казался этим островитянам смешным и нелепым — возможно, конечно, эти любопытные подходили поглазеть просто на самого Костю, советского человека в английском зоопарке. В конце концов его осенило: а вдруг не он один претендует на эти чудные сухарики, но каждый стесняется, и все поражены недогадливостью этого русского, оккупировавшего единолично всю миску с редкостным деликатесом.

Так, видимо, и было, судя по обескураженному лицу Клио, которая протискивалась через толпу гостей, делая загадочные предупредительные знаки Косте с другого конца комнаты. До этого она с увлечением курсировала от одной группки к другой и, судя по набору доносившихся до Кости слов, вроде "политбюро", "Правда", "аппаратчик", мило разъясняла присутствующим ужасы тоталитаризма и советской цензуры; а тут лицо ее исказилось судорогой отвращения. Добравшись до Костиного угла, она стала тыкать в фарфоровую мисочку и шипеть Косте в ухо: "Ты думаешь, это для тебя приготовили? Зачем ты это ешь?" Поскольку в незнании российских ритуалов потребления пива ее нельзя было заподозрить, она явно обвиняла Костю в том, что он заграбастал эти сухарики себе, ни с кем не поделившись. "Что ты клоуна из себя строишь? — повторяла она, дрожа от бешенства. Дело, видимо, было серьезнее, чем предполагал Костя. — Ты что, хочешь меня на посмешище выставить? Ты что, не понимаешь, для кого эти сухарики?" Костя не понимал. И тут разъяснение явилось само собой: огромный рыжий котище, прозвенев нацепленными на шею колокольчиками, вспрыгнул на колени Косте, склонил откормленную морду к табуреточке и стал систематически уничтожать сухарики в фарфоровой мисочке, жадно оглядываясь и облизываясь.

Может быть, с того вечера и изменились склонности и предпочтения Константина: и в кулинарии и в идеологии. Он вдруг решительно отверг — сначала английскую, а потом и западную кухню вообще. Он стал называть английские блюда не иначе как кошачьими объедками. Да и само разнообразие продуктов ему быстро приелось. Энтузиазма хватило на первые пару недель. Выпучив глаза, он бегал от витрины к витрине — от пижонских лавок Ковент Гардена до заштатных районных су-

пермаркетов — и приходил домой издерганным. По ночам ожившим бредом вставали перед глазами тысячи этикеток консервных банок. Он пожирал взглядом десятки сортов яблок и груш, выставляющих бесстыдно розовый бок из-под бумажной плиссированной юбочки-обертки.

Количество перешло в качество в том смысле, что разнообразие изысков потеряло свою таинственность и прелесть дымки далекой заграничной кухонной плиты. Загадочных этикеток было слишком много, чтобы воспринимать каждую из них как уникальную. В чем же тогда заключалась уникальность твоего трудного пути к кулинарной истине, проглядывающей сквозь щель железного занавеса? И Константин стал искать изъяны и дефекты. И наконец нашел: укроп.

"Ты знаешь, что у вас тут укропом не торгуют?" — сообщил он Клио за ужином, как некую радостную новость. Клио сказала, что укроп можно купить в любом месте в сушеном виде, "дил" называется, в баночках, так же как можно купить кардамон, эстрагон и какие угодно специи. Но Костя сказал, что в этих сушеных баночках от укропа не остается даже запаха, сплошная пыль, с таким же успехом можно дубовых листьев натереть в суп.

"В России я все мог достать, — грустно вздыхал Костя. — А здесь и доставать неохота. А обычной селедки даже в вашем магазине "Гаддость" не сыщешь". — "Магазин называется не "Гаддость", а "Харродс", — наивно поправляла его Клио, но Костя упорно коверкал английские названия. Его любимым чтением стало произведение Лескова "Левша", откуда он выуживал массу оскорбительных словечек, вроде "студинга" вместо "пудинга" и говорил, что от этих английских желе со сливками у него кишки слипаются. Он повадился ходить в рестораны с иностранной кухней, вроде французских или итальянских, пока Клио не заявила, что если он хочет продолжать свои визиты в рестораны, ему следует устроится там судомойщиком, потому что из дома их скоро выселят за неуплату. В знак протеста Костя практически перестал выходить из дома.

И приступил к странным экспериментам, до того странным, что Клио показалось: а не задумал ли он ее отравить? Однажды, возвращаясь из конторы, она уже на углу почувствовала странный запах. Дикий запах. Как будто слезоточивый газ выползал из каждой щели их дома. Она обнаружила Костю в кухне: он стоял над кастрюлей размером в банный чан и засыпал туда нашинкованный лук. Лук возвышался гигантской горой на кухонном столе, килограммов десять, не меньше.

"И сколько все это должно вариться?" — спросила Клио, стараясь не дышать носом. "Часа три, — ответил Костя, — чтобы получился густой луковый настой. А потому туда — лопатку". — И он кивнул головой на изможденный, чуть ли не российского жилистого вида кусок говядины, вымачиваемый в раковине.

Клио забаррикадировалась в спальне, надушившись одеколоном. Но духи не помогали, и то ли от унижения, то ли от едкого и въедливого запаха, в глазах у нее стояли слезы. Часам к одиннадцати ночи, когда она, натянув на голову подушку и одеяло, кое-как забылась в дурмане, в спальню ворвался Костя. Он потащил ее вниз, полуодетую, усадил напротив. К ее ужасу перед ними возникла огромная миска, где в желтоватом болоте жирного бульона торчала говяжья лопатка. "Берешь и жуешь, — с перекошенным в зловонном тумане лицом повторял Константин. Он рвал руками хрящи вываренного мяса и отправлял их себе в рот, утираясь тыльной стороной ладони. — Так чуваши питаются. И пока пережевываешь, симультативно запиваешь все это водкой", — и причмокивая, заливал в рот водку, не залпом, а пригубляя цедил ее, как воду, из граненого стакана.

"Да не так, не так! Руками рви!" — зло прикрикнул он на Клио, когда та потянулась к ножу. Нож, звякнув, свалился на пол, успев резануть Клио по пальцу. Не обращая внимания на испуганный возглас боли. Костя оторвал кусок жилистого мяса от кости и стал запихивать его в рот Клио: "Всасывай его, всасывай, сквозь зубы процеживай", — бубнил он раздраженно. Клио поперхнулась и выскочила из-за стола. Ее долго рвало.

С той ночи все в доме пропиталось запахом лука: луковая вонь преследовала ее везде и даже на работе она перестала

появляться в столовой. Луковый запах впитался в стены, в мебель, в одежду. Она постоянно открывала окна, устраивала сквозняки, несмотря на протесты Кости, жалующегося на насморк. Она взялась переклеивать обои — безрезультатно. В конце концов пришлось сменить квартиру. Это стоило денег, покупку дома снова пришлось отложить.

В связи с переездом Костя заинтересовался достижениями западной техники во всем, что касается кухонного быта. Заставил Клио купить увлажнитель. Жара, действительно, стояла в то лето такая, что трава вся выгорела. Костя долго изучал инструкцию, описывающую, как дистиллированная вода, залитая в увлажнитель, распыляется электричеством в невидимый пар, увлажняющий пересохшую от жары атмосферу; в первую же ночь он установил этот необыкновенный аппарат в спальне. Клио наутро не могла оторвать голову от подушки. В голове болтался расплавленный свинец, в желудке ночевали крысы.

Константин взирал на нее с расплывшейся улыбкой блаженного придурка; в руках у него был стакан с пивом. "Пивком опохмелиться не желаешь?" — спрашивал он, подмигивая. "Где ты успел напиться?" — превозмогая головную боль спросила Клио. "Там же, где и ты, — сказал Костя, — в супружеской постели", — и гордо разъяснил, что заправил на ночь в увлажнитель бутылку виски: ночью эта смесь виски с дистиллированной водой распылялась в воздухе, пьяня и одновременно освежая.

7. ТОСКА ПО РОДИНЕ

Лишь заперев за собой кухонную дверь на железный крючок, Костя впервые за долгий, полный раздражающих английских звуков день, вздохнул свободно. Кухня была не просто его вотчиной, куда чужаку был вход запрещен; кухня была — как возвращение на родину. Открыв холодильник, он скользнул хозяйским взглядом по затычкам и пробочкам разных водок и настоек и выбрал бутылку домашней перцовой:

для приведения себя, то есть собственного желудка, в чувство.

В окне перед ним возник человек в знакомом картузе-шляпенции восточно-европейского покроя и, пробегая деловито в своем направлении, махнул Косте приветственно рукой.

"Пан Тадеуш, пан Тадеуш! — поспешил Костя распахнуть окно и помахал зазывающе соседу. — Не зайдете ли?" — и он поцокал пальцем у себя под скулой алкогольным жестом. Пан Тадеуш, сосед Кости и Клио, был владельцем польской продовольственной лавки (за углом на главной улице) и единственным собутыльником Кости в часы тягостных раздумий. Познакомились они как покупатель и продавец, начав разговор о "польской" колбасе с чесноком — того сорта, который был в наличии в магазинчике у пана Тадеуша, а закончили за Тадеушной бутылкой "Выборовы" на территории Костиной империи — кухни в доме Клио. В следующий раз Костя представил пану Тадеушу практические доказательства преимущества "Столичной" перед "Выборовой", на что пан Тадеуш решил отпарировать польской "Зубровкой". Короче — они сблизились на почве посиделок и легкой ругани, как и полагается в славной семье славянских народов-побратимов.

"А Клио где?" — нерешительно топчась в окне, опасливо осведомился пан Тадеуш. Он не хуже Кости знал, как Костина супруга относится к подобным братским посиделкам.

Костя презрительно ткнул большим пальцем за спину, в сторону садика на заднем дворе и заверяюще тряхнул рукой: все, мол, о-кэй! И побежал открывать Тадеушу дверь со стороны улицы. В кухню они проходили, крадучись вдоль стены на цыпочках, но, оказавшись в Костиной вольнице, тут же стали шумно и празднично располагаться за столом со всем жаром и деловитостью гоголевских помещиков. "А нука, ну-ка!" — приговаривал пан Тадеуш, возясь с застежками своего портфеля-саквояжа. И гордо стукнул о стол стеклянной консервной банкой.,

"Патиссон, ха! Тоже мне! — скептически крякнул Константин, еле взглянув на банку маринованных патиссонов. —

Нет, — вздыхал он, расставляя на столе тарелочки, вилочки и два граненых стаканчика, — нет, вы уж ублажайте себя своими болгаро-турецкими патефонами, а я рекомендую нашу моченую антоновку или нежинский огурчик под первую рюмочку, — мы, кстати, с какой водки начнем? С лимонной? С кориандровой, на корице настоенной? Или вот перцовую я только что принял — хорошая получилась перцовая. А то вот, — с загадочной миной повернулся Константин к темной бутыли в углу, заткнутой пробкой с тряпкой для герметичности. — Может, самогону?"

Как обычно, первые четыре рюмки проходили у них под разговор о новых рецептах самогона и продолжались дружным охаиванием ненавистной им обоим английской кухни.

"Где семушку брали?" — как бы невзначай спрашивал Тадеуш, скромно подцепляя ломтик с краю.

"Даже помидоры вываривают, изверги!" — как будто не слыша вопроса, продолжал он.

Оба переходили к ругани британских супов, состоящих из вареной морковки с грязноватой подливкой, клеветали на английский резаный хлеб, напоминающий тряпичные салфетки для вытирания грязного стола. И не забывали о пресловутых английских рыбных палочках. "На нашей обездоленной продуктами родине чего только не начнешь есть вкусного и питательного, — даже палочки эти рыбные, — угрюмо вздыхал Костя". Но как британские рыбаки, вылавливая сетями мегатонны лобстеров, крабов, нежнейших осьминогов и других уникальных даров моря, могут питаться сплошной "фиш-энчипс", он просто не может взять в ум.

"Иду я вчера мимо одной рыбной лавки, вижу продавец семгу свежую, рыбину то есть, потрошит — для тетки-покупательницы, они же тут инквизиторы стерильности, чтоб рыба была как пластмассовый пакет из магазина. Ну вот продавец и потрошит. И вижу, он вместе с кишками — раз! чик-чак, и вместе с кишками икру в помойный мешок швыряет. Я прямо обомлел: мешок прозрачный, и вижу я, в этом мешке все внутренности, кишки и пузыри прошиты как рубиновой нитью гроздьями свежей икры. Я, опупев, говорю продавцу: "А икру-то с кишками выкидываете" — А он про икру и не слышит, говорит: "А кому, говорит, эти кишки нужны?" — Я говорю: "А моя собачка эту хреновину жевать любит". — На своем английском ему объясняю: мол, дог, гав-гав, ам-ам! Он про собачку тут же понял — они ведь животных здесь больше людей уважают. И стал, дурачок, оставлять мне эти самые рыбные отходы. Икру, то есть, красную в чистом виде", — и, довольно гоготнув, Костя выставил на стол литровую банку красной икры.

"И часто он, этот ваш рыбный торговец, семгу свежую разделывает?" — спросил он с плохо скрываемой завистью.

"Ты, Тадеуш, не подбирайся ко мне со своими намеками. Я тебе адреса все равно не скажу. Но могу твою зависть утешить — перестал он мне внутренности оставлять. На днях захожу к нему, а он мне заявляет: "Да, выбросил я кишки эти, извиняюсь, говорит". Лень ему сортировать, что от семги, а что от трески. Лень, понимаете ли! И все на помойку! Тупой народ!" Снова налили и закусили, на этот раз укропным огурцом с черным хлебом.

"Грустно, кстати, что вы, родственные нам поляки, пренебрегаете укропом в засолке огурцов. Вот ты, Тадеуш, подцепи огурчик из той баночки, — и проследив за выражением лица собутыльника, откушавшего огурец, спросил нетерпеливо: — Ну?"

— Ничего, — задумчиво жуя, проговорил пан Тадеуш. — Ничего огурец. Мы, между прочим, в нашу продукцию тоже укроп заправляем".

"Не чувствую! — резко возразил Костя. — Вот я в твоей лавке купил консервированный засол. Написано: с укропом. Открываю — и никакого тебе укропа во вкусе. Чесноку тоже нет. А про лавровый лист вы, поляки, вообще забыли. Сплошной уксус в нос шибает, разве это засол?"

"Не думаю, что польский засол так уж сильно отличается от российского", — нахмурился пан Тадеуш.

"Как небо и земля, как голова и желудок!" — вскричал Костя, разливая самогону. — В засолке этой сказывается типично польский подход в конфронтации Востока и За-

пада: с одной стороны, рецепт российский, с укропом, но уксус шибает в нос явно западной закваской. Нехорошо! Я тоже в Москве изысками увлекался, про Восток и Запад рассуждал. И только здесь в добровольной изгнанке, понял: секрет великой кухни — в привычке. Привычка свыше нам дана. Ты знаешь, Тадуеш, по какому блюду я здесь тоскую? По пельменям. По клеклым советским пельменям, по тесту склизкому, по сердечку фарша внутри, с лучком и дерьмецом. — Костя облизнул губы. — Ложаться эти пельмешки в луженый и искалеченный советский желудок, как пули в ствол, и чем эти пули начинены — вот загадка для кулинара! Ты думаешь, Тадеуш, не пытался я эту загадку разгадать? Все сорта мяса перепробовал, рыбный пузырь добавлял, мясорубки менял. Все не то. Дерьмеца не хватает. Привычной залежалости, гнильцы, застойности, привычки. Хорошо ли это, плохо ли — не знаю, — не моралист! Но знаю одно: на этой мистической дерьмовитости держится вся российская кулинария — в этом ее мистерия, недоступная рационализму иностранца. Нет, умом российскую кухню не понять.

Взгляд Кости тоскливо затуманился. — Иногда одиночество такое подступает, Тадеуш, описать невозможно. Я про такое только в письмах Льва Толстого читал. Когда подбирает такая тоска, я сразу за баранку и в лес".

"К березам?" — сочувственно вставил Тадеуш.

"Почему обязательно к березам? Меня деревья сами по себе не трогают. Меня интересует, что там под деревьями".

"Что — ягоды?"

"Бросьте, Тадеуш, дурачка из себя строить! Как будто не догадываетесь. Я не про ягоды говорю. Я говорю про грибы. А ну-ка, — и Костя, развернувшись, снова хлопнул дверцей холодильника. — А такое видал? — и он с торжественным рассчитанным стуком донышка о стол выставил банку с маринованными грибами. — Боровичок к боровичку, а? Шляпка к шляпке, ножка к ножке — как балет Большого театра!" — поворачивал он банку в снопе света, бившего сквозь кухонное окно.

"Ну, — сдерживая дыхание, сказал Костя, — как? Вскроем?"

"Прямо сейчас? — с радостным испугом пробормотал пан Тадеуш. — А может, рановато?" — облизнул он пересохшие губы.

"Ортодокс в этом деле сказал бы, что и рановато. Но я, Тадеуш, иррационалист, и моя интуиция подсказывает, что в самый раз. Боровички попались — нежности необычайной! Ни одного червячка, ни одной улиточки тебе — ну просто новорожденные молочные младенцы: сырыми можно есть, — бормотал Константин, возбужденно, четко и аккуратно орудуя открывалкой. — А ты, Тадеуш, разлей пока по маленькой. Ну-с, — и, выдержав театральную паузу, он, как фокусник, снял крышечку с банки. — Ароматец, а?" — потянул он носом.

Оба замолкли, благоговейно шевеля ноздрями. И, как два сектанта, совершающих басурманский ритуал, вооружились вилками, не проронив ни звука.

"Ну, Тадеуш, тяни первый", — наконец произнес Костя и с российской душевной широтой пододвинул банку младшему брату в семье славянских народов.

"Да чего же я? — потупил глаза Тадеуш. — Поперек батьки в пекло не лезь, как говорил ваш Тарас Бульба".

"Тарасу Бульбе было не до грибов. Он польскую шляхту на кислую капусту шинковал. А может, и червей кормил, пардон. Так что давай, Марина Мнишек, цепляй гриб", — понукал соседа Костя, сам держа нетерпеливо наготове вилку.

Обменялись взглядами, они подцепили по грибу, с торжественной симультативностью вынесли его на свет Божий, окунули в солнечный луч, полюбовались и с той же синхронностью, опрокинув рюмку, отправили по грибу в рот. Тадеуш из-за ложной скромности — ножку боровика, а Константин, по-хозяйски — шляпку.

"Ыыым...а?! — и тут же вздохнули хором: — Даа-а-а".

И закивали друг другу головами, причмокивая и выпятив нижнюю губу в одобрительной гримасе знатоков. Выждав полную блаженства паузу, Тадеуш обронил как бы невзначай:

"После дождичка, стало быть, собирали?"

"После дождичка, — кивнул головой Костя, — в четверг".

"На опушке".

"На опушке. И на полянке. И в орешнике".

"Орешника в лесах под Оксфордом много", — осторожно заметил Тадеуш, по-светски небрежно, ненастойчиво.

"И в лесах под Кембриджем тоже есть орешник. В Суссексе, Мидлсексе, Эссексе — в любом "сексе" тут орешника хватает".

"Это вы смешно про секс, смешно, — заискивающе засмеялся Тадеуш. — Не секс в орешнике, а орешник в сексе, смешно".

"Н-да, это все цветочки, а ягодки потом. Но где я грибы белые собираю, я, Тадеуш, тебе не скажу. И не надейся. И не подбирайся ко мне с разными окольными вопросиками", — нахохлился Костя.

"Я? С вопросиками? — деланно засмеялся Тадеуш. — Да у меня своих грибных мест хватает!"

"Что-то незаметно, если судить по прилавку в твоем продмаге. Вчера заходил: одни ихние шампиньоны. Я китайский черный гриб — и тот шампиньону предпочту: у китайского гриба хоть запах есть, и в грибном супе дает густой настой. Недаром поется: русский с китайцем — братья навек!"

"Ну, конечно, поляки нужны вам лишь как аргумент в споре духовного превосходства православия, все обратить нас пытаетесь — мы вас раздражаем своим католическим упорством. Чтобы о нас забыть, вы даже с китайцами готовы целоваться", — мрачно вздохнул Тадеуш.

"Да ладно из себя Мицкевича строить! Я не про религию говорю, — возмутился Костя. Я говорю про грибы! Да ешьте свои шампиньоны сколько влезет. Но вы и тут и там, и с нашими и с вашими. Разве можно вашего брата, поляка, к грибным местам подпускать? Да назавтра ни одного гриба на британских островах не останется. Ты знаешь, Тадеуш, как меня эти басурмане сегодня прозвали?' — с неожиданной обидой в голосе сказал он, мотнув головой в сторону садика.

"Как?"

"Фунгофил! Слыхал? Фунгофил!"

* * *

В этот момент послышался осторожный стук в кухонную дверь, даже не стук, а постукивание, даже поскребывание, как будто ветка куста, прижатая ветром, скреблась о дверь. В дверях стоял Антони.

"Я решил приходить для извинения за пертурбацию вашего кредо как фунгофила", — сказал он, помявшись, со сконфуженной улыбкой на своем бородатом лице вечного студента.

При слове "фунгофил" Костя невнятно выругался и, переглянувшись с Тадеушем, развел руками, полубеспомощно, полупригласительно. Присев на краешек стула и испуганно оглядев представшее перед ним застолье, Антони сбивчиво стал извиняться за "дистурбацию столового интима"; из его русифицированных англицизмов следовало, что явился он, чтобы выразить свою "конфузию" по поводу эпизода с раздавленным подберезовиком. Он заверял Костю, что разделяет приверженность к любому направлению вегетарианства; пускай это грибоедство грозит отравлением желудка, но этот буддистический путь самоубийства через пожирание ядовитых поганок, по его личному мнению, благороднее уничтожения белых шариков в крови у других путем сбрасывания атомной бомбы. Он уже поднялся, чтобы идти, когда Костя потянул его за локоть.

"Других-то к пацифистскому самоубийству легко поощрять, а сам-то готов попробовать?" — подталкивал его Костя к столу.

"Что попробовать?" — в замешательстве бормотал вежливый Антони.

"А гриб. Ядовитый гриб. Подберезовик сам-то готов вкусить?"— со злорадным блеском в глазах прервал его бормотание Костя. Поняв, к чему клонит кухонный заседатель, англичанин побледнел.

Но Костя уже пододвигал ему стул, хлопал дверцей холодильника, и через мгновение Антони обнаружил у себя в руке вилку, с которой свисал, как черный выдранный из глазниц зрачок, склизкий сморчок подберезовика. В другую руку Костя совал ему стопку водки.

"Ну как, страшно? Страшно брать в рот ответственность за спасение мира лично на себя — не жалея живота своего, так сказать, пацифистского? — приговаривал Костя, подмигивая Тадеушу. — Или ты за производство водородной бомбы путем концентрации перекипяченной тяжелой воды из-под чайной заварки?"

"Я против!" — выдавил из себя Антони.

"Против чего?"

"Против бомбы".

"Тогда ешь немедленно гриб!"

"Гриб — не могу". — Кадык Антони дрогнул в тошнотворной судороге.

"Значит, ты предпочитаешь атомный гриб грибу маринованному? А тяжелую воду, значит, столичной водке?" — напирал на него Костя.

"Не могу", — промычал Антони, поднеся было вилку ко рту, и снова опустив ее на тарелочку со зловещим лязгом.

"Мы, значит, можем спиваться к чертовой матери водярой, ослабляя наш вооруженный потенциал и мужскую потенцию, пока вы будете тут пузо надувать тяжелой водой, превращаясь в самую мощную на свете водородную бомбу? Какая тут может быть, к черту, разрядка с детантом?" — возмущался Костя.

"Я больше не буду", — выдавил из себя Антони.

"Чего не буду?"

"Пить перекипяченную воду, — как провинившийся школьник, сказал Антони. — Но вы тоже должны запретить самовар".

"С какой такой стати я буду запрещать самовар?"

"Самовар кипит!" — афористично констатировал Антони.

"Конечно, кипит. И, главное, шумит. Вначале поет, а потом шумит. Когда самовар шумит, вода, значит, кипит белым ключом", — начинал заводить излюбленную шарманку Костя.

"И тут надо пить чай", — как заученный урок, подсказал Антони.

"И тут надо заваривать чай", — уточнил Костя.

"А самовар шумит. Чай пьют, а самовар дальше шумит", — с хитрой миной продолжал подсказывать Антони.

"Ты к чему клонишь?" — насторожился Костя.

"Я видел в фильмах Чехова. Три сестры. Пьют чай. А самовар шумит. Заварили. Потом подлили. Опять шумит. Опять подлили. Опять заварили. А самовар кипит. Уголь красный. Дым идет. Или пар. Шесть часов кипит, а может, и целые сутки — перекипяченной водой. Сколько лет самовару на Руси?" — вдруг прямо спросил он Костю.

"Да тысячу лет будет. С татарского ига", — задумался тот.

"А?! — вдруг встряхнулся пан Тадеуш. — Понял! Я понял к чему пан Антони клонит. За тысячу лет этого самоварного чаепития весь русский народ, по вашей же, Костя, теории, превратился в водородную бомбу!"— От этой жуткой мысли его лоб покрылся потом.

"Что же теперь будет?" — испуганно спросил Антони.

"А то и будет, что весь мир превратился в один большой самовар, где люди — чайники, с общей крышкой — всех прикроет, никаких не понадобится ядерных зонтиков! — хихикнул Костя и разлил по стаканчикам водку.

"Водку не могу, — уперся Антони. — Могу вино".

"Не доросли англичане до той простой народной истины, что после водки вино — человек говно", — вздохнул Костя.

"Может быть, пиво", — выдвинул альтернативу Антони.

"На водку пиво — человек диво, согласен. Но пивом, извините, не запаслись. И вообще советская власть хороша в сравнении с дореволюционной Россией с ее разносолами, по крайней мере тем, что приучила весь русский народ без исключения к водочной чистоте".

"Я могу сбегать за пивом", — предложил вежливый пан Тадеуш.

"Сиди, Тадеуш, и не чирикай, пока, моя Клио-Нуклия не взорвалась боеголовкой. Я тебе приказываю. Диктатура вообще оздоровляет желудок. Вот все либералы Востока и Запада взялись разоблачать культ личности товарища Сталина. А я им скажу: куда после этого самого культа делась бранден-

бургская колбаса?", — и он обвел собеседников следовательским взором.

"В Бранденбург эмигрировала", — решил сострить пан Тадеуш.

"Не смешно, Тадеуш, не смешно! Перемололи этот сырокопченый шедевр сталинской эпохи на фарш в процессе демократизации. Сам Хрущев крутил мясорубку на пресловутом двадцатом съезде. Простой народ требовал своего демократического куска, нужна была продуктовая дешевка для рядового гражданина, а не Бранденбургские концерты Себастьяна Баха колбасной промышленности", — и Костя вздохнул.

"Зато были восстановлены ленинские нормы партийной жизни", — попытался его утешить Антони.

"Да тебя бы при этих нормах с твоими разговорчиками о собственном правительстве давно бы в расход пустили, как поэта Мандельштама, только без предварительных сталинских консультаций по телефону с поэтом Пастернаком", — рявкнул Константин.

"У нас, между прочим, тоже убивали поэтов. У нас тоже был свой, викторианский, ГУЛАГ, — от обиды окончательно перешел на английский Антони. — Был, например, брошен в тюрьму Оскар Уайльд. Знаете ли вы, что перед отправкой в тюрьму его несколько часов намеренно держали на железнодорожной платформе в кандалах — и все проходящие плевали ему в лицо?"

"Это какой Оскар Уайльд? Который с мальчиками, что ли, баловался? Педераст?"

"Да, — замялся Антони и покраснел. — Да, он предпочитал однополую любовь. Это его абсолютно личное дело. Я же говорю об английской поэзии, в его лице оплеванной и брошенной за тюремную решетку".

"Но зачем же при этом Россию раком ставить, защищая поэтическую задницу вашего Уайльда?"

"Я лишь хочу заметить, — начинал выходить из себя Антони, — что задница у этой вашей России не самая грязная. И вы не знаете, что значит быть человеком черной кожи в этой стране. Или в Соединенных Штатах. В своей слепой ненависти к коммунизму вы готовы защищать палачей Сальвадора и хунту Чили".

"Ну и засуньте этот чилийский перец себе в хунту! Чего вы Россию суете в виде приправы к любому разговору о справедливости? Не для ваших Россия желудков. Не проглотите. Не переварите! Вот, сморчок березовый, и тот вам не по зубам", — и Константин провокационно помахал перед носом Антони вилкой с насаженным подберезовиком.

Англичанин вскочил со стула. В бешенстве он вырвал вилку из рук Кости, лязгнув зубами, сорвал с кончика вилки сморщенный гриб и с остановившимся взглядом стал пережевывать его, медленно и сосредоточенно работая челюстями. Потом кадык его дрогнул, еще раз, еще и, наконец, выпучив глаза, Антони проглотил гриб. Издав то ли победный рык, то ли смертельный стон, он плюхнулся на стул, демонстративно небрежно закинул ногу на ногу и дрожащей рукой потянулся к граненому стаканчику с водкой. Со слабой, но торжествующей улыбкой — улыбкой раненого героя, идущего на смерть — он пригубил водку по-английски, как будто отпробовал чашу с цикутой. Тут же поперхнулся, вскочил и стал носиться кругами по кухне, корчась, как будто от смертельной отравы. Он кашлял и лицо его исходило красными пятнами. Пан Тадеуш подхватил его под руки, а Константин стал хлопать его по спине, делая вид, что помогает Антони откашляться.

"Кто же так водку цедит? — кричал на него Костя. — Англичане! Водку надо залпом, а не по глоточку, залпом, а потом грибком ее — а ты все наоборот, беда с вами, иностранцами! Три этапа, ясно? Вдох, залп, глоток, выдох, ясно?"

Через минуту Антони, как профессиональный жонглер, мельтешил в воздухе попеременно то рюмкой, то вилкой, то огурцом, то бутылкой, и трудно было сказать, чего было больше в этой горячке жестов: энтузиазма новообращенного или лихорадки приговоренного к смертной казни.

"Погоди, не торопись, не налегай так, — осаживал его Костя. — Желудок — он смазки требует, его закусью смазывать надо: выпил — закусил, слой смазки — рюмка водки, водка —

смазка, смазка — водка, а ты все путаешь, путаник ты, Тоня моя милая, — бормотал заплетающимся языком уже не поспевающий за англичанином Костя и трепал Антони ласково по шее. Потом его вдруг как будто осенило: — Выпьем за Тоню! — гаркнул Костя и поднялся с рюмкой в руках, с грохотом отодвигая стул. Антони покраснел, заулыбался и тоже поднялся, чокаясь с паном Тадеушем. — Да не за тебя, Антон, я подымаю тост, а за свою соседку Тонечку. Выпьем за Тонину память! За Тонечкины чары, за ее власть!"

"Советскую власть?" — с готовностью приподнял рюмку Антони.

"Тонечка была, — качнулся Костя, — всякая власть: и советская, и антисоветчиной тоже была, ветчиной была, говяжьей вырезкой и потрохами народными, она была весной в зимние морозы в виде свежего зеленого огурца, она была моим продмагом и домкомом, церковью и государством, единством духа и тела — а как отдавалась: вот это был действительно самовар! Шумит, гудит, булькает! Тонечка, короче, и была для меня — Россия! — И Костя, опрокинув себе в рот стаканчик, стукнул им по столу и плюхнулся на стул. — И оставалась бы моей Россией, если бы не произошло вмешательство Запада в мои внутренние дела", — с перекошенной миной заключил он панегирик соседке Тонечке.

"Должен прямо заявить, — набрался трезвости и смелости Антони, — я против советского вторжения в Афганистан".

"А как насчет вторжения Клио в нашу коммуналку? — поглядел на него строгим и остекленевшим взглядом Константин. — Охмурила меня братской помощью в виде лягушачьих лапок, оплела меня с ног до головы сушеными осьминогами, запудрила мне мозги басурманскими специями и всякой другой кулинарной нечистью — а когда я по рукам и ногам оказался связанным, стала предъявлять мне счета. Эта ее западная манера все считать: деньги, ответные визиты, чувства. Главное, чувства. Сколько раз я с Тоней совокуплялся, а сколько раз с ней — никакой душевной щедрости!

"Так вы что же — втроем жили?!" — ошарашенно пробормотал пан Тадеуш.

"Что значит — втроем? Опять счеты: вдвоем, втроем! Я вот и Клио втолковывал: неделимо человеческое тепло на купоны и рационы, не выдается оно по карточкам. Но ей страховка нужна половой жизни и чтоб никто не посягнул. Знаете, в чем трагедия западной цивилизации? Тут у девушек нет подруг! — объявил Константин, обведя мутным взором собутыльников. Те благоговейно молчали, пораженные этим загадочным выводом. — Не понимаете, да? Объясню, вот в России: познакомишься с девушкой, а там, глядишь, и ее подруга к тебе начнет захаживать, за ней — подруга подруги, и так, мало-помалу клан образовывается, большая дружная семья, общинная жизнь. А здесь что? Что ни девица — сплошной, как тут говорят, куль-десак, а по-нашему — тупик."

"Я согласен, — с энтузиазмом согласился Антони, — западный индивидуализм — рассадник самоубийства!"

"Самоубийства ли только? — Костя икнул. — А как насчет убийства своего ближнего? И причем тихой сапой, втеревшись поначалу в доверие, как Клио. Сперва отвадила от меня всех моих друзей, разогнала коллектив, а потом и за соседку взялась, угробила безответную душу — сначала подкупом, а потом и прямым шантажом Тонечку укокошила!"

"Что вы такое говорите, Константин? — отрезвело встряхнулся пан Тадеуш. — Вы что же, Клио в убийстве обвиняете?!"

"Никого я ни в чем не обвиняю, — отрезал Константин. — Каждый будет осужден судом собственной совести. А я факты констатирую. Свела со света нашу Тонечку англичанка. Не остановилась перед доносом, стерва! Настучала старому хрычу. Кто мог подумать, что западный человек пойдет на такую подлость?" — В глазах у Константина стояли слезы.

"Она донесла на вас в КГБ?" — участливо спросил Антони.

"Да причем тут КГБ? Что вы тут зафиксировались все на этом КГБ, как будто это не КГБ, а ДДТ, а мы у себя там клопы вонючие. Клио пострашнее сообщника нашла: мужу Тонечкиному — вот кому она настучала, старому хрычу, который выписал Тоню из деревни в малом возрасте домработницей и за якобы измену избил ее до смерти костылем по доносу Клио. Так и отбыла она, поруганная, обратно в деревню."

"Вы же сказали, что она скончалась", — удивлялся Тадеуш.

"Ну да. В деревню отбыла, фигурально выражаясь: то есть — на тот свет. Разве иначе махнул бы я на Запад? Но тут такое началось: милиция, прокуратура, суд. Нужно сказать, о себе я лично меньше всего думал. Жаль мне стало Нуклию — что возьмешь с нее, с жертвы этого общества: врожденный эгоизм, от душевного недоедания, что ли? Не перенесла бы она Сибири. Пришлось отбывать на чужбину вместе".

"Значит, если бы не Клио, вы бы не уехали?" — участливо спросил Антони.

"Кто же из рая по собственной воле уезжает? — пожал плечами Константин. — Вот достоевский Свидригайлов говорил про то, что рай, или там вечность, представляется нам как нечто огромное и светлое, а на самом-то деле вдруг это такая темная комнатушка, чулан, вроде деревенской бани — закоптелая, а по углам пауки? Свидригайлов это в виде гипотезы выдвигал. А я был прямым жильцом именно такого рая. С запахом пережаренного лука, с гнильцой по углам, стены вокруг с прокопченными от готовки обоями, с шуршанием тараканов, в коридорчике половицы поскрипывают, в водопроводных кранах вода бурчит — вот это и был рай!"

В животе у кого-то из троих забурчало, но Костя не шевельнулся: он говорил, уставившись в одну точку, как будто сам с собой. Не замечал он и того, что с каждым его словом все острее чувствовался на кухне запах перегара, кислой луковой отрыжки, перестоявшегося уксуса в селедочном соусе. Антони явно мутило, но он боялся шевельнуться, избегая отяжелевшего взгляда Константина.

"Я был жильцом той вечности, которую советский народ собственными руками построил, — продолжал Константин. — Во имя всеобщей справедливости. И я эту справедливость принимаю. Мне в ней было уютно. С самого детства было уютно. У нас в коммуналке был такой чулан в стене, туда всякое барахло складывали, откроешь — и оттуда запах нафталина, старой кожи, чемоданов, шуб, человеческого тряпья, все кухонные запахи впитавшего, человеческого бытия запах, но уже потусторонний, не здешний. Мы всегда туда запирались, когда в прятки играли. Закрываешь дверь и нет тебя на свете, ты в другом, потустороннем мире, в раю. И все чаще мне на ум этот чулан приходит, когда Тонечкин рай вспоминаю. Каким был я кретином! Нечего было с басурманками связываться и трактаты писать, а надо было просто ловить кайф от незримого присутствия в этом чулане без Бога и без царя. Плевать было на окружающую действительность: демократия там за окном или диктатура?"

"Вы мне нравитесь, Константин, — с пьяной проникновенностью заговорил Антони. — Вы мне нравитесь! Давайте наплюем на разницу между диктатурой и демократией. Давайте сольемся в едином братстве, в единой семье, в коммуне, понимаете?"

"Где?" — икнув, неожиданно жестко переспросил Костя.

"Везде! — взмахнул руками Антони, чуть не упав со стула. — В коммуне не географической, а ментальной, спиритуальной, вне государственных границ, в неком внеисторическом времени, в раю, отвергнутом, как вы сказали, рационалистическим хомосапиенсом!"

"И где этот рай — у Жан Жака Руссо в яйцах, что ли? В женской утробе — эдакой, размером на весь мир? Ты, Антон, меня в космополиты не записывай: мой рай советский, за железным занавесом — для соблюдения девственности, и ни на какую другую утробу я его менять не собираюсь".

"Тянет обратно?" — не отставал от него Антони.

"Куда?"

"На родину".

"В утробу, что ли? Поздно. Этим мы в детстве занимались. И знаешь как? — Константин придвинулся вплотную к Антони. — С моим приятелем мы, подростками, запирались в чулан и показывали друг другу, как у кого стоит. Второгодник с соседнего двора сказал, что так и надо: если стоит — значит, мужина. А что с этим делать — не сказал. Сказал только, что у него длиннее. Так мы и жили в полном невежестве, пока все во дворе не узнали, что дети рождаются из пуза при посредстве стоящей торчком пиписьки. А как — опять же никто не знал. Помню, целые дни проводили с приятелем на лавочке,

наблюдая проходящих теток и обдумывали: у кого из них приятнее в животе очутиться? А потом приятель предложил в рот брать: чтобы, мол, до конца себя там внутри почувствовать. Так вот, скажи мне, Антоша, зачем надо было в рот брать, чтобы в утробе этой себя воображать?" — с притворной наивностью спрашивал Константин.

"Объяснение тривиальное, — в замешательстве от пристального взгляда Кости заговорил с профессорской небрежностью Антони. — Сосательный импульс, по Фрейду, есть проявление бессознательной сексуальности. Знаете, тяга к женской груди — к соску. Женской груди под рукой не было, и сосательный импульс был вытеснен тяготением к пенису. Кроме того, вы руководствовались подсознательной ревностью к пенису отца, в акте осеменения пенитрирующего вагину матери. Заглатывая чужой пенис, вы ставили себя на место материнской вагины, то есть отождествляли себя с утробой". — Антони запутался и покраснел.

"А я-то думал — это мы с российской голодухи, — с неприятным смешком перебил его Константин. — Сперма, она ведь на вкус вроде материнского молока в подростковом возрасте. Ты ведь, Антон, вкус спермы знаешь?"

Воцарилась пауза.

"Я не буду отрицать, что тем же самым занимались и мы в подростковом возрасте, — выдавил наконец из себя Антони. — В дорматориях закрытых частных школ это было обычное явление. Это лишний раз доказывает, Константин, общность нашей человеческой природы. Мы, в конечном счете, стремимся к единой утробе — к единому раю. Возвращение в утробу — тяга, свойственная человеку вообще, вне зависимости от рас и политических систем. Не станете же вы утверждать, что у марксистского общества какая-то иная, марксистская утроба в конечном идеале?

"Сталинская. Не марксистская, а сталинская утроба", — сухо поправил его Костя.

"Я должен прямо заявить, — попытался прямо заявить Антони, — к сталинизму я отношусь резко отрицательно.

"Не уважаешь, значит, сталинизма? — угрюмо повторил за ним Костя. — Значит, и меня не уважаешь?"

"Причем тут вы? Мне вы лично, скорее, даже симпатичны", — пробормотал Антони.

"Как при чем тут я? Я и есть сталинизм. По крайней мере, я — его законный выкормыш, вот ученые говорят, что если собаку, щенка, взрастить вдали от людей, она волком становится и никогда уже домашней не станет. Но и обратное справедливо: если собака среди людей выросла, сколько ее ни бей, она свободным волком в лес глядеть не будет. Вы тут рассуждаете про тоталитаризм, демократию, а дело не в идеологии — во мне биология советская сидит, понял? В мозговых извилинах моих отпечаталась — вместе с первой демонстрацией на Красной площади. Как сейчас помню: вокруг все красное, кумачовое, знамена и транспоранты, а толпа все плотнее напирает, сжимает кольцом, плечом к плечу, нога в ногу, нога в ногу, говно лошадиное с конфетами перемешано, сейчас, думаю, лопну, как алый шар надувной, как презерватив лопну, и вдруг рев пошел, победный рык и я тоже заорал благим матом, и тут же поднят был чьими-то руками над кумачевым маревом демонстрации — как будто выскочил из утробы. И понял: так мать моя орала, когда меня рожала, и я орал. И сквозь туман родильных вод, кого же увидел я в розовом далеке? Сталина! Стоял он на мавзолее с лицом бледным и строгим, как гинеколог, и наблюдал, как я рождаюсь в муках социалистического праздника. И поэтому утроба для меня — сталинская, понял? И ты к ней, Антони, относишься резко отрицательно. Тебе в марксистской утробе уютнее? Ну и сиди в ней, а в мою утробу свой нос не суй!"

"Я? Совать свой нос? Да ни за что! — поспешил с пьяными заверениями Антони. — Было бы любопытно, впрочем, в связи с вашей мыслью о стране как утробе, провести психоанализ марксистской России как женщины. Пролетариат, как я понимаю, являясь движущей силой прогресса в марксистском обществе, должен рассматриваться как либидо. В то время как в капиталистическом обществе он должен приравниваться к экскрементам, не так ли? Выделение же экскрементов телом марксистской России тождественно, пожалуй, эмиграции. Или эмиграцию следует рассматривать как

менструацию? Прекращение эмиграции, в таком случае, тождественно наступлению климакса. Или запора?" — Антони хихикнул, но перхватив тяжелый взгляд Константина, затих.

"Отсоси", — негромко сказал тот с угрожающей хрипотцой в голосе.

"Что это значит: "отсоси"?" — заерзал на стуле Антони, обращаясь к Тадеушу за переводом. Пан Тадеуш помялся и пробормотал нечто невнятное про непереводимость хамства.

"Я страшно извиняюсь, — снова заерзал Антони. — Я не имел в виду сравнивать вас, эмигрантов, с дерьмом. Это так вышло с марксистско-фрейдистской точки зрения, которую лично не разделяю. Это была шутка. Метафизическая шутка. Я вовсе не ксенофоб. Я, скорее, славянофил. Иван Сусанин, знаете. Как я уже сказал, все мы вышли из единой утробы — негры, пакистанцы, евреи, русские, то есть насчет евреев я не уверен, но и они, по-моему, выйдя из отдельной утробы, вот прямо как вы, Константин, совсем не против воссоединения в единой утробе после второго пришествия. Или я ошибаюсь? Боже мой, какой нелепый и безумный разговор!" — застонал он беспомощно и попытался вскочить со стула. На плечо ему легла тяжелая рука Константина.

"Отсоси!" — процедил тот снова сквозь зубы, нависая над Антони во весь рост. Пан Тадеуш видел лишь широкую спину Константина и как тот, схватив Антони за загривок одной рукой, другой проделывал нечто для Тадеуша загадочное; поляк, чувствуя неладное, обежал вокруг стола и глазам его предстала чудовищная пантомима. Согласно его показаниям на суде (хоть я лично не доверяю целиком пану Тадеушу, как лицу в этом деле заинтересованному), он прежде всего увидел перекошенное от страха лицо Антони с задранным вверх подбородком. Его голову оттягивала за волосы рука Константина. Сам Константин, расставив по-матросски ноги, тисками зажимал колени Антони так, что тот не мог шевельнуться. Свободной рукой Константин стал расстегивать ширинку. Не находя слов и лишь жалобно постанывая, пан Тадеуш панически метался вокруг этой скульптурной группы. Константин, не обращая никакого внимания на поляка, пошарил рукой у себя в штанах и вытащил на свет свой сморщенный пенис. Под поглаживающей рукой Константина пенис, однако, быстро распрямился, расправился, напрягся и стал победно раскачиваться над откинутым вверх побледневшим лицом Антони. — Нравится, а? — приговаривал Костя. — На советскую сардельку похож, а? На сталинскую бранденбургскую колбасу? Или все-таки на словацкую шпикачку, а, Тадеуш?

"Прекратите немедленно это хулиганство!" — завизжал пан Тадеуш не своим голосом и бросился на Константина. Тот лишь легонько, как будто лошадь, раздраженная мухой, повел плечом и Тадеуш, с грохотом опрокинув табуретку на пути, попятился и опустился на карачках в угол.

"Ну как, Тонечка, отсосешь? — И Константин потрепал Антони по щеке. — Как насчет подсознательной ревности к пенису отца? Или большого брата? Ощущаешь? Поставил себя на место вагины матери раком? Чувствуешь, как становишься утробой? Где же твой сосательный импульс?" — нависал Константин над запрокинутым вверх лицом Антони, рот которого был разинут в гримасе боли, страха и отвращения, и когда он облизнул пересохшие губы, кончик его языка невольно коснулся пениса. — Ага! — победно вскрикнул Константин, наблюдая, как его член вздернулся от этого прикосновения. — Ага! ощущаешь себя в нашей российской утробе? Ощущаешь, как вагинально колышутся складки знамен, как напрягаются мои яйца воздушными шарами, как члены Политбюро вздымают вверх приветственно руки? Чувствуешь, как сталинская воля пенитирует родину-матку?"

* * *

Дверь распахнулась, сорванная с крючка: с бледным перекошенным лицом на пороге стояла Клио. Чуть ли не на протяжении часа в лучах нелепого заката на ничтожном заднем дворике, на фальшивом своей убогостью газоне Клио пыталась заглушить грохот и гогот, доносящийся с нарастающей силой из окна кухни, все громче и громче обсуждая с Маргой все мыслимые и немыслимые темы: от проблемы вьетнамских бе-

женцев до нового противозачаточного средства из морской губки по рецепту египетских фараонов. Но Марга слушала вполуха, а вполглаза косилась на кухню, где заседал Костя, и чем ниже снижалось солнце, уходящее в огромную, наползающую на деревья тучу, тем нелепее становился сам факт разговора на сквозняке, посреди темнеющей лужайки, с сырым туманом, ползущим, как клубы немецкой газовой атаки из траншеи у соседского забора.

"По-моему, они сейчас друг другу горло перегрызут", — сказала Марга, покосившись на кухню, откуда донесся новый взрыв криков и разбитой посуды. "Ерунда! — деланно зевнув, ответила лениво Клио. Однако, небрежно заметив, что пора перейти в гостиную, сама направилась к кухонной двери.

Марга, скрывая любопытство под маской заботливой подруги, поспешила за Клио. Та, несмотря на всю решительность первоначального жеста, застыла перед дверью и, приклонив ухо к замочной скважине, вслушивалась, что происходит внутри — как школьница, опоздавшая на урок, перед классной дверью.

Лицо Клио заливалось краской, когда голос Кости из-за двери время от времени повторял ее издевательски искаженное имя: "Нуклия". Она делала вид не столько перед Маргой, сколько перед самой собой, что речь идет не про нее. И все же выслушивать все это при свидетелях было немыслимо и, когда за дверью послышался тяжелый и глухой удар упавшего на пол тела, Клио рванула дверь на себя.

Представшая ее глазам сцена была воплощением всего того, что Клио пыталась скрывать даже от самой себя: разморенная от выпивки и хриплого спора физиономия Кости, безумного царька, председательствующего за трапезой, где каждое блюдо было отравой — огрызки соленых огурцов, пиявки грибов на вымазанных тарелках, откупоренные бутылки, которые, казалось, источали зловонный дым, пропитавший кости и обгрызанные кровавые куски мяса на столе. Это была месса мертвецов, оргия вампира. И слово оргия возникло в мозгу Клио не случайно: перед Костей, развалившимся на стуле, стоял на коленях Антони. Его лицо уткнулось в

Костин пах, его лысеющая макушка склонилась к Костиному колену в позе, став свидетелем которой, инстинктивно захлопываешь дверь.

В тот момент, когда Клио возникла на пороге, Антони, как будто сдунутый сквозняком, отвалился от коленей Кости и, осев на пол, завалился под стол. И через мгновение из его раскрытых губ понесся тяжелый свистящий храп. И Клио померещилось, что московский кошмар повторяется, что сейчас она увидит, как тогда, в коммунальной склоке с Тонечкой, мускулистый и блестящий член Кости, нагло торчащий из штатов. Но Костина ширинка была наглухо застегнута.

"Чего это у нее лицо такое пересобаченное?" — тряхнув головой спросил Костя, поднявшись со стула и подтягивая штаны. Он обращался к Марге, как будто Клио не существовало. Он стоял перед Клио опостылевшим эпизодом из русской литературы — этот толстоевский гоголек, с опухшим посеревшим лицом, со свинцовым невидящим взглядом, такой же уродливый и ненужный, как и его кривая береза, обросшая сорняками, такой же противный, как и его раздавленный подберезовик.

Клио развернулась и, оттолкнув Маргу, выскочила наружу. Марга пожала плечами. "От чего? Наверное, от рождения, — сказала она, отвечая на вопрос Кости. — А это еще что за звук?" — нахохлившись и протрезвев, спросил Костя.

В наступившей торжественной тишине нарастающий за стенами кухни стрекот казался звуком снижающегося вертолета. Как в шпионских фильмах, возникающего ниоткуда, чтобы в критический момент подобрать своего секретного агента, выполнившего рискованную операцию. Но нарастающий стрекот стал сопровождаться глухими перебивами, вроде артиллерийских залпов под рокот пулемета, как будто кто-то вел одиночную атаку против врага, наступавшего по всей линии фронта. И все это сопровождалось храпом Антони, валявшегося под столом, как издыхающий труп.

В этой атмосфере международной напряженности Костя повел себя, как опытный стратег. Передвинувшись к окну, он отогнул шторку, но, к сожалению, разглядеть ничего не мог:

наступающие сумерки сгустились наползающей грозовой тучей, а может быть, это была не туча, а нависающий над окном куст сирени — ностальгическая сирень была единственным приемлемым для Кости компромиссом в вопросах английского садоводства.

Как раз за этим кустом и росла пресловутая кривая береза с чертополохом вокруг и именно туда, судя по звуку, строчил пулемет врага — или союзника? Заподозрив нечто неладное. Костя оставил все предосторожности и шагнул за дверь — на поле боя, на территорию заклятого врага, каким, в его пьяном мозгу, стала для него Клио.

Туча действительно выползала из-за соседских крыш, как газовая атака, и лишь единственный, дрожащий от нерешительности солнечный луч простреливал эту дымовую завесу ядовитых облаков. Этот одинокий прожектор противовоздушной обороны высвечивал фигурку Клио в конце полянки, рядом с сарайчиком-навесом, где она держала садовые инструменты. Как террорист-одиночка, Клио медленно продвигалась вперед, толкая впереди себя самое страшное оружие англглийской цивилизации: газонокосилку. Эта старая косилка, чихающая бензином, и издавала пулеметный стрекот вперемежку с артиллерийскими залпами вонючего дыма — запахом всего нечеловеческого, железного, лязгающего поржавевшими шестеренками. Лицо Клио, высвеченное жидким лучом, застыло в маске обреченного героизма — героизмом было само по себе то, что эту косилку вообще удалось задействовать. И продвигалась она шаг за шагом, как немедленно разгадал вигилянт Константин, в направлении заветной делянки, где, в его разгоряченном воображении, вместе с неслышным блаженным шуршанием, сопровождающим невидимый рост лопухов, подорожника и одуванчиков, таращили из почвы любопытные головки еще не открытые никем грибы, продиравшие свои бархатные шляпки сквозь корни травы, как новорожденные из порослей земной вагины. Влажные и блестящие, опутанные травяными обрывками родовых пут, лезли они к светлому сталинскому будущему. Губы Константина дрогнули, и, сделав решительный шаг вперед, он встал на их

защиту — защиту всего, что противостояло филистерской заглаженности и рационализму английского газона. И береза была его тылом.

"Руки прочь, дура!" — гаркнул он в спазме гнева охрипшим от выпитого голосом, перекрикивая зловещий стрекот и тарахтение на другом конце полянки. В ответ газонокосилка с резкой подначки Клио, издала агрессивный рык и, дрыгаясь в трясущихся кулачках хозяйки, подскакивая на малейших кочках и бугорках, двинулась вперед, оставляя за собой зловещий след — ленту свежевыстриженной травы.

Как в дешевой трагедии, из-под небесных колосников подоспела молния и высветила искаженные злостью и ненавистью лица — Клио и Константина, вцепившихся с обеих сторон в рукоять газонокосилки. Последовавший раскат грома не смог заглушить визг Клио и рычание Кости, когда оба, то ли в нелепой ярмарочной пляске, то ли в неком ведьминском ритуале стали скакать на месте, перетягивая друг у друга плюющуюся бензином косилку. Наконец, российская боевая смекалка перемогла западную настырность и, завладев страшным орудием, Константин в титаническом рывке поднял косилку над головой, закрутив ею в воздухе движением дискобола.

Клио упала и, визжа, дрыгала ногами в воздухе, как будто отбиваясь от пролетающих над ней стрекочащих ножниц; ноги Кости, завертевшегося на месте, тоже подкосились, и он рухнул рядом, выпустив косилку, которая отлетела по инерции и, подрыгав в воздухе, как подстрелянная ворона, описала дугу и приземлилась у забора, чуть не пришибив пана Тадеуша.

8. ДЕВА И МОНСТР

Она лежала на кровати, даже не набросив на себя простыни: раздетая догола женщина, может быть впервые почувствовавшая себя женщиной, голой во всех отношениях. Вся одежда с бельем валялась грязной горой в ванной, где Марга обмывала ее, как инвалида, и обтирала ссадины тампонами,

смоченными в одеколоне. Клио отбросила в угол даже предложенный Маргой халат: после чудовищной и грязной возни на лужайке любая одежда, казалось, возвращала ее в прежнюю жизнь, которая так безобразно закончилась, завершилась горой грязного белья и ссадинами на самых неподходящих местах. Запах одеколона мешался с пригоревшей пылью на раскаленной спиральке электрического камина, и вместе с сыроватым холодком из окна — вечным спутником английских спален — усугублял это чувство потерянности, напоминая запах спальных вагонов, городской уборной, школьной раздевалки, всех тех мест, где царил заранее уготовленный неуют и неприкаянность.

"О-кэй? Все в порядке?" — как медсестра, выполнившая свой долг, сказала Марга и поднялась с кровати. Клио в молчаливом бешенстве отвернулась от стены и, заложив руки за голову, посмотрела на подругу тем прозрачным остекленевшим взглядом, где ненависть ошибочно прочитывается как жалоба. Марга скривила губы в ответ в сочувствующей улыбке, сочувствующей не столько ущербности распростертого перед ней тела, сколько беззащитной голизне, которая лишь подчеркивалась выражением глаз Клио. И это сочувствие было унизительно. Клио беспардонно разглядывала лицо Марги, лицо с чертами хорошо ухоженной породистой лошади, крупные скулы и губы, матовая, с замшей загара кожа, грудь, резко оттопыривающая складку махрового халата — все ее тело было резким и послушным, как лошадиный стан. Эта безупречная слаженность была наглядной демонстрацией антропологического неравенства среди человеческих существ.

Простыня съехала на пол, и Клио подтянула колени и нахально расставила ноги: вызывающе, как будто демонстрируя перед стоящей у двери холеной подругой все свое женское убожество — от грудей, похожих на плошки подтаявшего мороженого с засахаренной объеденной вишенкой, плавающей посреди, до белесого лобка, настолько белесого, что девочкой она долго жила в страхе, что у нее, в отличие от других полноценных существ обоего пола, это место вообще голо и беззащитно, как будто глаз, неприкрытый веком. Не говоря уже о роковом ужасе перед словом "гермафродит", вычитанном украдкой из Британской энциклопедии, и подробного анатомического описания с картинкой этого белесого бесполого существа в книге Крафта-Ебинга, позаимствованной Маргой из родительской библиотеки. Они вместе изучали непонятные слова и иллюстрации половых ужасов. Марга хихикала, Клио тоже — стараясь подражать взвизгам подруги, но на самом деле, подавляла в себе приступы истеричного страха — а вдруг она тоже урожденная гермафродитка? И потом, следующим летом в Дорсете, куда ее по доброхотности пригласили Маргины родители, они с Маргой на пляже, спрятавшись в глубоких дюнах среди кустов вереска, друг на друге изучали анатомические сведения, вычитанные из книжек. Как странно было обнаружить, что голыши пляжной гальки аккуратно ложатся во влажную ямку между ног, и, если сжать колени, то жар разогретого камешка доходил прямо до макушки.

Они часами лежали рядышком в дюнах, уставившись в голубое небо, с бессмысленной улыбкой на губах, сжав бедрами голыш там, в горячей ямке между ног, боясь разжать колени и упустить источник загадочного блаженства. И как всезнающая Марга, опровергая страхи Клио о роковом гермафродите, раздвинула ее колени, отбросила голыш и стала медленно погружать вместо него свой палец. Вначале Клио чуть не завизжала от страха, но потом прикусила губу, потому что это было больно, но приятно, хотя и щекотно, до того щекотно и странно, что она чуть не укусила Маргу, забившись у нее на плече. Плечо Марги было такое же острое и костлявое, как и у нее, Клио; они тогда казались друг другу одинаково нелепыми в своей недоразвитости — они были равны в уродстве, и это ощущалось, как дружба. Ощущение собственного уродства было общим и поэтому не было ощутимым.

Марга, проследив взглядом соскользнувшую на пол простыню, отступила от двери и посмотрела на Клио исподлобья, по-животному склонив голову набок, как будто прислушиваясь, не понимая, что от нее хочет "лучшая подруга". Подруга ничего не хотела. Подруга не хотела подруги, которая отка-

залась от общей судьбы зачаточного уродства, которая решила вырасти в нечто другое, не предусмотренное контурами нескладного тельца Клио. Мир, частью которого стала Марга, не хотел быть частью ее, Клио, убогого тела. И Клио отвернулась к стене. Не моргая, неподвижным взглядом уставившись в стену, как в детском горячечном бреду, она стала водить пальцем по рисунку обоев; но там, в детстве, на обоях были девочки в шляпках с корзинками в руках, а тут, сейчас, палец водил по геометрическим кругам и треугольникам, поскольку девочки в шляпках с корзинками вышли из моды, расплылись в памяти абстрактными кругами и треугольниками. Может быть, простуда, горячка, воспаление и лихорадка в детстве были единственными блаженными моментами в жизни, когда не требовалось глядеться в других, как в зеркало, и находить в себе сплошные недостатки. Болезнь приносила свободу, как проказа, раз и навсегда отделяла тебя от общественных обязанностей, так во время болезни в детстве можно было наконец не стесняться своего собственного тела — своей физиологии, естественных отправлений плоти, с отвратительными бугорками, волосиками и нелепыми отверстиями, с менструацией и потливостью, со всем тем, что намуштрованный другими мозг осуждал как нечто непозволительное, непристойное.

И сейчас, вытесненная за границу дозволенного диким унижением, как детской болезнью, она наконец перестала стесняться, перестала испытывать страх остаться в одиночестве, в убогой детской спаленке, исключенной из взрослого разговора за стеной. Некая окончательная обреченность, припечатавшая ее сердце, как глаз — синяком, вместе с саднящей ссадиной на животе (что это было? корень проклятой березы или Костин сапог?) освободили ее наконец от преследовавшего ее всю жизнь, навязанного неизвестно кем, женского долга: въевшейся с детства рабской привычки следить за своим внешним видом, поддерживать должный образ в чужих глазах, быть обаятельной и говорить то, что надо.

Слова, во всем виноваты слова.. Всю жизнь приходилось произносить навязанные кем-то еще слова. А потом с отвращением вспоминать свое искаженное услужливой гримасой лицо слушательницы, понимающе прищуренные глаза и поддакивающие невпопад губы. Страх не оказаться одной — а для этого надо было заучивать и повторять и даже выдумывать заново все то, что говорили другие, кто не хотел слушать ни о полуголодных днях, когда крутишься как белка в колесе между подработкой и учебой, ни о нетопленной комнате и сырых холодных простынях, ни о депрессиях во время месячных и мигрени в промежутках. То есть, и это неправда: все — от родителей до сослуживцев, были бы только рады услышать все эти подробности, все эти старые новости викторианской эпохи в современной миниатюре, которая пылится в архивах души всякого англичанина, по закоулкам мозга — свои личные викторианские ужасики, существующие параллельно с нашествием викингов, свингующими шестидесятыми и гонкой вооружений во всем мире. Но она не хотела вносить свою лепту несчастий, как еще одну единицу архива островной души. Слова отделяли ее от себя самой, от той бессловесной тоски и болезненного томления, которые и были для нее единственной правдой; все остальное было выдуманным фразерством о мировой неустроенности. Но без этих надуманных, взятых напрокат слов нельзя было даже намекнуть на то, что мучило ее и никого другого. И ей приходилось соглашаться, поддакивать, возражать насчет феминизма, марксизма, пацифизма — в надежде на то, что она скажет что-то и про себя. Но каждое слово, наоборот, как будто выворачивало наизнанку все то, чем она мучалась, когда думала о самой себе.

Слова мстили. Слова превращали в позорный секрет те эпизоды прошлого, с которыми бессознательная память научилась жить без особой радости, но и без отвращения.

Клио и сейчас пыталась сделать вид, что подслушанные за дверью кухонные тирады Константина были не про нее, не имели к ней отношения. Она научилась вспоминать кошмарную историю с Тонечкой, как экзотический пример диких нравов в варварской стране России. Она научилась вспоминать этот эпизод, как будто ей рассказывал об этом кто-то

другой, как вычитанное случайно в этнографическом труде из жизни диких племен: ее там, в кухне не было. Это не она металась между страшным инвалидом на протезе и голосящей Тонечкой, она не слышала глухих смертельных ударов за стеной — это была не она, это был кто-то другой, замешанный во всем этом физическом и метафизическом мордобитии. Она готова была признать лишь уцелевшее после всего этого кошмара чувство жалости к Тонечке: к ее нелепой манере одеваться, изъясняться и ее нелепой смерти в больнице, с ее мечтой о возвращении в деревню. И в этой жалости была и жалость по отношению к себе: она ставила себя на место Тонечки, она позволяла себе снизойти до нее и представить себе, каково бы ей пришлось, уродись она Тонечкой. Представить себе это было крайне трудно, это требовало огромного напряжения эмоций и фантазии; она чувствовала собственную душевную широту, в такие моменты ей становилось себя жалко.

Во время этих приступов душевной щедрости она готова была признаться даже в том, что играла роль не только свидетельницы, но и участницы этого кошмара. Они были с Тонечкой в одной лодке этого мутного российского озера — точнее, болота. Так, наверное, чувствовал себя американский новеллист Хемингуэй по отношению к испанским коммунистам или тореадорам: он делил с ними хлеб, соль и кровь.

Во всем виноваты формулировки, не позволяющие отступать ни на шаг мечущемуся уму, превращающие смутную мысль в высокий принцип и тебя самого в нарушителя собственных принципов — в вероотступника. Во всем виноваты эти проклятые убеждения. Во всем виноваты философы, религиозные мыслители, все те, кто назначает себя на место пророков. Если бы не было всех этих слов, подводящих окончательный приговор нашим поступкам, она как-то просуществовала бы в этой убогой жизни, не чувствуя ни ложной вины, ни ложного стыда: бессознательно, как трава лужайки, срезаемая, когда придет срок, газонокосилкой.

Константин был наказанием за все ее пресмыкательство перед чужими словами и чужими идеями, бичом Божьим за ее вероотступничество, неверие в самую себя, себя нетронутую,

чистую, невинную, невиновную, незнающую ничего, кроме зеленых холмов Англии, садов и душистого английского дерна, который накроет ее с головой, когда наступит срок. И ей показалось, что срок наступил — срок освобождения, поскольку она отбыла свое наказание сполна. Ей впервые пришла в голову мысль о разводе.

"Он с тобой спит или не спит?" Скрипнул матрас кровати, осевшей под тяжестью крупной Марги и, чтобы не скатиться в ее сторону, Клио еще ближе, вплотную, придвинулась к стене. Надо было купить более дорогой матрас, пневматико-ортопедический, не такие уж он стоил немыслимые деньги, и она, как всегда при покупке в рассрочку, пожалела лишнюю двадцадку, и вот не прошло и полугода, а матрас уже прогибается, еще не выплачен за него последний взнос, а он уже проваливается ямой, как проваливается вся ее надежда на дешевый семейный уют и супружеское счастье. Марга задала свой вопрос ненавистным для Клио простонародным тоном, подделываясь под простоватость подруги, как в школе, где грубость и пролетарский акцент считались высшим шиком; только у Клио этот акцент был с детства.

Сейчас Марга пыталась кокетливо сымитировать забытый тон старой и опытной товарки, тон шушуканья за партой или хихиканья на улице, когда они шли в обеденный перерыв под ручку по Оксфорд-стрит, где вместе после школы работали продавщицами и, прогуливаясь, запивали лимонадом из жестянки фиш-с-чипсами прямо из газеты. "Спит или не спит?" В тоне этого вопроса уже не было ни школьного ажиотажа, ни экзальтированной жажды интимности и конфиденциальности. В вопросе Марги было лишь фальшивое сочувствие, прикрывающее любопытство к новому анекдоту о чужом несчастье. Как и в ее сестринском поцелуе куда-то за ухо, под завернувшийся локон короткой стрижки Клио, была фальшивая имитация прежнего товарищества, фиктивного братства. И фальшивость эта была в запанибратстве, с которым Марга потрепала волосы Клио на затылке и с якобы сестринской заботливостью поправила сползающую на пол простыню. Как будто продолжалась та сумасбродная ночь на Оксфорд-стрит, ког-

да в конце рабочего дня они спрятались за вешалками с платьями ценой в десять их зарплат вместе взятых, с лисьими и норковыми шубами, с шелковым бельем — в их полном распоряжении на одну ночь, когда они, разыгрывая миллионерш, справляли день рождения Клио. Они стояли перед зеркалом и, дурачась, пригубляя из горлышка шампанское, примеряли одно за другим невероятные туалеты, и пальцы Марги, помогающие Клио застегнуть корсаж, скользнули по ее спине и Клио, передернувшись от щекотки, наступила на шлейф, и, пробалансировав на одной ноге (она помнила каждое движение, как заученный арабеск в балете), свалилась на пушистый ковер примерочной, утягивая за собой Маргу. Но не лицо Марги закачалось тогда перед ее глазами, а нагловатая физиономия вахтера, склонившаяся над ними с фонариком, высвечивая их, полуодетых, барахтающихся на ковре; и это был не перестук ее, Клио, сердца, услышанного, как эхо, в груди Марги, а шаги этого вахтера — ночного сторожа, ангела-хранителя враждебного ей в тот момент мира, мира за границей ее кожи, ее мыслей и кишок.

И сейчас, как будто эхом из прошлого, по лестнице дома за дверью спальни затопали нетвердой походкой Костины сапоги. Клио стиснула руку Марги, зарывшуюся там, в шелковой влаге, где в то мгновение начиналась и кончалась ее душа. Эта рука обещала, казалось, выбраться Клио из самой себя наружу, но ее вновь придавливала ко дну, толкала вниз беспардонная поступь ночного вахтера, отозвавшаяся теперь грохотом сапог Константина, блуждавшего нетвердой тяжелой походкой по дому. Вспышка ненависти к Косте в это мгновение ослепила ее так же, как страх в ту нелепую ночь с возникшим неизвестно откуда вахтером, ослепившим ее фонариком, как некое экзотическое насекомое, которое давят сапогом, предварительно рассмотрев с холодным отвращением.

В который раз эта тяжелая мужская походка означала возврат мерзости одиночества: только тогда это было возвращение в убожество родительского пригорода и учрежденческой угодливости, рождественского пьянства и отчаянного викинговского одиночества викендов. Сейчас Костина походка возвращала ее в российскую коммуналку, навязывала ей соучастие в душном круговороте преступления и наказания, подлости и раскаяния, с забинтованной Тонечкой, шепчущей о деревенском рае разбитыми в кровь губами. "Не хочу! Не хочу!" — лихорадочно бормоча, Клио стала зарываться в подушку. Она слышала, как Константин приблизился к двери, она слышала его сдавленное дыхание, с хрипотцой, с присвистом пьяного удавленника, как у Тонечкиного супруга — когда он приблизился к Клио, невидимый, сзади, задышал в затылок и постучал своим костылем по каблуку ее туфли. Она слышала клацанье ручки запертой на замок двери.

"Почему бы вам не развестись?" — не обращая внимание на копошение за дверью, лениво спросила Марга, приподнявшись на локте и разглядывая голые острые лопатки Клио. Рука Марги под простыней еще пыталась вернуть Клио в блаженное состояние послушного беспамятства, но телесный шелк под ее пальцами вдруг загрубел, скорчился и сжался в сухие мертвые складки. Клио резко поднялась, отбросила руку подруги и натянула на себя простыню: она дрожала. Она вслушивалась в звуки за дверью. Константин, потоптавшись, подергав дверную ручку, промычал нечто, выругался и стал спускаться, спотыкаясь и чертыхаясь, вниз по лестнице. Потом снизу, как будто из преисподней, донесся его смех, злой и жеребячий. Тот же наглый смешок читался наутро в глазах главного менеджера, в глазах, где непонятно чего было больше — административного бешенства или холодного любопытства, когда его губы в вежливой улыбке произносили заготовленную формулу увольнения вместе с предъявлением счета за залитый шампанским ковер примерочной и порванное платье.

Этот долг пришлось выплачивать чуть ли не два года в еще более унизительной должности официантки. Марге даже не пришло в голову спросить Клио, как она расплачивается за ту нелепую ночь. Марга, казалось, обо всем этом совершенно забыла. Для нее это был не скандал, а еще один занимательный эпизод, затейливый случай, за который расплачивался ее жених Антони; такого рода экстравагантность была еще одной пикантной деталью биографии, деталью, в которой не мо-

гут себе отказать люди ее круга, превыше всего ценящие эксцентризм, чего бы то ни стоило. Как, собственно, и ее работа в магазине. Для Клио это была необходимость, для Марги — модное времяпрепровождение, жест братания с рабочим классом, занятный антракт перед поступлением в Оксфорд, может быть, Кембридж, почему бы нет? Обо всем этом она, наверное, рассказывала холеным приятелям по университету, как анекдот, как чудовищный китч. С таким же успехом Марга могла состроить рожу школьному преподавателю за спиной или нагло выкурить сигарету марихуаны перед Букингемским дворцом, или выплеснуть гостю за шиворот шампанского и потом хохотать, повалившись на ковер и задирая ноги, как будто все кругом создано исключительно для веселого безобразия, будоражащего риска и только ей, Марге, позволено дурачиться на глазах у шокированной публики. Марга скорее всего заранее знала и о ночном вахтере, который мог застать их тогда в любую минуту; но ей было наплевать, ей было весело, она получала удовольствие от нелепости и рискованности, от анекдотичности всей этой авантюры.

Губы и подбородок Клио затряслись в плаче, и она не могла эту тряску унять. Все ее жалобы, которые она еще мгновение назад готова была излить в скользящие пальцы Марги, обратились в нелепый анекдот. Не анекдот ли все кухонные скандалы с Костей, его кулинарные выходки, эти долгие ночи, когда она не могла заснуть от грохота и перестука кастрюль и сковородок, доносящихся из кухни вместе с отголосками пьяных препирательств Кости с паном Тадеушем? Ему было наплевать, что ей надо было каждое утро вставать в шесть, чтобы успеть на работу. Он дрыхнул до полудня. И потом его храп по ночам и ее унизительные попытки выжать человеческое тепло из куска храпящей жилистой говядины рядом на подушке, когда она, чуть ли не по секрету от самой себя, ласкала сморщенные сонные отростки его плоти.

До каких только мыслей не дойдешь в такие голодные до человеческого тепла бессонные ночи? Клио передернулась. Не кошмарный ли анекдот, когда она в одну из таких ночей, растрясла храпящего Костю и, встав перед ним на колени в

белой ночной рубашке, твердила: "Ударь меня! Ударь, как Есенин Айседору Дункан". И Костя, выпучив на нее глаза спросонья, валился снова на подушку, и перед тем как снова захрапеть, бормотал: "Мы не в России. И ты не Айседора Дункан". Все это можно пересказывать, как анекдот. Чужая жизнь со стороны — всегда анекдот. И Марга была со стороны. Марга давно стала для Клио иностранкой, говорящей на другом языке, живущей с другими в другом мире, где даже едят и одеваются по-другому. Вот именно, даже в одежде Клио никогда не удавалось быть наравне с Маргой: от джинс десяток лет назад до кожаных брюк сейчас, Клио всегда старалась одеваться "как надо", и все было как надо, и при этом все не так. По еле заметному, беглому косому взгляду Марги она всегда чувствовала, что одета нелепо, что при всей своей старательности выглядела, как пошлая уродка. Как выглядит уродом всякий иностранец, чужеземец, отчаянно старающийся походить во всем на местных туземцев и ошибающийся в одной-двух незаметных постороннему взгляду деталях, которые и превращают все его старательные и благонамеренные попытки "быть как все" в унизительную нелепость. Как нелепо Клио выглядела в Москве. Как нелеп Константин здесь.

"Что ты цепляешься за этого урода? Что ты строишь из себя жертву? — как будто заранее заготовленным эхом прозвучал из-за спины голос Марги. — Ну не хочешь разводиться, — живи сама по себе, как будто его не существует. Учись у меня — ты думаешь с гомосексуалистом легче жить, чем с недоделанным русским?" Клио оторвала лицо от подушки и уставилась молча на Маргу: что за белиберду несла эта мастерица фальшивых утешений? "А ты что, не знала? — с неподдельным удивлением проследила ее взгляд Марга. — Ты думаешь, Антони исключительно из-за душевной широты извиняться на кухню пошел? Он уже давно на Костю посматривает. Меня, главное, бесит, что под эти все дела он подводит политическую идеологию. Да что я тебе объясняю, когда вся история с небезызвестным подростком происходила у тебя на глазах, в вашем офисе. Как этого недоумка звали? Кинок? Кевин?"

"Колин", — почти беззвучно шевельнулись губы Клио.

"Как-как? Впрочем, неважно. Где он его откопал? Таскал его везде за собой, всем навязывал, читал ему вслух Олдоса Хаксли и Оскара Уайльда, вбивал в его бедную головку принципы утопического социализма и пацифизма, даже русскому его стал обучать. У того и так мозги были явно набекрень, а что с ним стало после ментальных и сексуальных экзерсисов под руководством нашего Антони — трудно вообразить. А чем закончилось? Известно, чем закончилось. Антони надоело. Он, видите ли, устал от бесплодных усилий. Его ученик, видите ли, не оправдал надежд. Превысил, якобы, полномочия. Это значит — стал требовать к себе человеческого отношения. И Антони его быстро рассчитал. Надеюсь, тот не повесился. У них, ты знаешь, это часто бывает — или самоубийством кончают или убивают своего любовника. Ты его, кстати, в последнее время не встречала?"

Вместо ответа Клио снова отвернулась к стене. Так вот что означали голодные глаза Колина в офисе. Он искал не ее — Клио — душевных подачек. При всей нелепости этого флирта он явно пытался разозлить, вызвать ревность вздорного Антони. И в ту ночь под Рождество он поджидал ее у помойных баков не для того, чтобы силой вырвать у нее ответное телесное содрогание в холодной тьме одиночества; он просто мстил Антони за то, что тот его отверг. Теперь ясно было, почему Колин не появился на той вечеринке — мстил самым отвратительным, унизительным для самого себя образом: через женщину. И жертвенная уступчивость Клио — там, распростертой на грязном асфальте у помойных баков — ему была не нужна, он убежал от нее, отвергнув ее рождественский "подарок". Ощутимая ласка была для него лишь болезненным напоминанием об Антони. Клио была тут совершенно ни при чем. Ее использовали. В очередной раз. Но тот раз был внеочередным. Для нее Колин за эти годы стал единственным существом на свете, кому она ни в чем не могла позавидовать, кто был ниже ее по всем рангам, перед кем она, как ни странно, испытывала чувство вины, хотя именно он, Колин, был ее обидчиком, именно он унизил ее самым страшным для женщины образом. Она лелеяла в себе это чувство вины, уравновешенное мучительным унижением, к которому ее принудил Колин. Она, наконец, призналась себе в том, что все эти годы тайно лелеяла в памяти эту, на одну ночь возникшую связь униженной и оскорбленного, оскорбленного обидчика и униженной оскорбительницы. Это был ее, никому недоступный секрет, ее позор, ее вина, ее надежда, точнее, несостоявшийся, несбыточный рай, в который мысленно возвращаешься, когда кажется, что все потеряно, и утешает лишь тот факт что знаешь: было что терять. Она могла быть и женой и матерью и сестрой Колину, его наставницей и соученицей — потому что, если жизнь и уравняла их общим унижением, Клио, все же, была заведомо сильней и выносливей перед лицом бед и унижений будущих. И Колин, который в воображении Клио стал за эти годы воплощением мировой жалкости и беспомощности, с умилением и преданной готовностью принял бы от Клио дар супружества, дар чуть ли не богини, понявшей и простившей ему его земное ничтожество.

Бред! Бредом было воображать, что она может позволить себе хоть какие-либо душевные привилегии: даже этот ненужный никому в своем ничтожестве и унизительности "рождественский подарок" в виде Колина был чужой душевной собственностью, отданной ей напрокат и вырванной грубо у нее из рук, как только она осмелилась вообразить себя на равных. Таким, как она, остается искать утешения за границами общепринятого. Перед Константином ей, по крайней мере, не в чем стесняться. Ее душевный изъян на фоне его диких прихотей создавали удивительную по гармонии картину идиллического симбиоза двух чудовищных эмбрионов Востока и Запада. Они оба — уроды! Она впервые подумала о себе и о нем как о родственниках — двух одиноких чудовищах, вечных париях этого мира, обреченных до конца дней кочевать рука об руку от одного враждебного пристанища до другого. И везде их будут встречать презрительной усмешкой.

"Я пойду вниз, он там себе места не находит", — сказала Клио с извиняющейся ужимкой новообращенной монашенки и, поднявшись с постели, стала натягивать джинсы. Марга встала перед дверью, как будто преграждая ей путь. Она была явно раздражена.

"Ты знаешь, кого ты мне напоминаешь?" По тону Марги было ясно, что сейчас Клио наконец-то услышит, что о ней думает ее "лучшая подруга". Клио предпочла бы этого не слышать. Но у Марги на этот счет были соображения. "Ты, разумеется, знаешь детский сюжет про Деву и Чудовище? Дева оказалась волей обстоятельств у Чудовища в замке за высокой стеной и т.д. Когда Дева прониклась сочувствием к страданиям Чудовища, Чудовище раскрыло ей секрет: в прошлой жизни Чудовище было прекрасным Принцем, но антимонархическая колдунья произвела в нем чудовищную революцию, и Чудовище останется монстром до тех пор, пока его не полюбит прекрасная Дева и не освободит Принца от злых чар своим поцелуем. Растроганная до слез Дева раскрыла свои объятия и, закрыв глаза, поцеловала Чудовище".

"И что дальше?" — спросила Клио, как ребенок, которому не терпится услышать конец давно знакомой сказки.

"Неужели твой российский опыт не подсказывает тебе новый конец старой притчи? Когда Дева открыла глаза, она увидела перед собой не Принца, а все то же Чудовище. Чудовище поднесло к глазам Девы зеркало, и вместо себя Дева увидела жабу! Вскоре девица-жаба научилась квакать, а Чудовище окончательно заросло вшами. Они жили счастливо и умерли в один день. Можешь отправляться к своему Константину".

Клио размахнулась и отвесила Марге тяжелую пощечину.

Окончание в № 84.

Владимир МАТЛИН

РОБНИК

У развалин соседнего дома фигура исчезла — растворилась в сумерках, но через несколько секунд опять появилась на фоне еще светлого неба. Можно было отчетливо разглядеть остроконечный капюшон плотной спортивной куртки.

Человек медленно приближался, на каждом шагу останавливаясь и озираясь во все стороны, словно поводя носом. "Нюхает воздух", — догадался Коллинс. Он знал этот прием — по запаху определять присутствие людей.

Фигура приближалась. Двести пятьдесят футов, — определил Коллинс расстояние наметанным глазом. Он разглядывал человека, пытаясь понять, где у него спрятано оружие. Что оружие у него есть, Коллинс не сомневался: это был типичный РОБНИК — так называли этих людей, рыскавших по чужим домам в поисках еды, боеприпасов, одежды, топлива.

Двести футов. Коллинс был уверен, что с этого расстояния не промахнется. Он заранее снял предохранитель, но не

хотел выставлять карабин в бойницу, опасаясь, что ствол блеснет в лучах заходящего солнца. Стрелять следовало в последний момент и в самом крайнем случае. Ужас, сковавший его в первое мгновение, когда он увидел направлявшегося в его сторону РОБНИКА, прошел, и Коллинс ощущал твердость в руках. Чтобы унять сердцебиение, он старался дышать медленно и глубоко. Карабин он сжимал правой рукой, а левой машинально поглаживал грудь — чтобы успокоить сердце.

Сто футов. РОБНИК остановился. Он перестал нюхать воздух и теперь внимательно разглядывал вход в дом и ведущую к нему от драйв-уэя асфальтированную дорожку. Асфальт растрескался, сквозь трещины проросла трава, и Коллинс надеялся, что РОБНИК не заметит тонкую серую проволочку, натянутую над дорожкой перед самым входом.

Постояв несколько секунд, человек двинулся к входной двери. Он шел медленно, осторожно ступая, словно ожидая каждое мгновение выстрела. Лицо его было закрыто капюшоном-маской, но в прорези для рта Коллинс успел разглядеть клочья рыжей бороды.

"Похоже, не заметит", — пронеслось у Коллинса в мозгу. Когда до входа оставалось пять шагов, он повалился на пол и, ожидая взрыва, инстинктивно закрыл голову руками.

Некоторое время он лежал неподвижно. Взрыва не было. Коллинс поднял голову и прислушался. Тихо. Может, в последний момент РОБНИК изменил направление и пошел к другому входу? Коллинс вскочил на ноги и припал глазом к бойнице. Около дома РОБНИКА не было, и только в конце улицы Коллинс увидел быстро удалявшуюся фигуру в остроконечном капюшоне. РОБНИК почти бежал и вскоре совсем скрылся в тени деревьев, которыми были обсажены улицы этого всегда тихого, а теперь вымершего пригородного поселка.

Не отводя взгляда от пустынной улицы, медленно погружавшейся в декабрьские сумерки, Коллинс опустился на раскладной алюминиевый стул — единственный предмет мебели, уцелевший в доме: все деревянное сгорело в камине.

Необходимо было все обдумать и постараться предугадать развитие событий. Думать надо спокойно, трезво. "Я не имею права на панику", — сказал Коллинс вслух, и эта фраза подействовала на него успокаивающе. Вообще говоря, он не позволял себе думать вслух: он считал это слабостью, первым признаком наступающего бессилия, когда человек постепенно перестает сопротивляться и становится жертвой голода или РОБНИКОВ.

Преувеличение опасности может быть так же пагубно, как и недооценка. Прежде всего, нужно понять, почему РОБНИК, который явно направлялся в дом, вдруг изменил свои планы. Вероятно, он посчитал дом пустым, брошенным, но, подойдя вплотную, неожиданно увидел какой-то признак присутствия человека — может, разглядел мину, а может, учуял запах.

Вооруженный человек внутри дома опасен. Но, с другой стороны, раз в доме есть люди, — значит можно чем-то поживиться, и скорее всего РОБНИК вернется, подумал Коллинс. Может, он подкрадется ночью, в темноте, и подложит под стену мину. Или вернется не один, приведет дружков, и тогда начнется осада.

Осады Коллинс боялся больше всего. Патронов оставалось мало, одиннадцать штук; Коллинс знал это точно и строго запрещал себе пересчитывать их снова и снова, — это было бы слабостью, вроде мыслей вслух. С самого начала, засев в доме, он планомерно готовился к осаде.

Это был обычный пригородный дом на одну семью — два этажа, четыре спальни, подвальное помещение. В прежние времена (Коллинс называл их про себя "до того, как все это произошло"; прежние времена казались ему в его дневных воспоминаниях счастливым сном, слишком счастливым, чтобы быть реальностью; — а ночью, в тревожном забытьи ему казалось, что все недавние события — кошмарный сон, и он делал усилия, чтобы проснуться и оказаться дома, в своей спальне с видом на Потомак), в прежние времена этот дом принадлежал семье какого-то адвоката по фамилии Барнс. Коллинс то и дело натыкался во всех комнатах на письма и фотографии исчезнувшего семейства. К тому времени, как он засел в этом доме, здесь уже побывала

не одна шайка РОБНИКОВ. Все было унесено, и посреди пустых комнат валялись только письма и фотографии. Но в этом пустом доме Коллинсу посчастливилось обнаружить то, что проглядели все РОБНИКИ, — запас продуктов, запрятанный в стене.

Проникнуть в дом можно было в трех местах: через два входа и через низкое окно подвального этажа. Главный вход Коллинс заложил камнями, скрепив кое-как кладку глиной и песком и подперев ее для верности изнутри давно бездействовавшим холодильником и стиральной машиной. Так же он заделал и окно, оставив в нем узкую бойницу. В двух шагах от окна, в густой траве он установил одну из мин, которую носил в рюкзаке еще с армейских времен. Вторую мину он установил перед боковым входом, на дорожке, ведущей к драйв-уэю. С этой миной была сущая морока: в течение дня он несколько раз выходил из дома и каждый раз боялся наступить на ведущую к взрывателю тонкую серую проволочку.

Те дела, которые можно было делать в темноте, он откладывал на вечер, чтобы выходить из дома незаметно. В этих случаях приходилось заранее, еще засветло отвинчивать взрыватель мины, а потом, возвратившись домой, устанавливать ее в темноте. Сегодня он тоже собирался отвинтить взрыватель, чтобы сходить в темноте на ручей за водой, когда увидел из окна второго этажа приближающуюся фигуру.

Коллинс так и сидел на алюминиевом стуле против окна и старался продумать все варианты событий. Самое плохое, что может произойти: ночью сюда явится шайка РОБНИКОВ. Вариант первый: они попытаются штурмовать дом в темноте. Они могут взорвать входную дверь, разрушить его баррикады, развалить кладку, закрывающую окно. Во всех этих случаях у него будет время занять правильную позицию внутри дома и встретить их огнем.

Другим вариантом была долгая осада. Насколько долгая? Сколько он выдержит с одиннадцатью патронами и ведром воды? А самое главное — один: ведь круглые сутки нужно будет вести наблюдение...

Сумерки сгустились, и настала полная тьма. Плотные облака закрывали луну. Коллинс поставил карабин на предохранитель и пошел вниз, в подвальное помещение. Здесь он обычно проводил ночь на брошенном в углу матрасе. У подвала ночью был ряд преимуществ. Если они выбьют дверь и бросят в дом гранату, осколки не пробьют перекрытия, и внизу он уцелеет. Если он больше не сможет защищаться, он развалит каменную кладку, закрывающую окно, и постарается вылезти через проем наружу. Он знал, как вылезти из окна, не задев мину, — даже в полной темноте.

Коллинс полулежал на матрасе, не выпуская из рук карабина, и напряженно слушал тишину. Нельзя сказать, что за эти месяцы войны всех против всех он привык к опасности; ерунда, говорил он, к опасности привыкнуть нельзя, как нельзя привыкнуть к смерти. Но он научился жить в постоянной опасности с того дня, как вместе с двумя другими офицерами бежал на "Джипе" из расположения части под огнем своих взбунтовавшихся солдат. Один из его спутников вскоре погиб, когда они наскочили на засаду. Еще хуже получилось со вторым: у него началось нервное расстройство с истерическими припадками. Коллинс прятал его, сколько мог, а потом ушел от него среди ночи, оставив ему половину патронов и продовольствия. Он считал, что поступил честно.

Сначала он старался не думать об опасности, а просто действовать сообразно обстоятельствам. Мысли об опасности страшнее самой опасности, внушал он себе. Но потом решил, что это малодушие, и стал, наоборот, обдумывать все возможные ситуации и свои действия в этих ситуациях — впрочем, сознавая, что когда это произойдет, все будет неожиданно и не так. Все же он продолжал мысленно разыгрывать все варианты появления РОБНИКОВ и обдумывать проблемы вроде: что делать, если летом пересохнет ручей?

Не выпуская из рук карабина и напряженно прислушиваясь, Коллинс постепенно впал в тревожную дремоту и проснулся мгновенно, ощутив, что в помещении кто-то есть. Он раскрыл глаза и сразу же увидел фигуру в остроконечном капюшоне.

Густые облака, закрывавшие луну с вечера, рассеялись, и лунный свет, проникая через щель в окне, заливал белую стену. Фигура отчетливо выделялась на фоне стены. Человек стоял спиной к Коллинсу и, нагнувшись, что-то разглядывал в груде хлама на полу.

Стараясь дышать ровно, Коллинс беззвучно опустил предохранитель. В темном углу на матрасе он оставался невидимым для РОБНИКА. Нет, стрелять нельзя, подумал Коллинс. В доме, наверху, могли быть еще РОБНИКИ.

Коллинс сел на матрас и направил карабин в голову человеку. Тот продолжал копаться в хламе. Коллинс старался держать в поле зрения спину человека и ведущую на верхний этаж лестницу. На лестнице в любой момент мог появиться другой РОБНИК, и тогда следовало стрелять сразу по обоим.

Тихо шелестели бумаги, но сверху не доносилось никаких звуков. Каждое мгновение человек мог оглянуться. В руках у него оружия не было, и Коллинс был уверен, что успеет выстрелить первым.

Так прошло несколько секунд. Надо было действовать.

Коллинс придвинулся к краю матраса, поднялся на ноги и, сделав два неслышных шага, упер дуло карабина в затылок человека. Одновременно он шепотом произнес:

— Не оборачиваться! Крикнешь — застрелю.

Человек вздрогнул и уперся руками в стену. Он не шевелился, только руки в перчатках дрожали. Коллинс снова прислушался — в доме было тихо.

— Кто с тобой? — прошептал Коллинс.

Человек молчал, будто не слыша. Коллинс с силой ткнул его стволом карабина в затылок, и человек стукнулся лбом о стену.

— Сколько людей с тобой? В доме? Снаружи? Отвечай!

РОБНИК отрицательно покачал капюшоном. Это был, несомненно, тот самый тип с рыжей бородой, который подходил к дому перед заходом солнца.

Не отнимая карабина от затылка, Коллинс осторожно приблизился и быстро проверил карманы РОБНИКА. Они были набиты чем-то мягким. Коллинс так же быстро ощупал

ноги и голенища сапог — оружия не было. Он ощупал куртку спереди — сначала на животе, потом на груди... и вздрогнул от неожиданности. Под курткой он ощутил женскую грудь.

В первый момент Коллинс растерялся. Потом подумал, что это, в сущности, ничего не меняет. То, что это — женщина, ничего не меняет. Еще некоторое время Коллинс прислушивался к звукам в доме и снаружи. Затем он опустил карабин, достал из кармана зажигалку и поджег фитилек самодельного светильника. Помещение наполнилось вялым желтоватым светом и качающимися тенями.

— Повернитесь ко мне и расстегните куртку, — сказал он спокойным голосом, но уже не шопотом.

Она повиновалась не сразу — похоже было, что смысл слов с трудом доходит до нее. Дрожащие пальцы в перчатках долго не могли ухватить застежку, а когда куртка распахнулась и капюшон опустился, Коллинс увидел копну свалявшихся под капюшоном рыжих волос, — высовываясь в прорезь маски, они выглядели как клочья бороды.

Женщина была близка к обмороку. Ее полузакрытые глаза глядели мимо Коллинса, губы дрожали. И все же это искаженное лицо показалось ему знакомым — рыжие волосы, широко расставленные глаза, выдающиеся скулы... Ну, конечно! Конечно, это она! Только сильно похудела.

Стараясь говорить твердо и дружелюбно, он сказал:

— Так вы утверждаете, миссис Барнс, что с вами никого нет?

Женщина повернула лицо к Коллинсу — не сразу и очень медленно — и с трудом произнесла:

— Вы меня знаете?

— Нет, мы не знакомы. Просто ваши фотографии разбросаны по всему дому.

— Это мой дом, — сказала она с неожиданной твердостью. Потом взгляд ее опять стал отсутствующим.

— С кем вы пришли? — добивался Коллинс. — Где ваш муж?

— Он погиб, — сказала она без всякого выражения. — А где дети, я не знаю. Я их потеряла. Я думала, они здесь. Это мой дом.

Ноги ее подогнулись, она опустилась сначала на колени, потом упала лицом на пол.

Коллинс огляделся и внимательно прислушался. Затем он исправил оплошность: заставил куском фанеры щель в окне — ведь свет коптилки мог быть заметен снаружи. Потом повесил карабин за спину и склонился над женщиной. Она дышала слабо и прерывисто. Это мог быть голодный обморок. Он перетащил ее на матрас, стянул с нее куртку и сапоги. Пропотевшие носки сильно воняли.

При свете коптилки Коллинс разглядел содержимое ее карманов: две пары теплых трусов, завернутый в полотенце объедок галеты, толстые носки, кошелек с застежкой-молнией. Из кошелька высыпались два золотых кольца (одно с бриллиантом) и удостоверение личности на имя Эвелин Барнс, выданное Народным советом города Хьюстона. Текст был на трех языках: английском, испанском и русском.

Коллинс уменьшил огонек коптилки и поставил ее возле изголовья матраса. Затем сел на пол в дальнем, темном углу комнаты, оперся спиной о стену и вытянул ноги. Надо было спокойно обдумать ситуацию и принять решение.

Карабин он держал обеими руками.

* * *

Эвелин пришла в себя, ощутив во рту полузабытый вкус теплого молока. Она открыла глаза и увидела склонившегося над ней человека, который вливал ей в рот молоко из алюминиевого стаканчика. Она сразу же вспомнила события прошлой ночи.

Опираясь на локоть, она села, взяла в обе руки стаканчик и, стараясь не спешить, выпила молоко. Даже от этого небольшого количества молока она ощутила тяжесть в желудке и легкое головокружение.

Солнечный свет проникал в щель и освещал просторное подвальное помещение. Эвелин знала, что она дома, но комнату узнала с трудом: исчезли деревянные плиты, которыми были обшиты стены, исчез диван, на котором они вчетвером сидели перед телевизором, толстый шерстяной ковер с оранжевыми разводами, на котором они играли...

— Еще молока? — Он держал в одной руке котелок с водой, а в другой пакет с сухим молоком. Эвелин внимательно посмотрела на этот пакет.

— Да, да, миссис Барнс, это из вашего тайника в стене возле спальни. Кстати, зачем вы прятали продукты?

— На случай атомной войны. Многие тогда так делали.

Он криво усмехнулся:

— Атомная война... Какой оптимизм! На самом деле, им всего-то понадобилось несколько сот танков и радиопередатчики...

Он развел порошок в алюминиевом стаканчике и подал ей. Когда она допила молоко, он сказал:

— Есть одна очень важная вещь, которую вы мне должны сказать, — он снял с плеча карабин и, опираясь на него, сел на край матраса. — Как вам удалось войти в дом? Ведь оба входа...

Она показала пальцем в дальний угол, где стояла машина для сушки белья и был свален разный хлам. Он быстро подошел, заглянул за машину.

— Под линолеумом, — сказала она.

Он приподнял край покрывавшего пол коричневого линолеума и увидел дыру, аккуратный лаз, фута три в диаметре.

— Подземный ход? — спросил он.

— Тоже на случай атомной войны: если рухнет крыша и стены. Гражданская оборона строила. Бесплатно.

— А где выход?

— В саду, в кустах за яблоней. Я его заложила фанерой и сухими листьями прикрыла. Я вчера вспомнила про него, как только увидела, что двери заделаны. Но решила дождаться ночи...

— А мину вы заметили? Вы ведь были от нее в двух шагах.

— Какую мину? — Она испугалась.

Он опять присел на матрас, карабин поставил между коленями. Помолчал, думая, с чего начать.

— Меня зовут Коллинс, майор Коллинс. До войны я жил в Вирджинии, около Вашингтона. Летом моя часть стояла

на Рио Гранде. Когда на той стороне сконцентрировались танки, мои солдаты заявили, что не будут выполнять приказы командования, а будут подчиняться только народным советам. Я еле ноги унес. Четыре месяца я бродил по Техасу, скрываясь от патрулей. Вы ведь знаете, что они вылавливают офицеров... Примерно месяц назад я пришел сюда и засел в этом доме — бывшем вашем доме, и с тех пор...

Коллинс чуть не свалился с матраса, так резко она подскочила:

— Что значит "бывший"?! Это мой дом — был и остается! Вы здесь никто, просто РОБНИК, да, РОБНИК! Я здесь буду жить со своими детьми. Они сюда придут!

— Конечно, это ваш дом, — сказал он поспешно. — Вы меня не поняли. Я так сказал, потому что собственности в юридическом смысле больше нет, ведь нет судебной власти, которая обеспечила бы...

— Ничего подобного, — прервала она его. — Я думала об этом. Все зависит от нас... Я хочу сказать — от самих людей.

Он стукнул прикладом по полу.

— Слушайте, у меня нет охоты спорить. Я только хочу вам сказать одно: я отсюда никуда не уйду.

Коллинс выжидающе посмотрел на нее — она молчала, опустив голову.

— А теперь — самое главное, — продолжал он размеренным голосом. — Я предлагаю вам остаться здесь, со мной. Продуктов нам должно хватить еще на пять месяцев... если экономить. Вдвоем будет проще...

Он остановился на полуслове, увидев, что Эвелин вдруг дернулась и вскочила. Лицо ее было искажено гримасой, она согнулась и держалась за живот.

— Ничего, это пройдет, — сказал он. — Это от молока натощак.

Она бросилась вверх по лестнице.

— Стойте! Не выходите на улицу! — Он бросился за ней, догнал ее уже наверху и схватил сзади за плечи. — Там сразу за дверью мина!

Коллинс сам открыл входную дверь и спустился с крыльца. Он отыскал взглядом спрятанную в траве зеленую коробочку, опустился рядом с ней на колени и стал осторожно вывинчивать взрыватель. Эвелин стояла, скрючившись, на крыльце.

— Я вижу ее, — сказала Эвелин и начала спускаться с крыльца.

— Стойте, где стоите! — заорал Коллинс.

Он опять принялся за взрыватель и, когда отвинтил его, сказал:

— Можно пройти. Только, пожалуйста, отойдите подальше — вон за те деревья. Иначе вас обнаружат...

Эвелин побежала к деревьям, а он отвернулся и по привычке стал наблюдать за дальним поворотом, повесив карабин на грудь. Деваться ей некуда, думал Коллинс. Деваться ей некуда, так что останется! А это меняет дело. Конечно, многого от нее ждать не следует. Стрелять уж точно не умеет. Но это не так важно: главное, что вдвоем можно установить круглосуточное наблюдение, по сменам. А это значит, что не так опасно обнаружить свое присутствие. Можно будет поставить ограду. Весной можно будет разбить огород, летом — собрать яблоки. Вдвоем все становится проще.

В какой-то момент к нему вдруг вернулось то острое ощущение, которое он испытал, когда, обыскивая, ощупал ее грудь. Оно снова пробудилось в его пальцах и от них разошлось по телу, заполнило его и приторной дрожью отозвалось в коленах. Для сорокалетнего мужчины это смешно, подумал Коллинс. Такое он испытывал, когда мальчишкой в родительском доме в бассейне прикасался к подругам своей старшей сестры.

Эвелин вернулась подавленная.

— Это не опасно, — сказал ей Коллинс. — Позже поедим овсяной каши, и пройдет. Есть будем два раза в день.

Она молча вошла в дом, медленно поднялась на второй этаж, постояла в коридоре, куда выходили двери трех комнат, потом вошла в одну из них. Это была большая из трех комнат, она служила им спальней, ей и Джону. Мебели в комнате не осталось, ковер с пола был содран, и Эвелин

разглядела на паркете правильной формы огромный прямоугольник — контуры кровати, их кровати, на которой они спали одиннадцать лет супружеской жизни и на которой были зачаты их оба ребенка.

Эвелин почувствовала дурноту. Она опустилась на пол и несколько минут сидела, опершись спиной о стену. Когда головокружение унялось, она заметила рядом с собой кучу мусора. Обрывки писем, банковских отчетов, поздравительных открыток, приглашений — обломки прошлой жизни. Она разглаживала каждую из этих бумажек и читала обрывки фраз, стараясь вспомнить все, что было с этим связано. Ей попался кусок фотографии, на которой она разглядела себя, дочь и чье-то плечо, — то ли Джона, то ли сына. Пытаясь найти недостающий кусок фотографии, она долго рылась в мусоре. Ее отвлек Коллинс, неслышно вошедший в комнату:

— Давайте поедим, — сказал он. — Я там внизу приготовил обед... если это можно так назвать.

В гостиной на полу возле камина было расстелено полотенце, на нем разложены алюминиевые стаканы и ложки. В камине на двух кирпичах стоял чайник, под ним тлели угли. Они сели лицом к камину, и Коллинс развел в стаканчиках бульон.

— Сегодня мы пируем, — сказал он, передавая ей стакан, — но в другие дни порции будут меньше.

Она взяла стакан двумя руками и, закрыв глаза, медленно выпила бульон. Руки у нее дрожали. Так же молча и сосредоточенно она ела кашу.

Коллинс сказал:

— Мы должны распределить наши запасы так, чтобы хватило, по крайней мере, до июня.

Она выскребла дно тарелки и посмотрела ему прямо в лицо — впервые за все это время.

— Я не хочу, чтобы вы здесь оставались, в моем доме. Я прошу вас уйти! Извините...

Это был неожиданный поворот дела, и он ответил не сразу. Он не хотел ссоры, он подумал, что нужно протянуть несколько дней, а там жизнь возьмет свое, и все уладится. Он сказал как можно дружелюбнее:

— Вы не понимаете, что будете беззащитны в этом доме. У вас нет оружия, вы станете добычей первого же Робника.

— Это мое дело. Как-нибудь справлюсь. Я многому научилась за время моего путешествия.

— Где вы побывали? — спросил он, воспользовавшись возможностью сменить тему разговора.

Она задумалась, будто припоминая что-то, потом спросила:

— Какое сегодня число?

— Думаю, девятое декабря. Впрочем, я могу ошибиться на день-два.

— Значит, я была в пути почти два месяца. Я ездила в Миссисипи искать детей. Помните, когда начали стягивать войска и ждали войны, было решено эвакуировать детей из прифронтовой полосы? Без родителей, со школьными учителями... А когда это случилось... ну, все развалилось, детей привезти оказалось некому. На дорогах сейчас полно матерей, все ищут детей.

— На дорогах есть движение?

— Конечно. Автобусы не ходят, но люди собираются на автобусных станциях и составляют вроде кар-пулов, вместе едут в какой-нибудь город. На автобусных станциях ходят с плакатами: "Ищу попутчиков в Даллас", или еще куда...

— А бензин?

— Немного выдают по талонам, но талоны получают только те, кто сотрудничает с народными советами. Самое простое — выменять на виски у ХЕЛПНИКОВ.

— У кого?

— У ХЕЛПНИКОВ. Вы не слышали этого слова? Ну, все эти кубинцы, болгары, мексиканцы, чехи... кто еще? Они ведь говорят, что пришли помочь нам против нашего правительства. Их и зовут Хелпники, от слова "помощь". Как РОБНИК — от слова "грабеж".

— Что они делают?

Она пожала плечами:

— Что делают? Устраивают облавы, арестовывают, депортируют. Грабят, конечно...

— Кого арестовывают? Есть какая-нибудь закономерность?

— Ничего толком не известно. Офицеров арестовывают, государственных служащих, профсоюзных активистов. Моего деда священника арестовали, ему семьдесят девять лет. Говорят отправляют в концлагеря куда-то на Юкатан, а другие говорят — в Сибирь...

— Насчет сопротивления что-нибудь слышали?

— Разговоров много, но кто знает наверняка? В Новом Орлеане все говорят, что советского генерала застрелили прямо на улице.

— А вы побывали в Новом Орлеане?

— И в Новом Орлеане... Сначала добралась до Бомонта, потом до Батон-Руж, потом до Нового Орлеана, потом до Лорела...

— Где это Лорел?

— В Миссиссиппи, маленький городок, куда детей вывезли.

— И что?

— Там сказали, что были дети из Техаса. Видела школу, где они жили. Но когда все развалилось, кормить их стало нечем, дети стали разбегаться. Тех, что помладше, разобрали местные жители, а те, что постарше — ушли кто куда. Я думаю, пробираются домой. Много детей сейчас на дорогах. Мои тоже наверняка пробираются домой. Я сначала их искала, а потом решила встретить их здесь. А вы здесь лишний, понимаете? Я не смогу им объяснить ваше присутствие.

Он почувствовал раздражение.

— Вот уж не проблема — объяснить мое присутствие. Скажите, что наняли меня стеречь дом от РОБНИКОВ. Или еще что-нибудь...

— Нет, из этого ничего не выйдет. Они уже большие. Я решила не говорить им об извещении. Я знаю несколько историй, когда приходило извещение, а потом оказывалось... Нет, я пока не буду им говорить.

— Слушайте, миссис Барнс, по-моему, вы просто не хотите посмотреть правде в глаза. Он погиб в военных действиях? Бои в Калифорнии?

Она не ответила.

— Официальные извещения редко врут — это люди друг другу рассказывают утешительные истории. Что касается ваших детей — вы понимаете, что я желаю всего лучшего... но в этих условиях...

— Нет! Вы не знаете, вы там не были! Люди на дорогах... они озверели, они могут убить за кусок хлеба, но ребенка никто не обидит! Вы здесь сидите и ничего не знаете!

Она говорила возбужденно, почти кричала. Коллинс подумал, что она выглядит не совсем нормальной, и продолжать этот разговор не стоит. Опершись на приклад карабина, он резко поднялся с пола.

— Надо сходить на ручей за водой — пока светло. А то придется устанавливать взрыватель в темноте, это опасно.

— Постойте! — она тоже вскочила на ноги и схватила его за рукав. — Я вас очень прошу, мистер... майор... Простите! Я пойду вам навстречу: мы разделим продукты — половину вам, половину мне с детьми... Вы ведь можете найти где-нибудь брошенный дом...

— Не несите чушь! — Коллинс старался сдержаться. — Очень скоро вы поймете, что одной вам не выжить, тогда и поговорим. Усвойте только одно: я никуда отсюда не уйду, ясно?

Он высвободил рукав и поправил карабин на груди. Жест этот выглядел угрожающе. В дверях он повернулся и сказал преувеличенно беззаботным тоном:

— Хотите, я принесу два ведра воды и устрою для вас ванну? Хотите?

Эвелин молчала, отвернувшись к стене. Коллинс подождал несколько секунд и, не получив ответа, вышел.

Как только он отошел с ведрами от дома, Эвелин подбежала к двери и, убедившись, что он скрылся из виду, спустилась с крыльца. Медленными полушагами она приблизилась к лежавшей в траве мине и склонилась над ней. Взрыватель она нашла рядом на обломке кирпича. Стараясь не дышать, она приложила взрыватель к мине и стала осторожно ее вкручивать. Дрожь в пальцах мешала ей. Пот заливал

глаза, но она не могла зажмуриться. Два раза она прерывала свое занятие и терла пальцы.

Наконец, она почувствовала, как винт дошел до основания. Серый проводочек, пересекавший дорожку к дому, угрожающе натянулся. Эвелин распрямилась, охнув от боли в спине, и пошла к крыльцу.

Войдя в дом, она сразу же поднялась на второй этаж, в маленькую спальню с забитым окном, и припала к аккуратно прорезанной в доске бойнице.

Коллинс вышел из-за поворота. Он нес два больших алюминиевых ведра, и заходящее солнце отражалось в металле и брызгах воды. Карабин болтался на груди в такт шагам. Он подходил к дому, то и дело поглядывая в конец улицы.

Когда до крыльца оставалось всего пять шагов, Эвелин повалилась на пол и, ожидая взрыва, инстинктивно закрыла голову руками.

А.ЕРЕМЕНКО

ГИПСОВЫЙ ШОК

Зачем собака лезет на плечо,
отбившись от знакомых ей собак,
и в ухо объясняет горячо,
как ей противно общество собак?

Зачем сомненья обмотав плащом,
иду опять один курить на бак?
Зачем тоска оранжевой свечой
стоит в глазах знакомых мне собак?

* * *

Сегодня я задумчив, как буфет,
и вынимаю мысли из буфета,
как длинные, тяжелые конфеты
из дорогой коробки для конфет.

На раскладушке засыпает Фет
и тень его, косящая от Фета,
сливаясь с тенью моего буфета,
дает простой, отчетливый эффект.

* * *

К. В-ку

Паром — большая этажерка.
И мысли — задом наперед,
Когда последняя проверка,
как гвозди в планку нас вобьет.

И как картавил молоток,
считая бритые затылки,
так и остались бескозырки
стоять чуть-чуть наискосок.

СОНЕТ БЕЗ РИФМ

Мы говорим на разных языках.
Ты бесишься, как маленькая лошадь,
а я стою в траве перед веревкой
и не могу развесить свой сонет.

Он падает, а я его ловлю.
Давай простим друг друга для начала.
Развяжем этот узел немудреный
и свяжем новый, на другой манер.

Но так, чтобы друг друга не задеть.
Не потревожить руку или ногу.
Не перерезать глотку, наконец.

* * *

Вдоль коридора зажигая свет,
и щурясь от пронзительного света,
войди, мой друг, в святилище сонета,
как в дорогой блестящий туалет.

Здесь все рассчитано на десять тысяч лет
и длится электрическое лето
над рыбьим жиром тусклого паркета,
чтоб мы не наступали на паркет.

Нас будут заворачивать в пакет.
Чтоб ноги не торчали из пакета.
Согласно положений этикета.

Но даже через десять тысяч лет
я раздвоюсь и вспыхну, как букет,
в руках у хмурого начальника пикета.

* * *

Блажен, кто верует, но трижды идиот,
кто на однажды выбранной планете,
презрев конфигурацию природ,
расставит металлические сети.

О Господи, чего еще он ждет?
Райком закрыт. Хозяин на обеде.
Слова бегут, как маленькие дети,
и вдруг затылком падают на лед.

Сощуря глаз, перекури в рукав,
что этот голубь, с облака упав,
что этот голубь, с облака упав,
наверно не зависит от условий,

где, скажем, размножается жираф...
И если мысль не равнозначна слову,
тогда зачем мы ловим этот кайф?

* * *

О Господи, води меня в кино.
Корми меня малиновым вареньем.

Все наши мысли сказаны давно,
и все, что будет — будет повтореньем.

Как говорил, мешая домино,
один поэт, забытый поколеньем,
мы рушимся по правилам деленья,
так вырви мой язык, мне все равно.

Над толчеей моих стихотворений
расставит дождик знаки ударений,
окно откроешь — а за ним темно.

Как скучен мир, в котором даже гений
зависит от числа соударений,
но это тоже сказано давно.

* * *

"Печатными буквами пишут доносы".
Закрою глаза и к утру успокоюсь,
что все-таки смог этот мальчик курносый
назад отразить громыхающий конус.

Сгоревшие в танках вдыхают цветы.
Владелец тарана глядит с этикеток.
По паркам культуры стада статуэток
куда-то бредут, раздвигая кусты.

О как они правильно смотрят вперед,
в пустое пространство глаза свои вперив,
уверовав твердо: "перед" — это "перед",
а, значит, не может быть наоборот,

О, как я люблю этот гипсовый шок
и запрограммированное уродство,
где гладкого глаза пустой лепесток
гвоздем проковырен для пущего сходства.

Марина ГЛАЗОВА

СИНИЙ ЦИФЕРБЛАТ

* * *

Как хорошо стоять на берегу!
И разбиваться о песок волною!
И разлетаться пеной по леску!
И, уступив волне, пойти босою

обратно в лес. Бродить в лесу. Или сесть,
закинув голову. Иль лечь пластом на землю,
закрыв глаза. И в солнечную сеть
ловить все то, что разум не приемлет.

Лицом в траве и в запахе земли.
Бегут мурашки в том и в этом смысле.
Бегут мурашки, скачут через пни —
препятствия и в той, и в этой жизни.

Глаза откроешь — синий циферблат,
где желтым шаром цифры проступают.

Гудит, гудит кузнечиков набат.
По ком гудит?.. О ком напоминает?..

В ушах стоит... стоит... морской прибой.
Земля, как раковина, — все в себя вбирает.
Мать-мачехой, подробной тишиной,
дыханьем розы дикой воскресает.

1975

* * *

Скажи, скажи, что у другого плохо.
Мне станет легче оттого,
что у другого ничего
не получилось, не сбылось,
что все по свету разнеслось,
развеялось, рассеялось,
разбилось, растеклось.

Скажи, скажи, что у другого так же.
Мне станет легче оттого,
что у другого все равно
все рухнуло, все кануло,
все снегом занесло.

Не говори, что все равно,
что все прошло уже давно,
что все забылось, замелось,
что все почти было сбылось.

Не говори, что время лечит,
не говори, что хорошо,
что у другого хорошо,
что у другого все прошло
и что теперь ему смешно.

Смотри, смотри, какой смешной!
Ему больней, ему страшней,
а он светлеет оттого,
что у другого хорошо,
что у другого все сбылось,
смечталось, сплакалось, слилось.

1966

* * *

Черно-зеленым выткано узором
на голубом дрожащем полотне —
о чем уста поведали лишь взору,
сомкнув себя в блаженной тишине.

Три полосы зелено-синей ткани.
Одна морская. Третья от небес.
Меж ними гор игольчато-хрустальных.
Три полосы, соединенных без

хитросплетений, воздухом прозрачным,
прикосновением, серебряной стрелой,
безумной гривой, точкой обозначенной,
в горячей розе золотой пчелой.

Залив Св.Лаврентия, 1975

* * *

Я боюсь победы.
С нею ходят беды.
С нею пораженье
ходит отраженьем.

Глубоко в колодце
блещут небеса.
Над травою вьется
острая коса.

И трава слезами
создает узор:
— Ведь в такой победе
затаен позор!

1975

* * *

Когда-нибудь и от тебя уеду я,
пристанище ты ласковое, нежное.
Я дом ищу и все никак не ведаю,
что в небе дом. Все остаюсь невеждою.

Твой лес на берегу в зеленом свете
еще раз подтверждает, что на свете
есть чудеса. Там нитями трава
переплетает волн морских слова.

Плетет в тиши чудесный свой ковер —
рисунком воплощенный разговор,
выводит терпеливо карту рая,
для птиц земных деревья выбирая.

КНИГИ ЛОНДОНСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА OPI

Владимир ВОЙНОВИЧ. Трибунал. Судебная комедия в 3-х действиях. Юмор и сатира на высоком художественном уровне. 76 стр. — 2 ф.ст.
Вольфганг ЛЕОНГАРД. Революция отвергает своих детей. 590 с. — 7 ф.ст.
Михаил ВОСЛЕНСКИЙ. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. Предисловие Милована Джиласа. 556 с. — 12 ф.ст.
Ален БЕЗАНСОН. Русское прошлое и советское настоящее Перевод с франц. А. Бабича. Предисловие М. Геллера 388 с. — 7 ф.ст.
Вадим ДЕЛОНЕ. Портреты в колючей раме. Предисловие В.Буковского. 217с. — 4.50 ф.ст.
Книге присуждена премия им.Даля за 1984 г.
Павел ТИГРИД. Рабочие против пролетарского государства. Сопротивление в Восточной Европе со смерти Сталина до наших дней. Перевод с франц. В.Рыбакова. 176 с. — 4 ф.ст.
Евгений НИКОЛАЕВ. Предавшие Гиппократа. 328 с.— 8 ф. ст.
Книга представляет собой ценное свидетельство о злоупотреблении психиатрией в борьбе с инакомыслящими.
Сергей СОЛДАТОВ. Зарницы возрождения. Опыт политической борьбы и нравственного просветительства. Предисловие А. Авторханова. Вст. статья Мартина Дьюхерста. 464 с. — 10 ф.ст.
Жорж НИВА. Солженицын. Перевод с франц. С.Маркиша в сотрудничестве с автором. 248 с. Альбом фотографий, библиография — 8 ф.ст.
Михаил ГЕЛЛЕР. Машина и винтики. История формирования советского человека. 320 с. — 8 ф.ст.
Дора ШТУРМАН. Мертвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина и Троцкого. 380 с. — 9 ф.ст.
Анатолий ФЕДОСЕЕВ. О новой России. Альтернатива. 335 с. — 7.50 ф. ст.
Феликс РОЗИНЕР. Некто Финкельмайер. 600 с. — 6 ф.ст. в мягком переплете, 7.50 ф.ст. в твердом
Книга удостоена премии им.Даля за 1980 г.

КНИГИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ВО ВСЕХ РУССКИХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:
Overseas Publications Interchange Ltd. 8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England
ТРЕБУЙТЕ БЕСПЛАТНО НАШ НОВЫЙ КАТАЛОГ

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ, КРИТИКА

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ЭССЕ О ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ

Субъективные заметки о будущем СССР

Поистине, пробил час западных кремленологов. Приход к власти Михаила Горбачева — самого молодого из советских правителей в послесталинской истории, побуждает их к множеству размышлений о будущем СССР. Немало в свое время было сказано о Брежневе, Андропове и Черненко. Но по причинам возраста все они в глазах экспертов были "временщиками", с которыми бессмысленно было связывать будущее. Другое дело — пятидесятичетырехлетний Горбачев, искусно переигравший своих соперников и, таким образом, пришедший к власти всерьез и надолго.

Впрочем, подход советологов к прогнозам остался тем же, что и раньше. Главное их слагаемое — это личность правителя, а исходный пункт всех их размышлений — неутихающая борьба в Кремле. В их лексике давно уже бытуют устойчивые понятия — "лагерь Андропова", "лагерь Черненко", "технократы", "догматики", "старики", "военные" и т.д. А поскольку никакой достоверной информации по этому поводу не поступает, то открывается возможность для бесконечных спекуляций на одну и ту же тему: как личность нового правителя скажется на будущем СССР?

Причем, если в большинстве своем западные прогнозы оптимистичны, то мнения эмигрантских прорицателей являют собой полную противоположность. Они утверждают, что режим в СССР из года в год ужесточается и медленно, но верно идет к сталинизму. И ни один из новых правителей тут не поможет, ибо все они на одно лицо, — все это аппаратчики, догматики, скрытые или неприкрытые сталинисты, от которых не приходится ждать ничего хорошего.

Но что примечательно — те и другие при абсолютно разных оценках исходят из одной и той же предпосылки — о всесилии кремлевских лидеров, которое каждому обеспечивается уже самим его постом — Генерального секретаря ЦК КПСС. Занявший этот пост автоматически оказывается на положении полубога — продолжателем дела Великого Ленина, выдающимся деятелем партии и государства. Думаю, что все это идет еще от Сталина. Его обожествление породило такую инерцию представлений о власти вождя, что с именами сталинских наследников стали связываться целые этапы последующей истории: "хрущевская оттепель", "косыгинские реформы", "брежневская Россия", "эпоха Андропова" и т.д. Факты, однако, говорят о том, что вся послесталинская история была историей ослабления партийных вождей и усиления партийной бюрократии.

За одну мысль о снятии Сталина можно было лишиться головы. Тогда как Хрущев лишился власти в результате сравнительно узкого дворцового заговора. В начале правления Брежнева Политбюро могло убрать его простым голосованием (другое дело, что он всех устраивал). В то же время самому Брежневу — хотя он и был уже генсеком, — пришлось пойти на долгие и сложные дворцовые интриги для того, чтобы избавиться от Шелепина. Что касается "верного ленинца" Черненко, то, по некоторым сведениям, Громыко его просто третировал, когда тот пытался вставить собственное мнение за столом переговоров. А однажды в присутствии иностран-

ной делегации, так на него цыкнул, что зарубежные гости (видимо, живущие устаревшими представлениями о силе генсека) почувствовали себя неловко.

Я бы не стал обо всем этом писать, если бы кремленологи не уделяли столько внимания личности Горбачева — его энергии, трезвому уму, стилю поведения и даже манере одеваться. Допустим на минуту, что наши эксперты правы и перед нами, действительно, советский лидер нового типа — "красный Кеннеди", как с легкой руки журнала "Штерн" его любят называть. Но многое ли он может? Велика ли в принципе власть нового генсека над его товарищами в Политбюро, которых он еще недавно услужливо встречал в Ессентуках и Кисловодске, будучи секретарем Ставропольского обкома партии? И почему его голос при решении даже текущих политических вопросов (не говоря уже о кардинальных) будет весить хоть на гран больше, чем, скажем, голос престарелого брежневца и догматика Виктора Васильевича Гришина, просидевшего уже эдак лет пятнадцать в Политбюро, или крайне правого националиста Романова, еще недавнего соперника Горбачева на его пути к власти. Такова реальная ситуация. Так что, если и допустить, что каким-то чудодейственным образом некий "красный Кеннеди" окажется на вершине партийной иерархии, то власти он получит ровно столько, сколько ему даст аппарат, исходя из своих классово-партийных интересов.

И ВОЖДИ, И ПЛЕННИКИ...

Словно предчувствуя возможность оппозиции, Горбачев срочно вводит в Политбюро своих людей — заведующих организационно-партийным и экономическим отделами ЦК Лигачева и Рыжкова, нынешнего председателя КГБ Чебрикова. По-видимому, не за горами время, когда он будет иметь в Политбюро абсолютное большинство и, таким образом, высший орган партии превратится в коллектив его единомышленников.

Допустим, что все они будут за широкие и неотложные ре-

формы. Но что же тогда? — Они обретут свободу действий? А если и обретут, то на что она им? Давайте представим такую сюрреалистическую картинку. На дачу к генсеку приезжают его давние друзья по Старой Площади — Лигачев, Рыжков и Чебриков (Горбачев и его соратники ведь тоже люди и наверняка собираются за рюмкой водки.) И вот слово за слово заходит разговор о кризисе, охватившем страну. Все они люди информированные и, конечно, знают, что хуже всего дела в деревне. В колхозах некому работать. Земли истощены. Перспектив на урожай никаких. Во многих областях давно исчезло мясо и молоко. Что-то надо предпринимать, но что? Созывать очередное заседание Политбюро? Что это даст? На другой день, вот также, за рюмкой водки, решили потолковать со стариками — позвали Громыко, Гришина,* Те вначале помалкивали, а потом развязались языки и у них: "Да что тут говорить, с колхозами — дело труба! Еще со времен хозяина, загнавшего туда крестьян. Но делать-то что?" Ответ вертелся у всех на языке. Пьяный Чебриков даже выматюгал в сердцах хозяина... Но даже в своем кругу никто не решился произнести вслух то, что само собой напрашивалось — о необходимости распустить колхозы. Как же это так — СССР без колхозов! А как же ленинский кооперативный план? А коллективизация? Да тут вся история партии пойдет прахом! Так и разошлись, ничего не придумав. И-таки собралось Политбюро, на котором единогласно приняли очередное постановление о развертывании всенародного социалистического соревнования навстречу семидесятой или какой там годовщине Октября.

Этой гротескной картинкой я лишь хотел подчеркнуть, что не такие уж идиоты сидят там наверху. И в глубине души каждый отдает себе отчет, в каком кризисном положении оказалась система. Но будучи ее плотью от плоти, впитав ее догмы с молоком матери, вознесенные ею на самый верх, они, разумеется, не видят иного выхода, как служить ей верой и правдой. Они — ее вожди и пленники. И как заведенные не перестают бубнить об исторических победах социализма, о

*Слово забелено типексом *(Д.Т.)*

его решающих преимуществах перед капиталистической системой, о насущных задачах коммунистического строительства и т.д. и т.п.

Таковы эти укоренившиеся нормы жизни, основанные не столько на власти личности, сколько на всесилии системы, которая способна переломить хребет любому лидеру, если тот вздумает взбунтоваться. История падения Хрущева — хороший этому пример. Можно сказать, что восстал аппарат, чью власть захотел ограничить Хрущев. А можно сказать, что это был бунт системы против лидера, не желающего ей подчиняться.

Вряд ли Михаил Горбачев, прошедший школу партаппарата и овладевший в этой области искусством высшего пилотажа, повторит ошибки Хрущева. И не столько старики-догматики, сколько инстинкт самосохранения заставит его десять раз подумать, прежде чем пойти на перемены.

АРЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ЭКОНОМИКА

Значит ли это, что Горбачев и его окружение не предпримут вообще никаких шагов? Действовать на пользу системе и не делать ничего — не одно и то же. Брежнев возвел консерватизм и бездеятельность в степень государственной мудрости. Результатом явилась столь глубокая стагнация, охватившая страну, что его преемник Андропов устремился в другую крайность. Последний, будучи тяжело больным, прямо-таки рвался взбурлить застойное болото, которое являла собой оставленная ему в наследство страна. И что примечательно, он пользовался абсолютной поддержкой брежневского окружения, хотя и разделался с рядом его сторонников, в том числе со всемогущим министром внутренних дел Щелоковым. Не парадокс ли: замахнулся на высших чинов номенклатуры, но номенклатура поддержала его. В случае с Хрущевым сломала лидеру хребет, а в случае с Андроповым вознесла его как руководителя ленинского типа, чьи заслуги навсегда останутся в памяти народа.

Хрущев действовал против интересов своего класса. Андропов — во имя этих интересов. И, если для этого требовались жертвы, партократия шла на них. Более того, она приветствовала их в полном согласии с марксистской доктриной: интересы класса выше интересов личности.

Но если это так, то почему же Андропова сменил Черненко, сторонник брежневских методов правления? У меня впечатление, что Черненко с самого начала выдвинули как фигуру временную, за спиной которого сторонники Андропова хотели перестроить ряды для дальнейших действий.

План действий был разработан при Андропове. И теперь пятидесятичетырехлетний Горбачев получил мандат на их реализацию. Так что не будем удивляться, если уже в ближайшее время он выступит в облике активного проводника реформ. Но реформ каких? — вот в чем вопрос. На этот счет существуют разные мнения. Одно из них, наиболее типичное, я хотел бы привести. Это мнение видного в прошлом советского историка, редактора журнала "Обозрение" Александра Некрича, который в одном из последних выпусков журнала писал: "Что бы ни делал новый Генеральный секретарь, что бы он ни обещал, что бы ни писали про него на Западе, критерием оценки его деятельности, а следовательно, намерений, может быть только одно — степень свободы, которой пользуются граждане Советского Союза".

Иначе говоря, деятельность нового лидера ничего не стоит, если она не коснется политических свобод. Так ли это? Мне кажется, что деятельность Горбачева ни при каких обстоятельствах не коснется политических свобод.

И не только потому, что в этом случае стеной поднимется партийная бюрократия, охваченная параноидальным страхом перед любой либерализацией. А скорее, потому что в России просто нет социальных сил, которые бы отстаивали идею демократизации страны. Как это ни прискорбно, но политика не интересует миллионы трудящихся, для которых все эти "права человека", "хельсинские соглашения" и прочее, ради чего диссиденты шли в тюрьмы и лагеря, пустой звук. Диссиденты же так и остались горсткой безумцев, безжалостно раз-

давленной сапогом КГБ. При том режим не просто одержал победу над инакомыслящими. Это была триумфальная победа. Хотя бы потому, что она была бескровной и достигнутой с молчаливого согласия миллионов равнодушных к их судьбе.

Массы не просто не хотят демократического переустройства СССР, — в своем большинстве они даже не знают, что это такое. Зато режим хорошо знает, что представляют собой советские трудящиеся, прошедшие более чем через полувековую мясорубку коммунистического оболванивания. И не потому ли он проявляет такую жестокость и обескураживающую наглость в своем отношении к инакомыслящим, например, к тому же академику Сахрову? Получается, что у партократии нет никаких мотивов для политических реформ, если не считать вегетарианских призывов Запада, с которыми советские власти давно уже научились не считаться.

Но значит ли это, что в СССР вообще не произойдут политические сдвиги? Нет, это значит только то, что этих сдвигов не хотят и боятся власти и что партия никогда не пойдет на них по собственной инициативе.

В одном из предыдущих эссе я пытался показать, что главные перемены в СССР происходят не по воле властей, а подспудно, порой вопреки ей, как непредсказуемый результат их неизменно "правоверной" деятельности.

Когда в 1956 году Хрущев выступил на XX съезде с докладом о культе личности, вряд ли он предвидел, что следствием этого станет развал коммунистического движения, или наступит "оттепель" в советской литературе, или вспыхнет Венгерское восстание.

Когда советское правительство в 1972 году выбросило из СССР горстку "сионистских отщепенцев", оно вряд ли подозревало, что своими руками положило начало мощному движению за выезд, получившему название третьей эмиграции и охватившему сотни тысяч людей.

С чего началась Пражская весна? С избрания первым секретарем ЦК КПЧ чрезвычайно близкого Москве Дубчека и его братских объятий с Брежневым. А во что она вылилась?

Или возьмите события в Польше, или, наконец, современный Китай!

В прошлом эссе я уже говорил о подземных водах, которые непрестанно подтачивают систему изнутри и когда-нибудь вырвутся на поверхность. Но у их мирных истоков трудно увидеть какие-то грозовые предзнаменования.

Партия все делает для того, чтобы укреплять режим, просто ее усилия вызывают множество непредсказуемых и весьма опасных для него последствий. Тут действует своя неуправляемая диалектика.

Вернемся, однако, к нашему прогнозу. Итак, если от Горбачева не следует ждать политических перемен, то экономика, напротив, не только может, но и должна стать сферой приложения его активности. Ниже я еще вернусь к тому, чем может обернуться эта активность, а пока заметим, что сегодня уже недостаточно говорить о жестоком экономическом кризисе, охватившем СССР. Опыт Венгрии и особенно Китая выдвигает на повестку дня вопрос о возможных путях выхода из него.

По их ли образцу, или по какому-то другому, но советская экономика настолько нуждается в переменах и их ожиданием настолько насыщена атмосфера страны, что, используя всем нам известный марксистский парафраз, можно сказать, что хозяйственная система СССР "беременна реформами". Смысл их, конечно же, не составляет секрета ни для Горбачева, ни для его окружения. Речь идет о внедрении в СССР — если не механизма рыночного хозяйства, то, по крайней мере, некоторых его элементов. Разумеется, в официальных кругах разговоры об этом ведутся в иной, чисто партийной фразеологии — расширение экономических методов руководства, повышение роли прибыли и рентабельности, расширение хозяйственной самостоятельности и т.д.

Вроде бы то же самое, что было при Косыгине* и ничем не кончилось. Но Косыгин еще мог ограничиться полумерами. Тогда еще под давлением партии, напуганной перспективой утратить полноту власти, можно было просто отступить, трус-

* Речь идет об экономических реформах середины 60-х годов.

ливо переложив бремя реформ на следующее поколение правителей. Теперь это поколение пришло, и ему уже не уйти от прыжка в неизвестность. И дело тут не в решительности или либеральных воззрениях Горбачева, а в безвыходной ситуации, в которой оказалась советская экономика. Настолько безвыходной, что партократия, некогда выступившая противником косыгинских реформ, на этот раз вполне может стать союзником Горбачева — просто из двух зол будет выбрано меньшее.

Впрочем, есть еще третий путь — то, что на нашем привычном лексиконе принято называть "закручиванием гаек". Теоретически Горбачев и окружающие его аппаратчики могут избрать его. Можно допустить, что некоторые из его окружения именно на нем и настаивают. Однако в сегодняшних условиях, когда советская экономика оказалась перед пропастью, путь этот вряд ли найдет поддержку у большинства. Хотя бы потому, что он не способен принести правящему классу уверенности в завтрашнем дне.

Выше я назвал экономические реформы прыжком в неизвестность. История еще не знает такого опыта, как сочетание монопольной власти партии с рыночным хозяйством. В Китае этот эксперимент принял беспрецедентно широкий размах — распускаются коммуны, восстанавливается частная инициатива, банки. Партийные лидеры открыто отказываются от устаревших марксистских догм. Трудно сказать, решатся ли на столь кардинальные меры советские руководители, которые куда глубже впитали марксистскую идеологию. Возможно, реформам Горбачева будет сопутствовать обострение внутренней борьбы, когда "старики" очередной раз взбунтуются против покушения на авангардную роль партии, как это уже было в косыгинские времена. И если, несмотря ни на что, Горбачев пойдет на перемены, то потому, что это будет единственный путь к спасению системы.

Нет сомнения, что первые шаги будут более чем осторожны — и каждое решение в экономической области будет сопровождаться заявлениями о необходимости укреплять руководящую роль партии. Думаю, что Горбачев и его окружение и впрямь уверены, что в условиях зрелого социализма, когда за спиной режима семьдесят лет неограниченного правления — вряд ли что-то окажется способным подорвать его силу, что партия и ленинский ЦК справятся с любыми трудностями — ведь нет такой крепости, которую бы не могли взять большевики. И если потребуется обуздать рынок, партия Ленина, конечно, не спасует. Но вот тут-то и возможен драматический просчет. Может сложиться ситуация, что, сделав ряд экономических шагов, власти выпустят джина из бутылки и уже не смогут загнать его обратно. Так, открыв шлагбаум перед свободным предпринимательством в деревне, они окажутся не в состоянии спасти разваливающиеся колхозы. Пленумы ЦК и дальше будут принимать "исторические постановления" об укреплении колхозов и развитии всенародного соревнования на селе. Но в жизни произойдут такие сдвиги, что уже не ленинский кооперативный план, а многократно преданный анафеме бухаринский лозунг "обогащайтесь!" обретет характер экономического закона, управляющего жизнью села.

Я понимаю, насколько схематичен мой прогноз. В жизни экономические преобразования, вероятно, будут носить куда более длительный, болезненный и половинчатый характер, чем это можно представить. Они могут вообще захлебнуться и закончиться изгнанием из ЦК "антипартийной группы" Горбачева и приходом к власти "верного ленинца" Романова. Я уже как-то говорил, что нет более рискованного занятия, чем прогнозировать будущее СССР. И потому снова хочу подчеркнуть, что рассматриваю лишь один из вариантов развития. Но сказав в рамках этого варианта "а", нельзя не сказать "б". И признав его возможным, следует признать и его непредсказуемые последствия, которые могут относиться к самым разнообразным сферам жизни.

В свое время нэп, допустивший в скромных масштабах частника, вопреки планам большевистских идеологов, вызвал к жизни небывалое оживление в литературной и художественной жизни страны, оставившее неизгладимый след в истории русской культуры. Таков уж механизм социально-экономи-

ческих законов, у которых собственная логика развития и которые способны выходить из-под власти самых всесильных правителей.

А ЧТО ЖЕ НА ВНЕШНЕЙ АРЕНЕ?

Трудно представить сколь-нибудь глубокие экономические реформы при неизменной внешней политике Советов. Достаточно бросить беглый взор в прошлое, чтобы установить такую закономерность: экономический кризис и холодная война в СССР по обыкновению сопутствуют друг другу. Но в каком направлении будет развиваться внешняя политика при Горбачеве? Ответ на этот вопрос меньше всего связан с жесткими заявлениями нового лидера, раздающимися из Москвы. Замечено, что ее непримиримость очень часто предшествует смягчению внешнеполитического курса. Куда важнее в этом смысле твердая линия Рейгена. Советский режим, чтобы ни заявляла его пропаганда, уважает сильных партнеров. К тому же и страх перед космической войной не может не умерять пыл самых воинственных ястребов в Кремле. Однако я бы не хотел углубляться в военно-политический аспект проблемы, который чаще всего является следствием определенных структурных сдвигов внутри страны.

Если мы хотим заглянуть в корень вещей, то должны вновь обратиться к хозяйственным реформам, которые могут решающим образом повлиять на отношения с Западом. И прежде всего на отношения торгово-экономические.

Введение даже элементов рыночного хозяйства — дело рискованное. Но осуществляемый еще со времен Сталина курс на модернизацию и технический прогресс будет, вероятно, сразу же взят на вооружение Горбачевым. И таким образом, необходимость в приобретении западного оборудования не может не встать на повестку дня. Тем более в условиях хозяйственных преобразований.

С другой стороны, любое расширение торговых связей с Западом благотворно воздействует на внутреннюю жизнь

СССР. Это школьная истина. Вопрос лишь в том, какие результаты наступят на этот раз, если иметь в виду ближайшее будущее.

Думаю, что тут могут наступить два рода последствий. Во-первых, — прямые, когда Запад в обмен на определенные торговые привилегии требует от Советов каких-то либеральных шагов в их внутренней политике. Ход еврейской эмиграции изобиловал примерами, насколько эффективен был нажим Запада, хотя любая уступка властей и сопровождалась шквалом фразеологии о том, что они никому не позволят вмешиваться в свои внутренние дела. Таков общий рисунок этой взаимосвязи. И потому весьма логично себе представить возобновление эмиграции — как прямой результат расширения американо-советской торговли. Трудно, однако, сказать, насколько массовой будет на этот раз эмиграция. Причем на ее сокращение возможно повлияет не противодействие властей, а совсем другие факторы, о которых стоит также сказать несколько слов.

Похоже, что само отношение режима к эмиграции за последние годы изменилось. Он уже не испытывает растерянности, которая была вызвана отъездом сотен тысяч людей. Ушло время, когда власти испытывали паническое ощущение: открой они ворота, — уедет едва ли не пол-России. Сегодня этого ощущения нет, а, напротив, появилась уверенность, что ни при каких обстоятельствах не уедет ни пол-России, ни четверть, ни вообще сколь-нибудь значительный процент населения.

И вопрос теперь скорее не в том, намерены ли власти открыть ворота, а в том, сколько за это готов заплатить Запад. То есть режим ждет предложений, но поскольку Запад не спешит, не спешат и в Москве и держат шлагбаум закрытым.

Но при каких-то обстоятельствах эти предложения поступят, и советские власти, по-видимому, проявят готовность к широким послаблениям, может быть, даже более широким, чем это было раньше. Это, конечно, не значит, что из России сможет уехать всякий, кто захочет, но, утратив сладость запретного плода, эмиграция не может не потерять и в своей

притягательной силе. Играет тут свою роль и обратная связь, то есть далеко не всегда оптимистичные письма идущие с Запада. И, если они к тому же будут приходить в страну, где "тронулся лед", то есть начались реформы — факторы, сдерживающие эмиграцию еще более усилятся. Поэтому не исключено, что в широко раскрытые ворота потечет лишь тонкий ручеек эмигрантов, главным образом родственников тех, кто уже уехал.

Но на этом не заканчивается цепная реакция. Утрата интереса к "райской жизни на Западе" и сокращение эмиграции вселит в режим еще большую уверенность, мало-помалу начнет улетучиваться страх перед приездом иностранцев в СССР. В частности, перед возвращением тех, кто в свое время покинул страну. В идеологическом смысле страх и опасения, конечно, останутся, но это будет скорее инерция страха, которая легко отступит перед прагматическими соображениями (приток валюты, возможности промышленного шпионажа и т.д.).

Пойдут ли власти на то, чтобы пускать эмигрантов обратно? Очень возможно — и не только по соображениям прагматическим, но, чтобы продемонстрировать Западу свои решающие преимущества: вот ведь сам ход истории на стороне первой в мире страны социализма, раз ее граждане не хотят эмигрировать и, напротив, приезжают обратно. И как бы новую жизнь обретет лозунг "нет таких крепостей, которые не могут взять большевики" — теперь уже не только внутри страны, но и за ее пределами. И снова не исключен роковой просчет. Если внутри страны рыночное хозяйство может стать джином, которого невозможно загнать обратно в бутылку, то на внешней арене такую опасность несут открытые границы. И тут наступят последствия второго рода. Нет, мы не дождемся такого дня, когда решением ЦК или Политбюро будет разрешен свободный выезд из СССР, свободное возвращение назад. Пленум ЦК в своих решениях будет, как всегда, долдонить об обострении идеологической борьбы и необходимости противостоять тлетворному влиянию Запада.

Но, если под звон этих пропагандистских фанфар СССР

де-факто будет становиться открытой страной, то этот путь (который, возможно, растянется на годы и десятилетия) сам по себе приведет к глубинным изменениям существующего режима. Так что может статься, что и новую жизнь Россия добудет не на баррикадах (о которых нет-нет, да и вспоминают иные из эмигрантских изданий) и не из рук либеральных правителей типа "красного Кеннеди" Горбачева, а придет эта жизнь незаметно, исподволь, в итоге длительного воздействия подземных вод, как неожиданный результат определенных, осуществляемых сверху социально-экономических реформ, может быть, даже под лозунгом дальнейшего подъема социалистической экономики. Важно ведь не то, что говорят советские правители, а то, как постепенно, может быть, вопреки их воле реально меняется жизнь страны.

Ефим МАНЕВИЧ

НУЖЕН ЛИ МОСКВЕ ИЗРАИЛЬ?

*Спор с "нетипичным" арабом**

Джамиль Хамад, нетипичный араб из Иерусалима, утверждает, что "Израиль — лакомый кусочек для России, и не потому, что она хочет его захватить, а потому, что без Израиля России нечего делать на Ближнем Востоке. Незачем посылать военных экспертов, некому продавать оружие".

Подобные убеждения имеют весьма широкое распространение в Израиле. Видимо, в результате многовекового увлечения мистикой, евреи вообще любят лелеять всевозможные тайные заблуждения, помогающие им выстоять в постоянной борьбе за существование.

Мне неоднократно приходилось беседовать с израильтянами, яростно доказывавшими, что в Израиле живет никак не меньше пяти миллионов евреев и их истинное число тщательно скрывается от всего мира еще со времен английского мандата. Никакие ссылки на статистические данные из разных областей, включая рождаемость, количество работающих и результаты выборов, не помогали.

* См.: В.Радуцкий. "Разговор с "нетипичным" арабом. "Время и мы", №81. 1984.

Еще более распространен миф о тайном израильском оружии, которое в последний момент (а все принимают в расчет такую возможность) остановит любую арабскую армию. Именно поэтому столь велико было потрясение войны Судного дня, когда оказалось, что на самом деле ничего скрытого и всемогущего нет. Есть только прекрасные, храбрые солдаты и отличное конвенциональное оружие. И даже линия Бар-Лева, расписанная специалистами как "неприступная", на деле оказалась лишь группой разрозненных и запущенных в хозяйственном отношении бункеров.

Этот экскурс в мистику души типичного или нетипичного израильтянина понадобился нам для того, чтобы лучше понять природу их повального заблуждения в отношении истинных намерений Советского Союза.

Попробуем все же проанализировать ситуацию с тем, чтобы дать ей более реалистическую оценку.

Стратегический баланс "Израиль — Арабский мир" складывается явно не в пользу еврейского государства. С одной стороны, на клочке земли, едва различимом на карте, расположено государство с менее чем тремя с половиной миллионами евреев, с двадцатью тремя с половиной миллиардами долларов внешнего долга, без нефти и каких-либо значительных природных богатств, с армией в триста пятьдесят тысяч солдат. С другой стороны, на территории, превышающей площадь Европы, еврейскому государству противостоят более ста миллионов арабов, имеющие двадцать два голоса в ООН, владеющие более чем половиной мировых запасов нефти и сотнями миллиардов петродолларов. Покойный Моше Даян оценивал величину арабской армии, противостоящей Израилю в 1973 г., в один миллион двести тысяч человек. Правда, за евреями всегда признавалось качественное преимущество, однако ныне даже такой опытный разведчик — генерал Аарон Ярив предупреждает, что в течение двух-трех лет это качественное превосходство перейдет на сторону арабов.

Как видим, не только Советский Союз, но и многие демократические государства могут поколебаться в своей склонности поддерживать Израиль при наличии такого баланса.

Вместе с тем, в Советском Союзе к этому добавляется еще один немаловажный фактор: традиционный и органический антисемитизм советского руководства.

Русские поддержали в ООН идею создания государства Израиль в 1948 году по вполне понятным причинам: их целью было вытеснение Англии с Ближнего Востока и превращение Израиля в марионетку СССР типа нынешней Кубы.

Бен-Гурион глубоко разочаровал и обидел Сталина. Последний поддерживал еврейское государство до такой степени, что даже дал возможность многим летчикам — выпускникам Качинского военного училища репатриироваться в Израиль, и именно они заложили основу нынешней прославленной израильской авиации. Война за независимость была выиграна с помощью советского оружия, которое потоками шло в Палестину через Чехословакию. Советские газеты сурово осуждали арабских агрессоров, напавших на мирное еврейское государство, и на десятках карикатур типа нынешних красовались орлиные семитские клювы, только тогда они принадлежали "арабским стервятникам".

Первый израильский посол в Москве г-жа Голда Меир первоначально была радушно встречена в домах многих советских руководителей, а с женой тогдашнего министра иностранных дел В.М.Молотова, еврейкой Полиной Жемчужиной, даже подружилась. Однако очень быстро Сталину была доложена следующая картина: еврейское государство вовсе не собиралось стать советским вассалом и послушным исполнителем желаний Москвы. Более того, советская еврейская интеллигенция открыто демонстрировала свой интерес и привязанность к еврейскому государству, а многие видные артисты, художники, ученые даже выразили желание репатриироваться.

Реакция Сталина была, как всегда, быстрой и жестокой: физическое уничтожение цвета еврейской интеллигенции, закрытие еврейского театра, газеты "Дер Эмес" и резкое охлаждение отношений с Тель-Авивом.

С этого момента курс Советского Союза на Ближнем Востоке начал меняться.

Если бы Бен-Гурион обладал большей прозорливостью, он мог бы сочетать политику уступок и самостоятельности и не допустить резкого разрыва с Москвой. Однако опьяненный достигнутыми успехами и верой в силу евреев во всем мире первый глава Израиля совершил одну из судьбоносных для еврейского народа ошибок, продемонстрировав Сталину свою абсолютную солидарность с западным миром и неприятие советского диктата. Трудно сказать, что было бы лучше для Израиля. Однако нынешняя ситуация, когда еврейское государство осталось свободным и демократическим, но обремененным непосильными военными расходами, бесконечными жертвами в войнах и террористических актах и жизнью на осадном положении, тоже не представляется особенно сладкой. Одно несомненно: если бы израильтяне стали советскими сателлитами, как чехи или поляки, например, им не пришлось бы отстаивать свое право на жизнь. На сегодняшний день Израиль стал бы общепризнанным фактом, и никто в мире не осмелился бы угрожать его существованию. Возможно, какой-нибудь еврейский Дубчек затеял бы "Тель-авивскую весну", но кончилось бы это тем же, чем в Праге.

Все это, однако, лишь спекуляции, и остается дать ответ на более практический вопрос: нужен ли Москве Израиль?

Для того чтобы ответить на него, необходимо уяснить один важнейший принцип внешней политики СССР на всем протяжении его существования. Когда русские заявляют, что они против войны, можно им поверить. Советское руководство во всех критических ситуациях принимало экстренные меры для избежания прямого военного столкновения с Западом и, прежде всего с Америкой. Вспомним хотя бы первые дни войны с Германией. Даже когда немецкие танки находились на советской территории, а фашистские самолеты бомбили Киев, Сталин все еще верил и надеялся, что войны удастся избежать. Хрущев во время кубинского и берлинского кризисов отступил в тот момент, когда ситуация пришла на грань войны.

Исключением могут служить советские атаки на несравнимо более слабого противника, как, например, Финляндия или Афганистан.

Но в обоих случаях СССР имел гарантию невмешательства со стороны своих главных противников: Германии в конце 30-х годов и США теперь.

Другое дело — войны междоусобные, трактуемые марксизмом как "революционные". Здесь советские руководители никогда не упускали случая таскать каштаны из огня чужими руками. Куба, Вьетнам, Северная Корея и организация Арафата служили и служат Москве послушными "раздувателями" пожаров во всех точках земного шара. Советские солдаты, как правило, не принимают прямого участия в военных действиях, зато оружие и советников русские поставляют в избытке.

Таким образом, сформулируем основополагающий принцип советской внешней политики: предотвращение любой ценой военного конфликта с Западом, но всемерная поддержка, поощрение и провокация локальных кризисов и "революционных" войн.

Если исходить из указанного принципа, Израиль представляет собой несомненную помеху СССР.

Общая ненависть к Израилю служит на сегодняшний день единственным объединяющим фактором, сдерживающим арабов от междоусобных войн. На примере Ливана или ирано-иракской войны можно увидеть, что межисламская вражда и арабские междоусобицы по своей жестокости и непримиримости не уступают конфликту с Израилем. Войны между Ливией и Египтом, Сирией и Ираком не вспыхнули пока еще только благодаря наличию у них общего врага. По той же причине до сих пор не свергнуты королевские режимы в Иордании и Саудовской Аравии. Можно не сомневаться, что, если бы не Израиль, священная война "джихад" неминуемо вспыхнула бы с целью свержения хашимитских режимов. Легко представить себе, какую силу приобрели бы арабские террористические организации и, прежде всего Арафат. Вряд ли нашлась бы в среде арабов реальная военная сила, могущая противостоять им в партизанской войне. Нет сомнения, что Америка, травмированная вьетнамской войной, и западные страны остались бы в стороне от этих конфликтов, так же, как сегодня они не вмешиваются в ливанский кризис и ирано-иракскую войну.

Советский Союз выиграл бы в этой игре все, не потеряв ничего. Поставляя оружие всем враждующим сторонам и искусно возбуждая конлфикты, Москва приобрела бы полное господство на Ближнем Востоке. Свергнув с помощью Арафата неугодных ей правителей и насадив повсюду своих марионеток типа афганского Бабрак Кармаля, кремлевские руководители наконец-то получили бы возможность открывать и закрывать нефтяные краны по своему усмотрению со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Уничтожение Израиля — это ключ к достижению Советами мирового господства. Пропагандируя идею создания еврейского государства, Теодор Герцль обещал западным странам, что это государство будет играть роль "сторожевого пса" Англии и Франции на Ближнем Востоке. Декларация Бальфура была провозглашена не из-за любви англичан к евреям и тем более не из-за их сочувствия сионизму. И Англия, и Франция, а ныне США прекрасно понимают чрезвычайно важную роль Израиля в охране существующего мирового порядка.

Можно себе представить, какую злобу и бешенство вызывает это обстоятельство в Москве.

Еще Хрущев высказал Насеру недоумение по поводу того, как это сто миллионов арабов не могут сбросить в море три миллиона евреев.

Русские начиная с 50-х годов всегда прилагали и будут прилагать усилия к уничтожению Израиля. Вспомним, что в критический момент войны Судного дня Брежнев подстрекательски заявил, что СССР не будет возражать, если арабские страны перейдут нынешние границы Израиля. Было бы наивно предполагать, что советский генсек не понимал, к чему бы это привело: к физическому истреблению трех миллионов евреев.

Советские дипломаты в общем-то и не скрывают в частных беседах, что является истинной целью СССР в отношении Израиля. Кажется, бывший израильский посол в ООН Йосеф Текоа рассказал о беседе с высокопоставленным советским чиновником в ООН, в которой тот прямо заявил, что Изра-

иль в конце концов исчезнет с карты Ближнего Востока. На вопрос "Так что же делать евреям?", — чиновник цинично ответил: "Молиться своему Богу".

Беспрецедентная по своей злобности антисемитская пропаганда, официально проводимая в СССР, преследует цель подготовить общественное мнение к "окончательному решению" еврейского вопроса на Ближнем Востоке и, возможно, внутри советского блока. Трудно себе представить, как после десятилетий упорного отрицания всяких отношений с Израилем, унизительной антисемитской пропаганды, политики изгнания Израиля из всех международных организаций, Москва вдруг сменит гнев на милость, и израильский представитель снова появится в советской столице.

Тот, кто мечтает об этом, просто прячет голову под крыло, а "нетипичные арабы" умело поддерживают это заблуждение.

Израильтяне предпочитают верить успокаивающим заявлениям Громыко о соблюдении интересов всех государств на Ближнем Востоке, хотя цена советских обещаний и подписей под договорами хорошо известна.

Однако, положение не так уж и безнадежно. Еврейское государство, видимо, не возникло бы до прихода Мессии, если бы на Ближнем Востоке не было бы нефти. Вероятно, по той же причине не так-то легко будет и уничтожить Израиль.

При правильной политике наращивания военной силы, прежде всего путем создания мощных неконвенциальных средств уничтожения, Израиль сможет обеспечить себе роль равного партнера в переговорах с арабами. Военная сила позволит ему сохранить баланс в отношениях с соседями. В то же время, пока существует опасность мирового конфликта, а наличие нефти такую опасность постоянно создает, Советский Союз не вмешается в конфликт непосредственно, с тем чтобы осуществить заветную мечту и уничтожить Израиль собственноручно.

В нынешней, быстро меняющейся ситуации трудно предусмотреть, какие неожиданные факторы могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Но, как тонко заметил Эфраим Кишон, в Израиле никто не верит в чудеса, но все на них надеются.

Ефим ЭТКИНД

О СУМРАЧНОЙ РОССИИ

*Читая Бориса Хазанова**

Книга Бориса Хазанова росла медленно; чтобы созреть, ей понадобилось около пятнадцати лет (судя по датам, стоящим под отдельными частями-очерками). Глубина, серьезность, чуть ли не благоговейность мыслей, которые высказаны с осторожной точностью, допускающей уступки, варианты, колебания, придают книге надежную устойчивость. Говорю — "благоговейность", потому что Борис Хазанов с трепетом взирает на истины, малые или большие, которые, открываясь ему, требуют словесного воплощения; это порою безнадежно, формула не дается, ее заменяет притча, эпизод из древней истории, сравнение, цепочка образов, вереница метафор. На вопрос, что такое демократия, Хазанов отвечает: "...Демократия — это такое общество, где смеются над авторитетами, где не чтят святынь, где не кланяются портретам, не обожествляют алебастровых идолов, не поют хором, не шагают в ногу, не ликуют по расписанию, не сморкаются по приказу, общество, которое находит особое удовольствие в том, чтобы ставить

* "Идущий по воде", Мюнхен, 1984.

под сомнение все свои институты и всегда спрашивает себя, оправдывает ли оно свои вывески, общество, удивительная особенность которого состоит в том, что там не поощряют доносов, не превозносят посредственностей, не преследуют оригинальность, не карают за талант, не рассматривают юмор как государственное преступление, — и при этом оно каким-то чудом продолжает жить. Демократия — это маленькая Греция, которая выставляет триста воинов, и эти воины умудряются защитить ее от варварских полчищ; это кораблик Франции, который качается на волнах и не тонет; демократия — это богатырь в одежде шута, которому пепел отца стучит в сердце, но никто об этом не знает, это дворец, в котором сидит король, нацепив на себя желтую шестиугольную звезду, и ничего с этим глупым королем не поделаешь; демократия — это то, до чего мы с вами не доросли и никогда не дорастем, потому что время роста давно миновало. Демократия — это юность, а тирания — гнусная старость" (с.114-115).

Ритм и стиль этих фраз характерен для книги. Первая — открыто публицистическая, исполнена гнева — отрицания накатываются друг на друга, как волны: ...не чтят... не кланяются... не шагают... не ликуют... не сморкаются... не поощряют... не карают... и каждое из них подобно удару бича; во второй катятся волны повыше, помощнее — это волны не гнева, а восхищения и любви — к воинам Леонида, положившим головы за Элладу, к родине республиканских свобод — Франции, к отважному скомороху Тилю Уленшпигелю, легендарному борцу с тиранией, к королю Дании, спасшему от нацистских убийц евреев своей страны. Наконец, краткая, резкая, из пяти слов, фраза, завершающая все предыдущие отрывистым аккордом, простой и неотразимой метафорой, противопоставляющей юность — гнусной старости, демократию — тирании. Это — содержательное, насыщенное разнообразной информацией рассуждение о политической природе демократического порядка и в то же время проклятие казарменному строю, издевка над ним и гимн демократии, звучащий с нарастающей торжественностью, словно его исполняет симфонический оркестр, который с плавной решительностью меняет регистры и объем звучания.

Такова проза Б.Хазанова: декларативная и поэтическая, она подчинена одновременно научной мысли, публицистической страсти и музыкальному ритму. Борис Хазанов не допустит случайного и небрежного оборота, шаткого образа, безвкусного, банального эпитета: он взвесил на ладони каждое слово, проверил на слух, на глаз и на вкус каждое сочетание. Все эти фразы и звуки — жизнь писателя. Он постоянно возвращается к признанию того, что русский язык — его страна, его родной дом. "В море обломков единственное, за что я могу уцепиться, это русский язык. Веру в язык я противопоставляю вере в народ — в умершего Бога... Вообразить себя в среде, где умолкла русская речь, я не в силах. Русский язык — это и есть для меня мое единственное отечество. Только в этом невидимом граде я могу обитать" (52).

Эти строки датированы 1974 годом, когда автор был москвичом и об отъезде не думал — он был категоричен: "...я ощущаю эту страну физически, как ощущают близость очень дорогого человека... Мысль о новом супружестве меня не привлекает. Для этого я слишком намучился в первом браке, да и слишком прирос к своей старой жене" (42). Прошло более десятилетия, — Бориса Хазанова, как многих других, принудили уехать из страны своего языка, теперь он окружен немецкой речью. Она ему не чужая — это язык близких ему писателей: Франца Кафки, Томаса Манна. Ему многое внятно; в отличие от большинства своих соотечественников он чувствует себя свободно в открытом, понятном и многоцветном мире европейских культур: латынь и греческий, французский, немецкий и английский — это его богатство и его утешение. И все же: "Безумие мое бредит по-русски". Под пером Бориса Хазанова такое признание особенно ценно — ведь у него был (и есть) выбор: он мог захотеть, как захотели другие, позабыть свою свирепую мачеху, а вместе с нею ее погибающий, изуродованный, деревенеющий язык. Нет, он сохранил неколебимую преданность "невидимому граду", "единственному отечеству". В разных очерках, составляющих книгу, он возвращается к идее патриотизма — что это такое? Какова его нравственная ценность? Прежде всего, решительно заявляет

Хазанов (вслед за другим недавним эмигрантом, Бертольтом Брехтом, цитируемым в его книге), поколение советских людей, "искалеченное страхом, ни в чем не продемонстрировало так свою увечность, как в своем понимании патриотизма. Ведь ему и в голову не приходило, что любовь к родине ничего не стоит, если известно, что родину нельзя покинуть. Оно не могло усвоить ту очевидную для нормального человека мысль, что условием любви может быть только свободный выбор возлюбленной и что принудительность патриотизма умерщвляет самую идею привязанности к отечеству" (43-44). В отношении русского языка Борис Хазанов сделал выбор и остался верен себе: как бы он ни любил другие культуры и языки, отказ от русского был бы для него равен отказу от творчества. Выбор этот еще и потому многозначителен, что в общепринятом смысле Борис Хазанов — патриот сомнительный. "Я привык стыдиться этой родины, где каждый день жизни — унижение, каждая встреча — как пощечина, где все — пейзаж и люди — оскорбляет взор" (49). Стыдно за страну, где "было двенадцать миллионов заключенных, и у каждого был свой доносчик, следовательно, в ней проживало двенадцать миллионов предателей" (49) ."Россия, которую я вижу вокруг себя, мне отвратительна" (52). После этой фразы следует та, которую я привел выше: "Но вообразить себя в среде, где умолкла русская речь, я не в силах". А после предыдущей — про то, как он "привык стыдиться этой родины" — сказано: "Но тайное чувство шепчет мне, что этот стыд есть род извращенной любви".

Можно ли питать одновременно отвращение и любовь? Ненависть и нежность? Это и есть сердцевина трагического мироощущения Бориса Хазанова. Как элементарен и в то же время ложен выход, который нашли другие: люблю Россию, ненавижу коммунизм. Православная святая Русь вечна и прекрасна, коммунизм ей навязан извне, импортирован с Запада, придуман инородцами, космополитами, антипатриотами, ненавистниками страны, которую "в рабском виде Царь небесный исходил, благословляя". Для этих других есть безвинная Россия и есть отделенное от нее, враждебное ей советское зло.

Христу противостоит Дьявол, России противостоит коммунизм. Говоря об этом искусственном рассечении, Борис Хазанов неожиданно становится насмешлив, даже язвителен: "Хотите быть патриотом? Это, ей-богу, не так трудно. Отрастите бороду, научитесь изъясняться веревочным языком, усвойте огородную терминологию, почаще склоняйте имя Божие и не уставайте объяснять бездуховному Западу, что он немощен и сгнил изнутри, до основания проеден червем либерализма, атеизма, рационализма и марксизма. Вашей ultima ratio да будет ссылка на безгрешную голубиную Россию — какой она была когда-то, какой она в некотором высшем смысле остается и по сей день" (25-26). Как было бы соблазнительно простое деление на Добро и Зло, на ихних и наших, на ненавистных и возлюбленных... В действительности же все куда сложнее и страшнее, чем соблазн "представить революцию и коммунизм как несчастный случай, чужеродную инфекцию, проникшую в здоровое тело России" (73), ибо "человек, вскормленный и вспоенный советской властью, вкусивший всех ее благ, может оказаться носителем и всех тех качеств, которые принято считать национальными... Советский, неотделимый и неотчуждаемый компонент, будет присутствовать везде" (23). Борис Хазанов не считает сочетание "Советская Россия" оскорбительным — оно "для нас, — утверждает он, — звучит естественно" (22), да и слово "советский" — "не бранное слово. Оно просто значит: такой, как есть" (22-23). Нет на свете голубиного народа-богоносца — в наши дни существует некий реальный "сверхнарод", называющийся "советским", и это понятие, "нравится или нет, больше всего соответствует понятию, обозначаемому в европейских языках словом "нация" (23). Во всем этом утешительного мало, но историко-социальные факты таковы, и будущему нашей страны фальсификация не поможет. Любить Россию, ненавидя ее, бесконечно труднее, чем любить воображенный народ, ненавидя придуманное метафизическое зло.

Возьмем историческую аналогию — Германию тридцатых-сороковых годов. Представим себе искреннего немецкого пат-

риота, который хотел бы обелить свой народ и противопоставить ему нацистский режим, порожденный метафизическим злом. Кого можно было бы обвинить в смертных грехах немецкого фашизма? Французов? Но им немецкий национализм добра не сулил. Евреев? Но Гитлер их истреблял. Большевиков? Вот разве что... Или, как поступают теоретики в ГДР, капиталистов: Круппов и Стиссенов. Как бы то ни было, в войсках СС и отрядах СА служили немцы, и за Гитлера в 1933 году голосовали немцы. Этот факт не порочит нынешнее молодое поколение немцев, не порочит он и германской истории. А все же современные жители Германии не без оснований твердят о коллективной вине старшего поколения, — тех, кто исступленно кричал "Хайль". Нужно ли забывать о тех, кто в те же и другие годы с неменьшим исступлением возглашал "Да здравствует..."? Амнистировать их — за русскость?

Бориса Хазанова влечет к себе старая проблема: природа русской интеллигенции. Он хочет понять этот единственный в своем роде социальный и культурный феномен, черты которого трудно определимы: поиски смысла жизни (которые "дороже самой жизни" — 62), одержимость главными вопросами бытия, духовное одиночество и муки больной совести, сочетание "идеализма с беспочвенностью" и, как следствие всего этого, униженное поклонение народу, едва ли не идолопоклонничество, доходящее до мазохистского самобичевания и самосожжения. Но вот важная мысль Бориса Хазанова: русская интеллигенция, сохранившая свою преданность культуре, прошла через горнило революции и только теперь, пережив несколько десятилетий истребительной бюрократически-имперской реакции, "от одного наследственного недуга, по-видимому, исцелилась: от веры в "народ" (74). С этим связан и другой, более далеко идущий вывод: "...она не чувствует себя более обязанной ни власти, ни народу, не испытывает желания быть чьим-либо слугой, не стремится удобрить собой национальную почву, но начинает /.../ ощущать себя истинным субъектом истории" (75).

Причин такого сдвига в самосознании интеллигенции, по Б.Хазанову, по крайней мере, две: она ничего не забыла, но

многому научилась, приобретя уникальный исторический опыт и пройдя через ад всеобщей лжи советского общества (..."как будто все сговорились говорить друг другу неправду, только неправду, ничего, кроме неправды" — 32), это первое. А второе — исчезновение того народа, в который она так долго веровала, как в Бога. В этом смысле Хазанов категоричен: "Вера в святость "почвы" питалась убеждением в исключительности этого народа, единственного, кто устоял перед сатанинским соблазном западной цивилизации. И что же? Четверть взрослого мужского населения — хронические алкоголики, десятая часть — платные осведомители. Ах, лучше об этом не говорить" (232). Да, говорить мучительно, но Б.Хазанов все снова возвращается к этой болезненной точке: к народу, который при тоталитарном режиме (в отличие от деспотического) — прямой пособник власти, который "с одинаковым спокойствием пойдет... и на подвиг, и на злодеяние" (233), которому ничего не жаль, потому что "ничто ему не принадлежит ни в его стране, ни в его семье..." "Этот человек, — подчеркивает Хазанов, — не аномалия и не выдумка хулителей русского народа, это человек массовый" (234).

Последний пункт — один из немногих в этой книге, вызывающих мое сомнение и даже, пожалуй, несогласие. У Бориса Хазанова огромный опыт советский жизни — опыт лагерника и народного врача; он видел то, что дано не многим. У меня опыт войны, общения с бойцами и офицерами; часть его умозаключений справедлива, — но я свидетельствую: в русском солдате живут (по крайней мере, сорок лет назад жили) чувства высокого товарищеского долга, честь, отвага, юмор, бескорыстие, удивительный идеализм. Лучше других об этом рассказали Виктор Некрасов ("В окопах Сталинграда") и Василий Гроссман ("Жизнь и судьба").

Борис Хазанов с понятной горечью спрашивает: "...где же этот народ, этот сеятель и хранитель, перед которым русское искусство, русское слово, русское вольномыслие и русский консерватизм стояли на коленях сто пятьдесят лет, ради которого они самосожглись и невесомым дымом вознеслись в небо вечности" (160-161), он удручен тем, что перед ним "че-

ловек-толпа", которому "ничего не стоит перейти от заискивания к волчьему рыку"... "Народ, Божье тело... Это тело превратилось в людскую кашу, в фарш, который по утрам выдавливается из дверей метро" (158). Еще одна цитата: "Вот мы и глядим, махнув рукой на "народ", а вернее, перестав узнавать свой народ в той неопределенной аморфной безликой массе, которую видим вокруг себя" (196). Читаю эти безнадежные, отчаянные строки и вспоминаю блиндажи Карельского фронта — как непохожи наши впечатления! И еще вспоминаю стихи Галича — например, песню про шофера и его начальника, который после автомобильной катастрофы в госпитале "дал упаковочку"; шофер говорил о нем зло — его в том же госпитале иначе лечат, "создают персональный уют", но, когда начальник умер, шофер думает не об этих его нелепых привилегиях, а о том, как вдвоем "под одной кожаночкой" они "ночевали не раз и не два" и пережидали бомбежку. "Нет, ребята, такого начальничка мне, пожалуй, уже не найти..." В шофере живо благородное чувство воинской солидарности, которое сильнее социальной вражды. Аморфная, безликая масса? Может быть, нужна обстановка войны, чтобы в людях проявилось лучшее (а порой и худшее — но и это не безликость!).

Скажу еще вот что: все, что говорит Хазанов о советском "массовом человеке", "человеке-толпе" я видел во Франции — тот же "фарш", та же "людская каша" выдавливается из метро; тот же, если не более злобный, "волчий рык", внезапно вырывающийся у раздраженного обывателя, чей покой нарушен плачем ребенка или лаем собаки в соседней квартире — а если еще там живут "метеки", инородцы, так он и с ружьем ворвется... Разница одна: французского простолюдина ни Бальзак, ни Золя, ни даже Мопассан не возводили в перл творения, не именовали богоносцем и во имя его не самосжигались. Конечно, если искать в русском мужике Платона Каратаева, то возьмет отчаяние — его нет, да, наверное, и не было; кроме самого этого толстовского героя. Если же поглядеть на него непредвзято, то ничуть он не хуже и не лучше французского батрака, разве что работать отучился: колхоз

развратил. Алкоголиков же и во Франции немало — статистика страшна. Да и доносчики в годы оккупации не были редкостью.

Что и говорить, советский режим развратил людей, подчинив всех без исключения одному-единственному хозяину и внушив всем без исключения панический страх перед его гневом или даже немилостью. Страх стал преобладающим чувством, подавившим честь и совесть. Не по мерзкому ли соединению страха и наглости в лице, манерах, голосе узнаем мы советских людей на Западе? А все-таки воздержимся от обобщений: достоинство подавлено, но не удушено. Крестьяне, ремесленники, грузчики не стали безликой серой массой, как интеллигенция не стала и никогда не станет "образованщиной". Какое пакостное слово! Вот пример, когда доказательства заменены самодельной бранью, имеющей целью не только оскорбить, но и — натравить. Борис Хазанов иначе говорит о народе: с болью и тоской.

Словом, рассуждения о распаде народа мне представляются ошибочными, вызванными, может быть, своеобразием личного опыта Бориса Хазанова. Это не мешает его общим выводам быть справедливыми. А выводы эти сводятся к следующим утверждениям: "Роман интеллигенции с народом окончился бракоразводным процессом". "От "почвы" ничего не осталось, следовательно, и с почвенничеством, со всей этой мифологией, основанных на овощных и ботанических аналогиях, делать больше нечего. Старые штаны износились до дыр. Люди мысли и знания, "образованщина" — это и есть наша единственная почва, единственная надежда" (234). Повторю: эти утверждения представляются мне правильными не потому, что народ якобы деградировал до неузнаваемости, а просто потому, что — наконец-то — развеялся вредный, как всякая националистическая иллюзия, миф о русском мессианстве, о народе-"богоносце", о святой Руси и ее избранности. Интеллигенция встала с колен, потому что народ, как оказалось, ничем не отличается от своих соседей; на долю его выпало, пожалуй, больше испытаний, но страдания не способствуют святости. Иногда он кажется нам лучше других, — но это, вероятно, иллюзия.

вызванная отсутствием или запретом статистики. Так, во Франции публикуются кошмарные цифры — о детях, подвергаемых истязаниям, избиениям, сексуальным издевательствам: их многие тысячи; малолетние девочки, растленные отцами — их ведь тоже немало. А сколько сутенеров, которые всеми формами террора заставляют подростков, оказавшихся в их власти, оставаться в безропотном подчинении! Можно ли сравнивать? Нет — о наших нравах мы не знаем ничего. Иногда что-нибудь проскользнет в газетном судебном очерке или в документальном повествовании, но из отдельного случая выводов не сделаешь. В какой степени у нас распространена проституция? Есть ли проституция детей, ставшая общественной язвой на Западе? Мучают ли детей в России? Вопросов множество — ответов мы не знаем; да и знают ли власти в СССР? Может быть, и от них скрывают правду об обществе — недаром советская социология влачит бедственное существование. Может быть, советский народ хуже, чем о нем думают, а может быть, лучше: без демократии нет самопознания, мы ничего не узнаем до "московской весны", наступление которой неминуемо.

Проблема интеллигенции связана для Бориса Хазанова с еврейской. Антисемитизм, по его мнению, имеет значение отнюдь не локальное: это — "всечеловеческая школа зла", "антисемитские выкрики есть вызов, бросаемый всем людям, а не одним только евреям", потому что "судьба евреев — это /.../ парадигма человеческой судьбы" (237). Между тем в современной России "мы находимся в поле антисемитизма" (219). Хазанов и сам еврей, не только не отрицающий своего еврейства, но и гордящийся им. Все же он решительно настаивает на своей (нашей!) принадлежности к российской культуре и на ее принадлежности нам, как ее носителям. Нас пытаются отлучить от нашего отечества, самозванные радетели "русской идеи" в упоении от своей родословной клеймят презрением "инородцев", и им лучше Хазанова не ответить: "Мне глубоко безразлично, что скажут о людях, подобных мне, патриоты с бородами из пакли, в лаптях, украденных из этнографического музея. Я ходил в таких отрепьях, какие

им и не снились. И пусть черт унесет мою душу, если я не имею права повторить слова, сказанные другим человеком и на другой земле: "Где я — там русский язык, там русская культура" (218). Скажете — нескромно отождествлять себя с Томасом Манном? Дело не только в том, что писатель и мыслитель Борис Хазанов имеет на это право, а еще и в том, что так может (и должен) чувствовать всякий российский изгнанник, который осознает свою личную ответственность за язык и культуру, живущие в его памяти и в его деятельности.

Впрочем, Борис Хазанов делает еще один шаг, — цитируя строки другого русского интеллигента и еврея — Осипа Мандельштама. "И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане". И Хазанов комментирует: "Русская почва — это ведь не последняя глубина. Наши корни, пронизывая ее, уходят дальше — в иные, древнейшие, геологические пласты". И о Мандельштаме: "Кабы не эта тоска — убежали бы туда. Мы принадлежим не только этим холмам, не только России, и в этом все дело" (218).

"Убежали бы туда" — в Тоскану, из Воронежа, но "...тоска не отпускает". Нынешние правители, хозяева "воронежских холмов", распорядились по-своему: выкинули — кого в Тоскану, кого — в Мюнхен. Не пропадем! Тосканские холмы — всечеловеческие. В книге Бориса Хазанова живет счастье быть европейцем, хотя он и не в силах избавиться от "ясной тоски", полстолетия назад сосавшей душу Мандельштама, а более полутора — Пушкина, который, даже обретя далекую новую отчизну, не избавился бы от настоящей; не в этом ли смысл строк:

...под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

В советской печати и литературе до сих пор превозносится роль Андропова как выдающегося руководителя, пытавшегося железной рукой навести порядок в стране. Автор статьи "Пляски у заветной черты", пришедшей по каналам самиздата, пытается ответить на вопрос, как личность Андропова и его эпоха отразились в массовом сознании советских людей и какие новые тенденции появились в связи с этим в советской литературе.

МАРРАН

ПЛЯСКИ У ЗАВЕТНОЙ ЧЕРТЫ

Одним из сюжетов поэмы Алишера Навои "Искандерова стена" послужила смерть Александра Македонского. В русском поэтическом переводе конца поэмы нет. Академик Конрад пересказывает его так. "Искандер умер. Согласно его предсмертной воле тело везут для погребения в его любимый город — Египетскую Александрию. Везут в гробу... И из гроба высовывается рука с открытой горстью... Ничего в этой руке нет. Высовывающаяся из гроба рука с открытой горстью — художественный образ поразительной силы".

Этот действительно яркий образ, символизирующий бренность земных начинаний, вспомнился мне в феврале 1984 года, когда в Москве от Колонного зала к Кремлевской стене плыл в гробу на орудийном лафете закаменевший на зимнем ветру белый профиль очередного советского диктатора.

Телевидение разносило на всю страну речи с Мавзолея, рыдающие взлеты и ритмические повторы траурной мелодии, показывало плотную безмолвную толпу, шеренги руководителей государства, в строгом порядке идущих за лафетом, — приметы правительственных похорон наивысшего ранга. Могила у Кремлевской стены обозначала конец пятнадцатимесячного андроповского правления.

Оно началось с так называемой борьбы за трудовую дисциплину, попыток привязать людей к их рабочим местам, мгновенно выродившихся в полицейские облавы на улицах, которые, впрочем, хватило ума скоро прекратить, а кончилось направленной уже из больницы запиской в ЦК о непомерном разбухании государственного аппарата. Говорят, подсчеты Совета министров показали, что вполне можно уволить четверть миллиона человек с годовым фондом заработной платы примерно в миллиард рублей.

Что в промежутке? Крутое прекращение всякого инакомыслия. Жесткий диктат в идеологической сфере — в литературных журналах ни одного свежего слова за весь год, цензура свирепствовала, как никогда. Некоторые, далеко не первостепенные перестановки в партийно-государственном аппарате. Попытки борьбы с коррупцией — несколько сот отданных под суд чиновных взяточников. Все внешне, формально, не затрагивая сути явлений, не опускаясь в их глубину.

Какой толк трубить о необходимости дисциплины, когда людям из-за дезорганизации производства половину дня просто-напросто нечего делать на своих местах. А сокращать в этих условиях государственный аппарат — значит уподобляться хирургу, срезающему жировой слой с огромного, дряблого, неподвижного тела в надежде таким способом вернуть ему здоровье и гибкость.

Всякие ожидания реформ — экономических, социальных, уж боюсь сказать, политических, оказались тщетными. Как смешны кажутся сейчас первоначальные упования на личность диктатора — умен, четок, английский знает, в теннис играет, с венгерским опытом знаком... Началось вульгарной полицейской акцией и кончилось обыкновенной канцелярской запиской. Плывет на промозглом февральском ветру крупный белый профиль. Бредут за гробом правящие геронты.

И все же что-то прояснилось за эти пятнадцать месяцев.

Весь траурный день брожу по городу, вслушиваюсь в говор и настроение толпы. Из обрывков разговоров, реплик, из воспоминаний о реакции на те или иные события, пытаюсь воссоздать восприятие массовым человеком личности покойного диктатора, представить себе, каким он останется в памяти народной.

Предыдущей зимой, когда на улицах проверяли документы, а газеты, радио и телевидение призывали соблюдать трудовую дисциплину, в толпе можно было услышать: "Давно пора... С нами иначе нельзя... Распустились... Такой уж мы народ".

А сколько радостных эмоций вызвал смертный приговор директору Елисеевского магазина: "Наконец-то. Стрелять надо. Зажрались". Естественно, среди этих облегчающих душу восторгов довод, что ущерб от любой взятки или растраты не стоит человеческой жизни, просто не воспринимался, отскакивал, как от стены: "Стрелять надо. Конечно же стрелять. Зажравшихся магазинщиков. Взяточников-чиновников. Рыночных кавказцев. Спекулянтов и перекупщиков".

О, святой гнев толпы. Как важно умело использовать его! Попробуй, не останови, не переключи вовремя эту стихию. Захлестнет и режиссеров. Но останавливать и переключать за семь десятилетий научились. Опасность войны. Необходимость монолитности перед лицом внешнего врага. "Твердый был человек Юрий Владимирович, и в международных и во внутренних делах. Твердый, четкий, честный. Жаль, мало правил".

За таким народным настроением встает и главное, всепоглощающее чувство — тоска по порядку. Как сложно, противоречиво и всеобъемлюще это чувство, как много разных предрассудков, воспоминаний и надежд вбирает оно в себя.

"При Сталине не воровали и на работу не опаздывали. Попробуй, опоздай — под суд пойдешь. А снижение цен каждый год было".

"Главное в социалистическом хозяйствовании — плановая дисциплина".

"Это что ж при Хрущеве-то творилось! Что ни день, то реорганизация. Заснешь при министерствах, проснешься при совнархозах".

"К чему нам изыски в искусстве? Что для Запада хорошо, то для русского человека плохо. Писать надо проще, чтобы рабочему было понятно".

Голоса рабочего и ученого, конторского служащего и партийного идеолога — разные социальные слои объединяет мечта о порядке, претворяемая в зависимости от рода деятельности, образования, воспитания в свой идеал общественного устройства.

Напряженные размышления об этом идеале, стремление хоть как-то объяснить истоки этого растлевающего душу порядка вещей, когда нормальный, рвущийся к работе человек поставлен в положение ловчилы, бездельника, стали в последние годы одной из главных тем советской культуры. Исследовать ход подобных размышлений, явственно ощутимых в литературе и публицистике, театре и кинематографии при всей потаенности и двоемыслии нашей общественной жизни, значит прикоснуться к коренным вопросам современного российского бытия.

ВЕРИГИ БАТАРЦЕВА

Сюжет снятого по сценарию Александра Гельмана фильма "Премия" реален и искусственен одновременно, бригада строителей в знак протеста против простоев отказывается от неправильно выписанной, по их мнению, премии. Управляющий трестом Батарцев пытается на заседании парткома объяснить беспорядок нехваткой материалов и другими объективными причинами. Именно по этим причинам тресту снизили план, за перевыполнение которого и получена премия. Однако бригадир Потапов доказывает, что есть много неиспользованных возможностей. Старый план мог быть выполнен, и, значит, премия не заслужена, ее надо вернуть. Его поддерживает секретарь парткома Соломахин. Участники заседания голосуют за предложение Потапова.

Подобный сюжет, с его борьбой хорошего с отличным, характерен скорее для сороковых годов. Драматургическая схема фильма сконструирована с соблюдением всех правил советских идеологических игр. Поступком Потапова движет забота о государственных интересах. Он — сознательный рабочий, в исполнении известного актера Леонова — такой обаятельно простой, трагически искренний — и есть высший судья. И члены парткома вынуждены признавать его нравственный авторитет.

Придуманность истории очевидна. Однако по мере развития действия все яснее видится, как сквозь идеологическую заданность проступает горькая правда жизни. И мы осознаем, что ради возможности хотя бы частично, вполголоса сказать о ней, автор конструирует привычную схему, делает всевозможные политические ужимки и реверансы, наводя марафет на жутковатый лик советской действительности.

В самом деле, о чем идет речь на заседании? Люди хотят получать не подачки за благомыслие и смирение, а плату за труд, которая, будь он нормально организован, намного превысила бы нынешний заработок, даже вместе с этой злополучной премией. Перед нами бунт, но бунт на коленях. Лишенные права на забастовку, возводимую в ранг антигосударственной акции, рабочие своим отказом от премии, в сущности пытаются привлечь внимание к издевательскому характеру их труда.

Дело, однако, не только в бунте бригады, но и в реакции парткома. В этой реакции — главные заповеди системы, выработанные многими десятилетиями оглупления народного сознания, явной и тайной борьбы со всевозможными проявлениями личного, самодеятельного начала.

Собравшиеся еще не знают о том, что Потапов располагает цифровыми данными о скрытых резервах всего треста. Вместе с тем факты Потапова бесспорны. Партком реагирует на них единодушно. В ход пускается лозунг: "Не обобщать". Да. У тебя на площадке беспорядок, но зачем же говорить обо всем тресте? Откуда тебе, рабочему, известно, как обстоят дела на других площадках? "Как можно с бухты-барахты давать оценку всему тресту?!"

Цель здесь — для одних сознательная, для других бессознательная — сбить с толку, пришить ярлык, обвинить в противопоставлении себя коллективу. А это для советского человека обвинение сокрушительное: коллектив всегда прав. Приводи сколько хочешь негативных фактов — все это частности, главное, не обобщай. Самозащита системы действует жестко и автоматически.

Не удалось, не сработало. Человек устоял. Вступает в силу другой метод: купить. Конечно, не просто вульгарно купить. Мы не на базаре. С людьми надо работать умно.

Как же это — умно? А вот как. "Я попрошу сегодня Виктора Николаевича, — обращается Батарцев к начальнику управления Черникову, куда входит бригада Потапова, — сделать все возможное, чтобы в этой бригаде простои сократились до минимума. Я прошу тебя, Виктор Николаевич, обратить особое внимание на эту бригаду. Дай ей все что надо. Дай!"

Это жесткое и требовательное "Дай" на мгновение приоткрывает перед нами дверь в кухню взаимоотношений правящего слоя общества с его низами. Не просто пряник, сменяющий кнут, а пряник — приманка, пряник — объект пропаганды. Создать особые условия для одной бригады, одного рабочего и трубить о рекордах, укорять его примером других, строить "потемкинские деревни" так называемого соревнования — таковы классические приемы советской идеологии.

Лики событий, образов в фильме зыбки, двоятся, то выказывая жгуче знакомое, наболевшее воспоминание, намекая и дразня правдой, то уходят в линейный мир схемы, перерождаясь в плакат.

Автор то приближается, то отпрыгивает от заветной черты, за которой начинается отрицание устоев системы, правдивый трезвый анализ истоков ее бед, совершая некие шаманские пляски.

При внимательном рассмотрении главная фигура фильма не Потапов, образ которого олицетворяет глас народа, глас божий, а управляющий трестом Батарцев. Батарцев тоже жертва. Ведь его заставили возводить комбинат "задом напе-

ред", без подземных коммуникаций, дорог, строительной базы. Он не хотел, а его заставили — таков аргумент Батарцева, своего рода последняя карта, что выкидывает он на стол в споре с Потаповым. Тем самым управляющий утверждает, что он лишь винтик, лишь игрушка в руках всеохватной силы высшей государственности, заставляющей людей вопреки своему нравственному чувству безоглядно подчиняться навязанным срокам, темпам, планам.

В сущности, творчество Гельмана — одна драма, где в рамках повторяющейся производственной коллизии (стройка, необходимость любой ценой сдать ее в срок) происходит столкновение добра и зла, а идея насилия государства над человеком, персонифицируемая в руководителе более высокого ранга, делает судьбы и страсти роковыми.

Рок — в предопределенности, заданности поведения Батарцева, в полном отождествлении и подчинении системе и, в конечном счете, освобождении каждого от ответственности. Никто из них не виновен, их заставили, так сложились обстоятельства.

Послушайте выступление любого высокопоставленного советского чиновника. Руководитель Госплана охотно признается в недостатках планирования. Министр пищевой промышленности — в нехватке продовольствия, путей сообщения — в неритмичных перевозках. "Социальное господство, — пишет Зиновьев в "Зияющих высотах" — в условиях, когда нет никакой иной силы, от которой оно зависело бы существенным образом, порождает систему бесхозяйственности, безответственности, обезличенности".

Разумеется, обезличенность надо понимать не буквально. Она проявляется прежде всего в логике поведения, диктуемой правилами игры.

Когда становится ясно, что большинство участников заседания проголосует за предложение Потапова, Батарцев кричит: "Почему так получается: он — за, ты — за, а я — против? Почему ты такой свободный человек, а я весь в цепях, в веригах?! Почему?" И тут мы подходим к главной движущей пружине размышлений драматурга о природе советской действительности — анализу психологии власти.

Вериги Батарцева — вериги власти. Надев их, человек попадает в капкан отношений, привилегий, обязанностей. Обратного хода нет. Потерять власть — значит потерять себя, свою личность. Дело не только в материальных благах, которые дает эта власть. Они существенны лишь на первом этапе борьбы за нее и лишь тогда кажутся целью или одной из целей борьбы. "У меня два костюма — и мне хватит их до смерти. У меня язва желудка, я ничего вкусного съесть не могу" — кричит герой пьесы "Наедине с собой" Андрей Голубев жене, которая требует, чтобы он отказался от своего поста и начал новую жизнь.

Бросить все он не может не потому или, вернее, не только потому, что ему жалко высокой зарплаты, премий, машины. Он никто вне своей должности, положения, карьеры. Вот почему так мучителен уход на пенсию любого советского высокопоставленного чиновника. Вот почему так цепляются за власть престарелые лидеры страны, ни на минуту не расставаясь с врачом, надрывая остатки сил в мучительных церемониях, лишь бы умереть на посту.

Никогда еще властолюбие не выказывало себя с такой чудовищной силой вопреки здравому смыслу, инстинкту самосохранения, как в наше время в советской государственной системе. Созданная теми, кто поставил перед собой одну единственную цель, — любой ценой удержать власть, эта система в течение почти семидесяти лет выводила особую породу людей.

Старческие маски, возникающие перед нами на мавзолее в дни государственных празднеств и похорон, кажутся мне олицетворением чистой эманации власти, проистекающей из какого-то мистического источника и заставляющей людей жить и действовать по ее законам.

Когда Батарцев рассказывает парткому, как он сопротивлялся насилию начальства ("втолковывал, доказывал, даже матом ругался"), заставляющего его строить "задом-наперед", Потапов спрашивает, а почему же он не отказался от должности. Ему снисходительно растолковывают: пришел бы другой управляющий и выполнил приказ. Наличие достаточного количества людей, готовых выполнить любой приказ власти и

есть главное условие тоталитаризма. Тоталитарный режим в нас, в наших душах, а мы растворены в нем, хотим того или не хотим.

КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ РОССИИ

Но в "Премии" Гельман лишь подходит к анализу механизма власти. В телевизионном фильме "Мы — нижеподписавшиеся" все явственнее и страшнее. Сценической площадкой здесь служит вагон поезда. В нем возвращаются домой после несостоявшейся приемки хлебозавода облисполкомовские чиновники — члены приемной комиссии. Главный диспетчер управления, строившего завод, Шиндлин, всеми силами пытается уговорить их подписать акт. Попутно выясняется, что сдача завода используется управляющим трестом Грижилюком для расправы с поступившим на этот завод самостоятельно мыслящим Егоровым. За Грижилюком стоит его покровитель — заместитель председателя облисполкома Иван Иванович. Никого из них мы не видим. Они как бы за кулисами действия, по мере развития которого зритель все явственнее ощущает чудовищную мафиозность жизни верхушки типичной среднерусской области, с ее тайными интригами, звериными законами, уничтожением всего неординарного.

Егоров, как любой положительный персонаж советской литературы, и в этом фильме наиболее слабый образ. Но вот Грижилюк — он-то живой, реальный, за ним множество жизненных прототипов. Здесь и фамилия-то жесткая, хищная — Грижилюк. Он знает, когда грызть, перекусывать горло, а когда ласкать и поддерживать. Он тонок и искусен в науке использования человеческих слабостей. К нему можно обратиться с бедой, разбудить ночью телефонным звонком, если заболел сын, и он "сядет на телефон" и, подняв своих людей, устроит ребенка в лучшую больницу. Он спасет от суда вашу жену, сбившую за рулем пьяного старика, коль скоро вы нужный человек. За это надо платить только одним — преданностью, готовностью идти за ним на что угодно.

Западному читателю прекрасно знакомы такого рода взаимоотношения, знаком и образ Грижилюка. Это же дон Вито Корлеоне, герой "Крестного отца", умный, жестокий и обаятельный руководитель нью-йоркской мафии.

Как же все-таки правы наши идеологи, не дав нам возможности прочитать эту книжку (она ходит по рукам в переводном самиздате), увидеть фильм (его показывали на закрытых просмотрах для изобранных). И здесь им не изменило политическое чутье. Ассоциации очевидны: повадки, основанные на знании человеческого характера, его дурных, а порой и положительных черт у главаря нью-йоркской мафии те же, что у руководителя советского строительного треста.

Председателем комиссии по приемке хлебозавода посылают Юрия Николаевича Девятова, бывшего военного юриста, известного своей принципиальностью. Посылают после долгого перерыва, когда его, казалось, уже навсегда отстранили от подобного рода деятельности. Когда-то, вопреки указанию, он не принял недостроенную животноводческую ферму, вызвав руководящий гнев. На хлебозавод Девятова отправляют, ничего не говоря о подоплеке дела. Здесь его принципиальность сработает в нужном направлении. Честность тоже может служить мафии. Завод-то с недоделками, вот и проявляй свою принципиальность. Главное — направить ее в нужное русло. И так во всем. Хочешь бороться за мир? Борись! Но только в рамках управляемого правительством движения. Попробуй, организуй свое, пусть даже и с лозунгами, близкими к официальным, как это сделали несколько московских интеллигентов, создав "группу доверия", — сметут, ошельмуют, раздавят под любым предлогом. Всякая неуправляемая самодеятельность — угроза тоталитарному государству.

Разгадав в конце действия начальственный замысел, Девятов все-таки подписывает акт. Это бунт оскорбленного достоинства, что сродни бунту бригадира Потапова, не желающего получать премиальные подачки вместо честно заработанных денег.

Характерно, что хлебозавод во всех этих играх как бы исчезает. Будет ли он пущен, будет ли работать, — никого

не интересует. Сам по себе он никому не нужен. Не власть — производное дела, а дело — производное власти.

В столкновении интересов дела и власти всегда побеждает власть. Подтверждение этому — вся наша новейшая экономическая история. Любые реформы останавливаются на том самом этапе, на котором дальнейшее их развитие посягает на интересы режима. Так было в промышленности в конце шестидесятых годов, то же происходит и в сельском хозяйстве в восьмидесятых. Всякие разговоры об экономической самостоятельности завода бессмысленны, ибо пирог власти неделим.

Финал фильма трагичен. Обессилевшие после взрыва страстей люди идут по перрону в предрассветных сумерках. Они понимают: ничего хорошего их не ждет. Система сложившихся отношений незыблема. Пирамида власти несокрушима. Грижилюк, над ним зловещей тенью нависает Иван Иванович. Над ним другие, огромные тени, нависшие над всей страной.

КТО ВИНОВАТ?

Я уже писал выше о свойственных драматургии Гельмана заданности, схематической расстановке добра и зла, попытках подмалевать жизнь. Избавиться от подобных устремлений российскому литератору крайне трудно. Внутренний цензор сидит в нас глубоко, редактирует на стадии жизненного наблюдения, замысла, развивая до крайности искусство камуфляжа, уменье сказать и не сказать, а уж если и сказать, то после правдивого, обличительного эпизода непременно прислониться к могучему плечу положительного героя. Пусть он не реален, выдуман, зато всегда поможет оправдаться перед власть имущим, который приложит к твоему замыслу идеологическую догму.

Удивляться надо не такому двоемыслию нашего искусства, а тому как все-таки сквозь внутренние и внешние ограничения прорываются произведения честные и глубокие. Их, правда, единицы. Но они есть.

...Среднерусское лето. Небольшой районный город. Река. Березы. Дома с палисадниками. Здесь все знают друг друга сызмальства. Однажды в эту семейную атмосферу вторгается нечто жесткое, чужое. Из областного центра приезжает следователь Ермаков, чтобы выяснить обстоятельства железнодорожной аварии. По мнению города, да и живущего в одном номере гостиницы с Ермаковым журналиста Малинина, здесь и расследовать нечего. Был геройский поступок машиниста местного депо Тимонина. Увидев несущиеся навстречу поезду платформы, он не выпрыгнул из кабины электровоза, как это сделал его помощник, а тормозя, принял удар на себя и погиб, спасая пассажиров. Город устраивает Тимонину торжественные похороны. Малинин пишет о нем очерк. Именем машиниста хотят назвать депо. На примере героя будут воспитывать молодежь. Так зачем же бросать тень на подвиг? Искать виноватых, омрачать светлую печаль людей? Но следователь — сухой, неприятный — допрашивает, ищет, копает...

Следствие о крушении — сюжет фильма режиссера В.Абдрашитова и сценариста А.Миндадзе "Остановился поезд" завязывает в сложный узел несколько глубинных социально-исторических линий нашего сегодняшнего существования.

Конечно, платформы пошли под уклон не сами по себе. Под них не подложили второй тормозной башмак. "Никогда второго не ставили, — кричит следователю мастер Пантелеев, — мало ли что там пишут в инструкциях. Если по инструкции, вообще дорогу надо закрыть".

Мы еще не раз услышим это слово — "инструкция". Постепенно оно превращается в нашем сознании в символ всего казенного, чужого, альтернативного мирному, доброму патриархальному миру районного города.

В начале семидесятых годов в польской печати после очередной волны забастовок разгорелась дискуссия на тему, а могут ли поляки систематически и производительно работать. Сама постановка вопроса была продиктована очистительной тенденцией, попыткой трезво оценить национальный характер. В сущности, тот же горестный вопрос лежит в основе размышлений авторов фильма "Остановился поезд". А могут ли в

России нормально работать? Не только запускать спутники, создавать армию, а растить пшеницу, скот, водить по графику поезда, держать слово, делать дело — как положено современной цивилизованной нации?

Бригадир Потапов из "Премии", а вместе с ним и драматург Гельман считают, что могут, если бы власть не мешала. Но ведь власть, она не чужая, не заморская, а своя, родная. Вот начальник депо Голованов. Всю жизнь прожил он в городе, всю жизнь — в депо. Был помощником машиниста у отца Тимонина, а сам погибший герой учился у него. Он свой среди своих, и как же естественно, органично его поведение, как искренне горюет он о Тимонине. Впрочем, он так же искренне входит в положение механика, обязанного проверить приборы на электровозе: "Бывают в жизни людей бытовые обстоятельства. Ну, предположим, свадьба сестры накануне. Пришел с тяжелой головой. Что с ним делать?" Отпустил, и, не глядя, подписал акт о выходе на линию электровоза с неисправными тормозами. Лето. График горит. Кто же знал, что такое случится?"

А те, кто над Голововым — хозяева города — по-русски красивая женщина с четкой вежливостью манер — председатель райисполкома; мужчина с властным лицом, судя по всему, секретарь райкома. С какой патриархальной непосредственностью говорят они следователю: "Что-то ты больно разгулялся..."

Они обязаны оградить город от посягательств на его спокойствие ретивого и бестактного законника. Никого не интересует, почему произошла авария, как в фильме "Мы — нижеподписавшиеся" никого не интересовало, будет ли работать хлебозавод. Это неважно. Не надо волновать людей. Да, не подложили тормозной башмак. Пусть это правда. Но ваша правда нам не нужна. Сами во всем разберемся, сделаем выводы. И город хочет того же: "Уезжайте, — просит следователя вдова машиниста. — Я ничего не прошу. Виноват — не виноват, это теперь без разницы. Разве не понимаете вы?"

Город убивает привязавшуюся к Ермакову бродячую собаку. Город ненавидит следователя. Не надо никакой правды.

Неважно, почему произошла авария. Мастер Пантелеев, не подложивший башмак, уже умер от инсульта, так чего же еще? Только уезжай поскорее.

Тематическая линия единодушия ленивых, беспутных детей и умных, властных отцов, ограждающих своих подданных от чужеродных вторжений, сложна, значительна и уводит нас к истокам формирования наших общественных отношений.

Фильм "Остановился поезд" вышел в 1982 году, в конце тридцатилетия, прошедшего после смерти Сталина. В эти десятилетия страна приходила в себя, отдыхала после периода войн и многолетнего жесточайшего террора. При всех бедах брежневско-хрущевской эры нельзя не отметить главного ее положительного качества: человек не подвергался репрессиям, если он не выступал в открытую против власти. Свободы ему не дано, но, усвоив законы системы, не нарушая основных ее запретов, он может спокойно жить.

Смысл общественного договора, негласно заключаемого в социалистическом обществе между властью и народом, прост: народ отдает свои права и политические свободы в обмен на минимальные жизненные блага, получаемые за минимальный труд. До поры до времени это устраивает всех. Но по мере ухода в историю ужасов войны и террора появляются новые материальные и духовные потребности, заставляющие искать дополнительные блага. Их не может обеспечить законный заработок, получаемый за бездельный труд.

У правящих слоев подобные устремления порождают коррупцию, неслыханную в сороковые-пятидесятые годы. Тогда выбора не было. Или ты у власти и у тебя есть все — пайки, пакеты со второй зарплатой, машина, или ты отставлен от власти, что означает нередко и физическую гибель. Материальные ценности не играли в таком случае особой роли. Они существовали для тебя, лишь пока ты у власти. Брежневские времена все смягчили. Появились возможности пользоваться радостями жизни, покупаемыми за деньги, возможности в какой-то мере обеспечить себя и семью даже после падения, отставки, ухода на пенсию. Лагерь и пуля не стояли над судьбою страшным призраком. Хотелось жить.

В низших слоях общества, лишенных возможностей пользоваться для собственного блага пирогом власти, рост потребностей рождал вторую экономику — огромный и разветвленный рынок услуг и вещей. Именно таким путем человек обретал некоторую экономическую свободу.

В сфере духовной жизни самовыражение личности происходило на путях укрепления национальных чувств, развивающихся тем интенсивнее, чем больше девальвировались официальные идеологические догматы. Эти чувства, допускаемые в той мере, в какой они не угрожали политическим интересам государства, давали специфическую окраску патернализму власти, особенно заметному на селе, в малом и среднем городе.

Отцы города, которых мы видим в фильме "Остановился поезд", — типично русские властители. Прекрасно усвоив приемы и терминологию современного советизма, они вместе с тем сохранили в своем облике и манерах корневые черты ("Что-то больно разгулялся").

Продолжая и расширяя аналогию, вспомним, что и в портрете дона Вито Корлеоне явственно проступают национальные итальянские черты. В основе деятельности сицилийской мафии, перенесенной на американскую почву, также лежат патриархальные начала — преданность младшего старшему, ответственность старшего за младшего и многие другие черты уходящие корнями в историю южно-европейского феодализма.

Характерно, что и в Советском Союзе мафиозность как бы возрастает по мере движения с севера на юг. Недаром медуновщина, крайняя моральная деградация руководства целого края, приведшая к неслыханной даже для Советской России коррупции и связанная с именем секретаря Краснодарского крайкома Медунова, расцвела именно на Кубани — южной окраине России.

Такого рода мафиозность была невозможна в сороковые — в начале пятидесятых годов. При Сталине власть была настолько сконцентрирована в руках одного человека, что секретарь обкома или райкома оказывался куда более уязвим, чем чиновник низшего ранга. Государственная дисциплина

держалась на наказании. Именно такую, основанную на страхе перед лагерем или пулей, дисциплину народное сознание теперь воспринимает как способ ограничения власти на местах. Подобная аберрация исторического зрения естественна для страны, никогда не знавшей демократии.

Однако то, что удавалось Сталину с его гениальной политической изворотливостью, оказалось недоступным для Хрущева, низвергнутого как только партийный аппарат начал терять чувство стабильности. Брежнев прекрасно усвоил уроки своего предшественника. При нем каждый секретарь обкома ощущал себя удельным князем. Укреплялись земляческие связи, порождая своеобразный и ранее невиданный трайбализм. Могущество того или иного министра, партийного чиновника нередко держалось на родстве, которое ореолом окружало всю возглавляемую им отрасль или регион. Трайбалистские интересы учитывались не только при назначении на должность, но и при распределении средств, в оценке итогов работы. Главным здесь опять-таки были не столько интересы дела, сколько личная преданность покровителю. А уж кто преданнее родственника, земляка, друга детства!

Власть теряла свою мистическую окраску, всегда свойственную ей в России, становилась более приземленной, обладала теми же, что и рядовой человек свойствами — житейской трезвостью, мещанским конформизмом и, главное, бешеной жаждой жизни. "Живи и жить давай другим", — вот истинный лозунг времени.

Образ следователя Ермакова емкий, глубокий, противоречивый в фильме. Вот он появляется в номере провинциальной гостиницы с железными кроватями и кафельной печкой в изразцах. Мы видим его глазами журналиста Малинина — аккуратный, подтянутый, сухощавый областной чиновник среднего ранга.

Встретились по случаю в командировке два русских человека одного возраста, круга, воспитания, даже живут в своем областном городе, как оказалось, по-соседству. Ужинают вместе, умеренно выпивают, говорят о том, о сем, но, конечно же, о главном событии, к которому причастны оба — об аварии.

Однако относятся они к этому событию по-разному. Малинин видит в нем прежде всего подвиг машиниста, спасшего и его жизнь (журналист ехал в этом самом поезде), Ермаков — цепь безответственных действий многих людей, в том числе погибшего машиниста. Расхождение их позиций определяется в первый же день.

— Многие в душе сочувствуют правонарушителю, — роняет вечером усталый Ермаков, столкнувшись с привычным противодействием своей работе. — И не жалуют следователя, если говорить честно. Так уж повелось с давних пор.

— Ну, вероятно, потому, что ваш брат фабриковал иногда действительно мифические дела, — отзывается Малинин.

— Наш брат или ваш брат — это еще вопрос! — произносит с усмешкой Ермаков.

Так начинается этот диалог, которому суждено стать идейным стержнем картины.

Посмотрите, насколько многозначителен приведенный обмен репликами. Да, как же может быть в народе сочувственное отношение к праву, закону, если этими понятиями прикрывали жесточайший террор, а следователь нередко был насильником и палачом. Таков подтекст аргумента Малинина. А вот смысл ответа Ермакова: что толку сваливать ответственность за страшное прошлое на человека в мундире. Сталинизм — порождение всего общества, да и к террору приложило руки все общество. Одни казнили, другие славословили палачей. "Наш брат или ваш брат — это еще вопрос!"

Авторы фильма ничуть не приукрашивают Ермакова. В отличие от Гельмана они не нуждаются в положительном герое. Вот следователь, надев форму, любуется собой в зеркале.

— А вам идет форма, — язвительно кидает Малинин.

— Форма? Форма всем идет! — молодцевато и решительно отвечает Ермаков.

Вот он, взбешенный переменой показаний спасшегося помощника машиниста, кричит ему: "Что ты мне поешь!" И это жаргонное, следовательское "поешь", как и любование формой, открывает в каждом из нас столько мучительных и тревожных ассоциаций — казарменных, лагерных, милицейско-

кагебешных. Подобного рода детали словно символы нашего чугунного времени, где человек, пылинка, сдуваемая ледяным ветром истории.

Так, стало быть, правда за Малининым с его стремлением оградить город от мундирной милицейской силы, что несет в себе Ермаков? Малинину наплевать на то, почему произошла авария. Он создает один из героических мифов, которыми питается советская пропаганда. И делает это сознательно.

— Этой статьей я горжусь, если хочешь знать, — кричит он Ермакову. — Один великий писатель хорошо сказал, что прокуроров у нас достаточно, а вот защитников! Да если просто старуха-мать получит хорошую пенсию за героя-сына, а вдове дадут хорошую квартиру, ради одного этого стоит писать подобные статьи!

И вот их последний обмен репликами:

— Такие, как ты, и есть главное зло! —тихо говорит Ермаков. — Вы своими баснями морочите людям голову, создаете превратную картину жизни. Отучаете работать, уважать законы...

Ермаков и Малинин олицетворяют в своих нравственных позициях два полярных начала русской общественной жизни. Речь идет не просто о том, какими средствами действовать, чтобы усовершенствовать мир. За спорами следователя и журналиста угадываются иные, более глубокие альтернативы: закон — сердечное согласие правителя и народа, личность — общество, Запад — Восток.

Одиночество Ермакова в патриархальной среде русского городка, его обличения российской расхлябанности — все здесь будоражит, несет в себе антипочвенническое начало. Вместе с тем двойственность образа следователя заключена в подсказанном всем прошлым опытом понимании того, что твердость в борьбе с бесхозяйственностью приводит к насилию, закон без демократии обязательно служит интересам тирании. Именно поэтому так дисгармоничен мир фильма при всем благостном спокойствии жизни российской провинции.

Разумеется, картина "Остановился поезд" — исключение в современном советском кинематографе как по глубине ху-

дожественного восприятия мира, так и по остроте социальной, политической. Такой прорыв через заветную черту идеологических запретов, а точнее, фланговый ее обход, можно отнести к числу редких творческих удач, редкостных особенно в кино.

Для кинематографа куда дозволительнее и естественнее национальное самолюбование, рождающее утешительные патриотические распевы.

В СЕРДЕЧНОМ СОГЛАСИИ

В раннем фильме Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" отразилось экзистенциальное мироощущение русской интеллигенции. Позднее то же восторженное любование голубиной кротостью национального характера нашло отражение в экранизации "Обломова". Вышедший на экрна в 1982 году, одновременно с картиной Абдрашитова и Миндадзе, фильм "Родня" продолжает и разрабатывает на современном материале круг идей, которыми проникнут "Обломов".

Сюжет фильма внешне прост. Пожилая крестьянка Мария, ее играет словно созданная для этой роли Нонна Мордюкова, приезжает в город, в гости к дочери. Перед нами, однако, не тот город, что мы видим у Абдрашитова и Миндадзе — провинциальный тихий, благостный. Этот обрушивается на наши барабанные перепонки своими яростными шумами, терзает душу стрессами, отчуждением. Где та тишина и умиротворенность среднерусских пейзажей, что мы видим в картине "Остановился поезд", — в "Родне" люди спешат, бегут, отъединенные друг от друга делами, магнитофонными наушниками, телеэкранами, всеми реалиями современной цивилизации. Мария, с ее грубоватой теплотой, импульсивностью и прямотой в таком городе — словно старая Россия в нынешнем нашем бешеном мире.

Но при всех комических злоключениях, выпавших на долю Марии в гостях у дочери, она тем не менее при столкновениях

с городом каждый раз побеждает. Вот сцена прихода ее к сыну бывшего мужа. Не зная обстоятельств жизни этой раскололой семьи, влекомая чувством жалости, Мария бесцеремонно вторгается на молодежную вечеринку, требуя, чтобы сын не забывал опустившегося отца. И юноша понимает, угадывает чистоту ее намерения.

Примиряется с матерью, сознавая нравственную бескомпромиссность ее натуры, и собственная дочь Марии, после того как мать так же бесцеремонно вторглась и в ее жизнь. Город понимает и принимает Марию, признавая очистительную силу ее нравственного суда. Город и Мария не расколоты. Они одно целое. Они — родня.

Фильм полон кинематографических и литературных реминисценций. Одни эпизоды заставляют вспомнить о традиции итальянских неореалистов с их лиризмом встреч одиноких людей на шумных городских улицах, в других — ощутимы прорывы в феллинианство с его карнавалом страстей, в третьих — следы волшебной булгаковской иронии. Но все вместе рождает особое стилевое единство картин Михалкова, звучащих, поющих, озорных, щедро талантливых, проникнутых полнокровным и радостным мироощущением.

Характерно, что этому мироощущению свойственна некая просветленная ностальгия, постоянно присутствующее лирическое воспоминание о прошлом, — будь то ленивый и кроткий мир помещичьей усадьбы или крестьянское бытие с его нравственной чистотой и цельностью. Под знаком ностальгического чувства художник размышляет о национальном характере, о судьбах страны. Абдрашитов тоже размышляет о России. Но он жесток, горек. Михалков же просветлен, мягко грустен, ирония у него сквозь слезы любви. Мы утрачиваем теплоту общения, извечные человеческие связи в этом грохочущем, лязгающем, затопленном чуждыми русскому национальному духу ритмами городе — словно бы говорит Михалков.

— Ну и черт с ней, с этой теплотой, коль скоро в ее тенетах возникает повсеместный бардак, безответственность и, в конечном счете, дьявольский тоталитарный режим, — таков от-

вет подтекста Абдрашитова. — На женственной размягченности русской души выросла самая жестокая и сильная диктатура в мире. Выросла и живет в сердечном согласии отцов — правителей и детей — народа.

Многозначителен финал фильма Михалкова. Вокзальный перрон, затопленный толпой людей, провожающих молодежь в армию. Среди новобранцев сын Вовчика — бывшего мужа Марии — юноша с печальными глазами, столь внезапно проникшийся теплым чувством к Марии. Здесь и сам Вовчик, опустившийся алкоголик, его нынешняя семья, Мария, некогда, в молодости выгнавшая мужа за измену, а теперь жалеющая его бабьей жалостью. Но что сейчас прошлые беды и надежды, что в том, кто кого бросил, кто кого обидел? В жаркой пьяной пляшущей толпе все родня — ничтожный слабовольный Вовчик, и обе его жены, и дети, и внуки. Все обнимаются, плачут, поют. Что ждет новобранцев, куда пошлют юношу с печальными глазами? В Афганистан? На Курилы? В Польшу? Неважно. Все здесь родня.

ТЫ НАС ПРИСТРУНИ, ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Велик соблазн на этом и закончить. Но не ставится здесь точка, ибо жизнь, отражаясь в зеркале культуры, подбрасывает все новые факты, заставляя обращаться на сей раз к искусству словесному.

Почвеннический журнал "Наш современник", откуда мне уже не раз приходилось черпать материал для своих статей, в декабре 1983 года опубликовал повесть "Суд в Ершовке".

Автор — Виктор Конов, лицо мне неизвестное, с биографией, судя по предпосланной публикации справке, типичной для современного советского журналиста и литератора. Родился в 1940 году в рязанской деревне, учился на факультете журналистики Московского университета, работал в "Правде", сейчас, похоже, на вольных хлебах, живет в Москве. Так что же открывает нам этот бывший работник партийной газеты?

В глухом рязанском селе Ершовка стоит дым от горящих торфяных болот. Судят поджигателя Яшку Воробьева. Яшка не какой-либо пришлый чужак. Он коренной ершовский житель, в прошлом даже председатель колхоза, правда, потом опустившийся, спившийся, живущий сейчас при жене Клавдии Васильевне, управляющей отделением расположенного теперь в Ершовке совхоза. Клавдия Васильевна и Яшка и есть местная власть — дров ли привезти, усадьбу вспахать — все к ним.

По мере развития действия перед нами разматывается нить жизни современной русской деревни, открывается сочно и точно написанная картина глубинной России.

— Ты посмотри, — говорит один из героев повести, — у всех дома, в избах сундуки не закрываются: и ковры тебе, и телевизоры, и черт-те чего. Выпивают каждый день. Да разве когда так жили? И недовольны. Все мало им, мало! А как работать — нос воротят.

А вот рассказ другого героя — директора совхоза: "Два года назад, как я стал здесь директором, окунулся по уши в эту самую атмосферу. Прихожу в контору: грязь, обои клочьями висят. Бухгалетр сам себе премии выписывает... Механизаторы работают по пять-шесть часов, а управляющий ставит им по одиннадцать. Доярки молоко с ферм воруют. Машины, тракторы стоят у домов, на них и дрова себе возят, и сено, и огороды пашут... А восемьсот гектаров земли заросло не просто кустарником — уже лесом!.."

Яркая картинка, не правда ли? Но ведь то же самое в сущности мы видели на стройке в фильме "Премия", на железной дороге в фильме "Остановился поезд". Только здесь в роли обличителей выступают не выдуманный, написанный розовой краской и нивесть откуда взявшийся бригадир Потапов, а сами же ершовские мужики, которым просто уже невмоготу видеть этот разор и безобразие.

— Ты, Александр Палыч, правильно, правильно делаешь, — обращается тракторист к другому директору совхоза. — Ты нас приструни. А то самим на себя глядеть тошно!

О, это российское: "Ты нас приструни", извечная тоска по

хозяину! Не надо нам иноземных порядков, законов, судов. "Ты нас приструни", накажи, пусть больно, но сильной отеческой рукой.

У Лескова есть очень глубокий рассказ под названием "Язвительный". Он о крестьянском бунте, "бессмысленном и беспощадном". Бунт вызвали действия управляющего — обрусевшего англичанина Стюарта Яковлевича Дена, дельного, справедливого человека, уничтожившего телесные наказания и наведшего порядок в княжеском имении.

Его-то, Дена, избили и выгнали восставшие мужики. Последней каплей, переполнившей их терпение, было диковинное наказание, выдуманное управляющим. Несколько раз бегавшего крепостного он привязал за нитку к креслу и заставил сидеть без дела.

Вот такого деревня не выдержала. Секи до крови на конюшне, заставь камень по дорожкам на коленях бить — это свое родное, отеческое, издавна принятое, но на нитку, как воробья...

Что ж, у каждого народа свое представление о человеческом достоинстве.

"Ты нас приструни, приструни, Александр Палыч".

В дни, когда писались эти строки, придя на прием к врачу, довольно молодому человеку, я увидел на стене его кабинета портрет покойного Андропова. Не казенный, в рамке, какой положено висеть, а вырезанный из газеты, прикрепленный кнопками — знак сердечного внимания. Так же молодые шоферы, родившиеся где-то в пятидесятые-шестидесятые годы, прикрепляют к стеклам своих грузовиков портреты Сталина. Тоска по порядку? Мечта о сильной руке?

"Ты нас приструни, приструни, Юрий Владимирович".

Судят в Ершовке не Яшку Воробьева. Судят здесь самих себя, порядки, при которых крестьяне, прекрасно работающие на своей усадьбе, наполняя сундуки добром, на совхозном поле оказываются в положении бездельников и неумех.

Как же так получается и каков выход из этой ситуации? — с такими горестными вопросами закрывает читатель последнюю страницу повести. Ими мы задаемся и после просмотра фильмов, о которых шла речь выше.

Конечно, искусство не обязано давать рецепты социально-экономического переустройства. Но общественная мысль, даже и в условиях тоталитарного государства, не может обойтись без ответов на эти конкретные вопросы народного бытия.

Общественная жизнь идет, выказывая себя книгой, пьесой, фильмом, говорящим пусть не всю правду, но говорящим все-таки. Потому что самое страшное сейчас — молчать.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК"
в ближайшее время выходят книги:

Владислав ХОДАСЕВИЧ. КОЛЕБЛЕМЫЙ ТРЕНОЖНИК
Статьи о литературе. Избранная проза, том 2.
(260 стр. Цена-17.50)

Во второй том избранной прозы В.Ходасевича вошли статьи о писателях и поэтах — современниках автора: Н.Гумилеве, В.Сирине (Набокове), Б.Поплавском, И.Бунине, Д.Мережковском, А.Блоке, А.Белом, В.Маяковском и др. В книге также помещен обширный комментарий к статьям и указатель имен на оба тома.

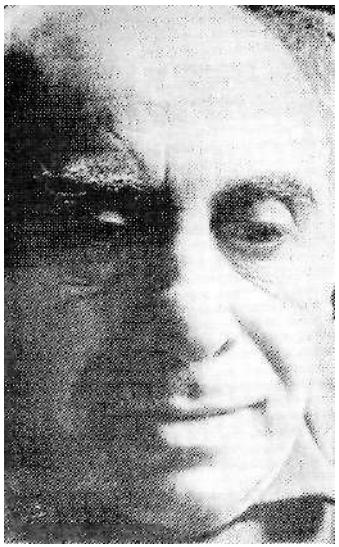
Первый том Избранной прозы В.Ходасевича "БЕЛЫЙ КОРИДОР. ВОСПОМИНАНИЯ", который является продолжением известной книги Ходасевича "Некрополь", можно приобрести в издательстве "Серебряный век" или по адресу редакции "Время и мы". В книге 310 стр. Цена-17.50.

Георгий АДАМОВИЧ. СОМНЕНИЯ И НАДЕЖДЫ
Статьи о литературе. Избранная проза, том 1.
(260 стр., цена 17.50)

Как и В.Ходасевич, Г.Адамович был одним из крупнейших литературных критиков первой эмиграции. Круг писателей, творчество которых интересует Адамовича, примерно тот же, что и у Ходасевича. Но их точки зрения далеко не всегда совпадают. Оба писателя — и Ходасевич и Адамович были своего рода центрами культуры, вокруг которых сосредоточивались литературные силы эмиграции.

Второй том Избранной прозы Г.Адамовича
РАЗМЫШЛЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
готовится к печати.

Адрес издательства: SILVER AGE PUBLISHING
P.O.Box 384 Rego Park New York, 11374



Семен ЛИПКИН

АРЕСТ РОМАНА,
или последние годы Василия Гроссмана

Сталинградские очерки Василия Гроссмана, которые регулярно печатались в "Красной звезде", самой читаемой газете военных лет, сделали его имя широко известным и в армии, и в тылу. Кажется, некоторые из этих очерков публиковались за рубежом. Особенно знаменит был очерк "Направление главного удара", в котором слышался вопль воздуха, раскаленного авиабомбами, грохот, которым "можно было оглушить человечество", горел огонь, которым "можно было сжечь и уничтожить государство". Сталин приказал "Правде" перепечатать очерк из "Красной звезды", несмотря на то что не любил Гроссмана. Было известно, что Сталин еще до войны самолично вычеркнул "Степана Кольчугина" из списка произведений, представленных на соискание сталинской премии, и единогласно утвержденного комитетом по этим премиям. Сталин назвал роман меньшевистским. Между тем в ночь накануне опубликования списка лауреатов Гроссману звонили из главных газет страны, поздравляли. Потом, через несколько лет, Гроссман, рассказывая мне об этом, заметил, лукаво смеясь: "Ты проявил классовое чутье, твое мнение совпало со сталинским".

Отрывок из книги "Сталинград Василия Гроссмана". Полностью книга выходит в издательстве "Ардис".

"Направление главного удара" привлекло к себе всю страну. Точность деталей, пылающая правда сражения рождали мысль о том, что "героизм сделался будничной, каждодневной привычкой". — "Вы теперь можете получить все, что попросите", — сказал Гроссману Эренбург. Но Гроссман ни о чем не просил.

Известность его упрочила повесть "Народ бессмертен", первая сравнительно большая вещь об Отечественной войне. Даже теперь, после опубликования за рубежом повести "Все течет" и романа "Жизнь и судьба", эта повесть, хотя и гораздо реже, чем прежде, упоминается в нашей печати в почетном перечислении. Написана она выразительно, но сердца моего не затронула.

Летом 1943 года меня вызвал в Москву Воениздат, который выпускал отдельной книжкой мой очерк боевых действий канонерской лодки "Усыскин". Я должен был кое-что исправить, учесть, как водится, замечания редактора. Не скрою, что я обрадовался вызову, возможности приехать в Москву.

Оказалось, что в столице находятся Гроссман и Платонов: они приехали с передовой на какое-то совещание военных корреспондентов. Где мы встретились, — не помню, может быть, в Доме литераторов, в восьмой комнате которого кормили сносными, а для военного времени весьма сытными обедами писателей-фронтовиков, вызванных по тому или иному делу в Москву. Были среди них и такие, которые фронта не нюхали, их называли земгусарами.

Мы с Гроссманом крепко обнялись, холод сталинградской встречи был забыт. Я не сразу узнал Платонова в форме армейского капитана, мы с ним были и прежде знакомы, но шапочно. А Платонов, увидев меня, пробормотал несколько насмешливо: "Моряк красивый сам собою". Думаю, что с Платоновым Гроссман подружился во время войны, оба служили в "Красной звезде".

Однажды, рассказал мне Гроссман, им пришлось зимой ехать по фронтовой дороге вдвоем в машине. Водителем у них был татарин, пожилой, низкорослый и некрасивый. Фамилия его была Сейфутдинов, а Платонов называл его Сульфидиновым. Этот Сульфидинов пользовался большим успехом у женщин. Продрогшие, усталые, они остановились в прифронтовой избе. Нестарая хозяйка бросила быстрый взгляд на водителя. "Сульфидинов, — сказал Платонов, — забрось палку, а нам скажи зажарить яичницу".

Мы условились вечером встретиться у Платонова, поскольку семья Платонова в эвакуацию не выезжала и, значит, у него был какой-то домашний уют. Решили, что каждый постарается достать выпивку.

Теперь о Платонове пишут, что он чуть ли не работал одно время дворником. Это вздор. У Платонова была в доме Герцена отдельная (тогда большая редкость) квартира из двух светлых смежных комнат, семья его не голодала, хотя каждая копейка была на счету. Платонова преследовали с первого дня его вступления в литературу. На полях верстки его романа о колхозах Сталин написал одно слово, кажется, "сволочь", и с тех пор пошла писать губерния. Фадеев, редактор "Красной нови", которая собиралась печатать роман и довела его до верстки, обрушился на Платонова со статьей о вылазке классового врага. Вслед за Фадеевым начали топтать Платонова его клевреты, среди них мне запомнился Гурвич, впоследствии — несчастный, преследуемый космополит. Ветхозаветный Бог мести наказал Гурвича. Что же касается Фадеева, то он в этом, как и во многих других, случае был неискренен, он ценил Платонова, у него вообще был недурной вкус, чуткость к слову, но он всегда с варфоломеевским исступлением выполнял указания Сталина.

Несмотря на страшный отзыв вождя, Платонова не тронули. Но все, что он публиковал, всегда подвергалось такой губительной критике, что все думали: судьба его предрешена. Он жил трудно, его одолевали материальные заботы, ради заработка он то писал с Фраерманом пьесу для детей, то занимался обработкой сказок, но его талант был настолько оригинален, что даже работы, написанные ради хлеба насущного, вызывали недоумение в редакциях и редко печатались и оплачивались.

В те годы значение литературной среды было большим, чем сейчас (да и есть ли эта среда сейчас?), ее мнения соперничали с государственными, были достаточно влиятельны, и существовали писатели, которые произносили имя Платонова уважительно, нередко с восхищением. Сугубо партийный журнал "Литературный критик" вдруг, отступая от своего профиля, опубликовал рассказы Платонова, вызвав гнев литературного и нелитературного начальства. В этом журнале, где главенствовал политэмигрант, венгерский философ-марксист Георг Лукач и другой марксист, Михаил Лифшиц, охотно помещались критические статьи Платонова, подписанные псевдонимом Человеков. Может быть, псевдоним этот не случаен: Платонов говорил, что хотел бы написать роман "Путешествие в глубь человека", — название пародировало популярные книги вроде "Путешествие в глубь Африки" и т.п.

Критические статьи Платонова мне не нравились, за редким исключением, например, у него была прекрасная статья об Ахматовой. Его литературные взгляды не раз меня поражали. Он считал, что в "Войне и мире" Толстой пренебрег правдой о тяжелом положении русских крепостных крестьян. Восхищаясь Горьким, ставил его выше Бунина. Из современных поэтов особенно ценил Ахматову и Есенина, не принимал Мандельштама и Пастернака. Говоря о молодежи, хвалил рассказы Бокова, ныне официального поэта-песенника.

Я прочел ему стихотворение Волошина "Дом поэта", оно ему понравилось, он задумчиво повторил: "При жизни быть не книгой, а тетрадкой". Он, когда ему читали, не высказывался, а несколько раз повторял понравившееся ему выражение, и оно в его устах приобретало особый, значительный смысл. Так, он повторил одну строку из моих стихов "Затоптать свои следы", и я понял, что он придал этой строке, как и строке Волошина, смысл, выстраданный собственной жизнью. Когда Гроссман читал нам главы из романа "За правое дело", Платонов тоже не высказывался, а повторял после

чтения запавшие ему в душу выражения, например: "Отставить матерки!" или "Хана" — и перестал существовать", — это относится к фразе о водителе: "возник нарастающий вой бомбы, он прижал голову к баранке, ощущая всем телом конец жизни, с ужасной тоской подумал "Хана" — и перестал существовать".

При мне Платонов читал две свои вещи: чудесную "Джан", где с библейской простотой и живописностью рассказал о маленьком племени ("джан" по-персидски "душа"), кочующем в советские годы в пустыне, и рассказ о солдате, вернувшемся к жене, которая ему изменила, пока он воевал, и, читая, Платонов в смешных местах смеялся первым.

Я не помню каких-нибудь пространных высказываний Платонова, обычно он как-то хмыкал, что-то бормотал под нос, поджимал губы, и это хмыканье, бормотанье, поджиманье губ казались мне значительнее и умнее многих слов. Но он умел кратко и красочно определить самую суть дела.

Об одной литературной дискуссии он сказал: "Совокупление слепых в крапиве". В тот вечер в июле 1943 года, когда мы собрались в его доме (и Гроссману, и мне удалось достать водку по талонам), и мы выпили по граненому стакану, я взял со стола кусок американской колбасы из фронтового пайка, кусок показался Платонову слишком большим, и наш хозяин выразился обо мне так: "Садист на закуску". Как-то, уже после войны, мы зашли к Платонову, и Гроссман, поддразнивая его, сказал: "Что-то, Андрюша, давно тебя в прессе не ругают", а Платонов серьезно ответил: "Я теперь в команде выздоравливающих". Во время этой встречи заговорили о том, что в печати мощным потоком движутся на нас произведения, лишенные не только таланта, но и примет профессионального умения. Платонов сказал "В литературу попер читатель".

В моей памяти осталось только одно распространенное предложение Платонова, касающееся вопросов литературы. Он говорил, что не всякое угодливое слово нравится властям: надо, чтобы это лакейское слово было сказано вовремя. Не годится, если оно произнесено с опозданием, и оно часто вызывает гнев, если высказано до срока, — власти терпеть не могут забегальщиков.

К Платоновым был вхож необычный гость — Шолохов. Видимо, он понимал значение Андрея Платоновича, порой заступался за него, добывал для него литературную работу. Очень гордилась таким знакомством Марья Александровна, жена Платонова, "холодная и злая", если употребить выражение Андрея Белого. Многое в ее характере было мне и Гроссману чуждо, но подчеркну ее преданность таланту мужа. Марья Александровна считала, что Платонов выше всех писателей, незаслуженно, по ее мнению, знаменитых, а такую преданность писательской жены надо ценить.

Среди литераторов нашего круга никто не знал Шолохова, и Гроссман спрашивал: "Ну скажи, какой он? Умный?", но Платонов в ответ бормотал что-то невыразительное.

Гроссман всегда живо интересовался Шолоховым — автором первоклассного, по его мнению, романа "Тихий Дон" и весьма посредственной "Поднятой целины". Низкопробными он считал различные его выступления. У Платоновых я упомянул о таком эпизоде. Член Военного Совета нашей флотилии взял меня с собой в конце февраля 1943 года в Камышин: я должен был описать в газете церемонию вручения наград тяжело раненым морякам, находившимся на излечении в камышинском военно-морском госпитале. Оказалось, что в Камышине, в большом, видимо, бывшем купеческом доме живет с семьей полковник Шолохов, живет безвыездно, как сообщили жительницы города.

После вручения наград состоялся банкет, на который был почтительно приглашен Шолохов. Предоставили ему слово. Покалеченные войной, безногие, безрукие, ослепшие ждали, — что им скажет любимый русский писатель. Шолохов посреди напряженного молчания произнес тост: "Выпьем за советскую Украину". И больше ни слова. Гроссман очень удивился: — "Вы сами слышали?" — переспрашивал, потом сказал: "Человек-загадка". А Платонов пробормотал: "Слова из сердца выходят редко, из головы чаще".

Они любили друг друга — известный в ту военную пору,

признанный Государством член правления Союза писателей Гроссман и гонимый Платонов, чье имя долго ничего не говорило массе читателей. У них было много общих черт, но чувствовалось и различие в каждой из черт. Оба ненавидели и презирали лакейскую литературу, и даже у писателей, считавшихся приличными, даже у тех, с кем приятельствовали, терпеть не могли полуправду, позерство, пустословие, выверты. Но Гроссман не только в своих писаниях, но и в своих вкусах, относилось ли это к литературе, живописи или музыке, был более привержен традиции, русской и западно-европейской классике девятнадцатого и начала двадцатого веков, а Платонов в своих суждениях был независимей. Оба чувствовали влечение к простым людям, к рабочим, крестьянам, но у Гроссмана это шло от социал-демократических воззрений его юности, может, было внушено ему отцом, Семеном Осиповичем, в прошлом меньшевиком, а у Платонова — от преклонения перед простейшими проявлениями жизни в природе, в человеческом обществе. Помню, с каким ликованием говорил Платонов о своей работе машиниста: "Паровоз в исправности, и ты летишь, тебе навстречу земля и небо, и ты хозяин всего простора мира". Оба, и Гроссман, и Платонов, не верили в Бога, но над моими религиозными чувствами не смеялись, как это делали многие мои сверстники. Я бы сказал, что оба исповедовали материалистическую философию, но Гроссман, по крайней мере, до определенного времени, считал себя марксистом, а материализм Платонова был пантеистическим, чем-то близким мировоззрению Федорова. Я как-то рассказал обоим сюжет из индийской "Махабхараты".

Паломники, направляясь к месту поклонения, видят на пути коровьи лепешки и, боясь, что даже взгляд на нечистоты загрязнит их благочестивые намерения, спешат омыть свое тело в реке. Но тут из лепешек восстает бог Индра и говорит им: "Жалкие люди, это я превратился в коровьи лепешки, ибо нет на земле ничего чистого и нечистого".

Гроссман сказал: "Интересно", а Платонов медленно повторил: "Нет на земле ничего чистого и нечистого".

Длинное это сопоставление я заключу тем, что оба охотно

выпивали, но Гроссман любил и вкусно закусывать, к чему Платонов был равнодушен. Разница была и в том, что Платонов, в отличие от Гроссмана, пил с кем попало, лишь бы его угощали, ведь на выпивку денег ему обычно не хватало. Он мог выпивать и с грязным черносотенцем, Гроссмана это возмущало, он был требователен к себе и властно-требователен к друзьям, кричал на Платонова, но при этом, как всегда, смотрел на Платонова влюбленными глазами. И такими же глазами смотрел Платонов на Гроссмана.

После войны мы иногда втроем сиживали на Тверском бульваре против окон Платонова. Любимым занятием было сочинять истории о том или ином заинтересовавшем нас прохожем. Я это делал бледно, не обо мне речь, а Гроссман и Платонов в этой забаве проявляли каждый свои свойства. Изустный рассказ Гроссмана изобиловал подробностями, если он считал, что прохожий — бухгалтер, то уточнял: на кондитерской фабрике, если — рабочий, то мастер на электрозаводе. Далее шли портреты жены, детей, старого пьяницы-отца, можайского мужика, много юмора и печали. Не то — рассказы Платонова. Они были бессюжетны, в них рисовалась внутренняя жизнь человека, необычная и в то же время простая, как жизнь растения.

Вот так мы сидели как-то в жестокую пору борьбы с космополитизмом на все той же скамейке. Гроссман пошел на угол к табачному киоску, и в это время к нам приблизился шаркающей походкой профессор-стихолюб, милейший старик Иван Никанорович Розанов и сказал, широко улыбаясь, показывая длинные редкие зубы: "Чувствуете, как воздух очистился, чесноком стало меньше пахнуть", — и удалился, опираясь на палку. Видимо, он, по старости, забыл о моем происхождении. Когда Гроссман вернулся с папиросами, я рассказал о происшествии. Гроссман сначала опешил: "Такой чудный старик", потом набросился на меня и на Платонова, кричал, — как это мы не нашли ответа на противные слова, покорно их выслушали, матерился. Платонов вяло говорил: "Брось, Вася", но был смущен. В "Жизни и судьбе" фразу Розанова произносит старик-педагог.

Когда Платонов заболел (он заразился туберкулезом от своего несчастного, умирающего сына, в каком-то безумии целовал его в губы), Гроссман навещал его почти каждый день. Один раз мы пришли вместе. Никогда не забуду колюче светящейся долгой тоски в запавших глазах Платонова, его пожелтевшее худое лицо, тихий, частый кашель.

Смерть Платонова потрясла Гроссмана. При этом, как он мне писал, выехав после похорон за город, он еще измучился "из-за похорон и хлопот, которых никто из писателей в Союзе Пис/ателей/ не взялся делать".

Я помню проникновенную речь, которую Гроссман произнес над гробом друга в присутствии немногих, пришедших почтить память покойного в Союз писателей (а наша кучка еще больше поредела, когда мы хоронили Платонова на маленьком чистом армянском кладбище напротив Ваганьковского) . Речь Гроссмана содержала в себе насыщенную умом и болью характеристику драгоценного писателя, умершего недооцененным, почти в безвестности. Напечатать эту речь долго не удавалось, — не желали. В январе 1960 г. Гроссман мне писал:

"Предложили мне из Радиокомитета выступить по радио об Андрее Платонове. Я согласился, написал маленькую статью. Посмотрим, выйдет ли что-нибудь. Может быть, в жанре акына мне больше повезет".

Статью, основанную на речи на похоронах, Гроссман по радио прочел — это было первое разумное и достойное слово, сказанное в России о Платонове. В виде рецензии на посмертно вышедшую книгу Платонова статья была напечатана в "Литературной России". Еще о Платонове мало знали, когда Гроссман писал: "А Платонов — писатель, пожелавший разобраться в самых сложных, а значит, в самых простых основах человеческого бытия". Поразительная по своей глубине и изящной, математической краткости формула /.../

30 июля 1960 года Гроссман мне писал:

"В Москве жара невероятная, держится упорно. Переношу ее с трудом — в двояком смысле, но, к сожалению, не в трояком дело в том, что "Труд", которому я пошел полностью навстречу, все же не напечатал отрывка. Мотивировка настолько лжива и лицемерна, что тошно.

"Знамя" наседает, торопит, просит уточнить дату сдачи рукописи".

Насколько мне помнится, в конце 1960 года Гроссман окончательно завершил работу над романом /"Жизнь и судьба"/. Перед тем как отнести рукопись в редакцию, Гроссман попросил меня прочесть весь роман снова и ответить ему на два вопроса: 1) считаю ли я, что после неизбежных купюр, вставок, тяжелых и легких ранений есть все же реальная возможность того, что роман будет опубликован; 2) какие места, по-моему, следует снять заранее, — такие, что их даже показывать нельзя.

И вот я прочел "Жизнь и судьбу" в третий раз и, как часто бывает, нашел много прекрасного, раньше мной незамеченного, со всей силой почувствовал свое приобщение к художественному познанию человека в мире и мира в человеке. Окончив чтение, я отвез на такси две тяжелых папки на Беговую. На первый вопрос Гроссмана я ответил так: нет никакой надежды на то, что роман будет опубликован. Я умолял Гроссмана не отдавать роман Кожевникову, облик которого был всем литераторам достаточно известен. На лице Гроссмана появилось ставшее мне знакомым злое выражение. "Что же, — спросил он, — ты считаешь, что когда они прочтут роман, меня посадят?" — "Есть такая опасность", — сказал я. — "И нет возможности напечатать даже оскопив книгу?" — "Нет такой возможности, не то что Кожевников, — Твардовский не напечатает, но ему показать можно, он не только талант, но и порядочный человек". Гроссман взглянул на меня с гневом, губы его дрожали: "Я не буду таким трусом, как ты, я не намерен четверть столетья прятать свои рукописи в стол. А ты, пока Платонов прал против рожна,* пока меня били и топтали, спокойненько переводил своих восточных клиентов, предаваясь неге и холе".

Я подумал, что Гроссман ко мне несправедлив, я делал при

---

* Выражение "прал против рожна" — из рассказа Сергеева-Ценского "Пристав Дерябин".

Сталине попытки печататься, Гроссман мне сам говорил, что попытки эти напрасные. В то же время я чувствовал, что по сути он прав, я не "прал против рожна". Надо сказать, что если Гроссмана порой заставляли задумываться мои рассуждения о нашем обществе, о важности развития национального самосознания советских народов, мои экуменические мечтания, то на меня серьезное и важное влияние оказывала нравственная сила Гроссмана, и когда впоследствии я сделал решительный поворот в своей жизни, я мысленно спрашивал совета у Гроссмана, и мне казалось, что я слышу одобрение оттуда, где мы еще, может быть, встретимся.

Наступило тяжкое молчание. Наконец Гроссман, астматически дыша, спросил: "Ты отметил места, которые предлагаешь выбросить?" Я начал читать по приготовленной записке. Наиболее опасных мест я отобрал немного, — все в романе было опасным, — скажем, 15-20. Иногда это касалось нескольких страниц, иногда — нескольких строк. Думаю, что общий объем предлагаемых сокращений составлял полтора или два печатных листа, не больше. Помню, что посоветовал выбросить всю сцену беседы Лисса с Мостовским, где гестаповец говорит старому большевику: "Когда мы смотрим в лицо друг другу, мы смотрим в зеркало... Наша победа — это ваша победа". Обратил я внимание Гроссмана на несколько строк, — не с точки зрения их опасности, а с другой. Вот эти строки: "Поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору страданий крестьянства, пору, пожравшую его честного и простодушного труженика-отца". Гроссман безропотно со мною соглашался, он выбросил из рукописи все отобранные мною места, и среди них те строки, в которых легко угадывался Твардовский. Потом, когда рукопись попала к Твардовскому, Гроссман был доволен тем, что в ней нет этих строк, оказалась бы крайне неприятная неловкость. Когда до меня дошла изданная за рубежом книга, я нашел в ней и место о Твардовском, и беседу Лисса с Мостовским, и отсюда сделал вывод, что издатели получили копию не того экземпляра, который был сдан в "Знамя", а полного, без сокращений. /.../

Возвращаясь к нашему свиданию, остановлюсь на одной мелочи, которая, однако, кое-что объясняет в состоянии Гроссмана. В конце разговора я сказал: "Вася, у тебя дико расставлены знаки препинания, я попытался выправить, надо перенести правку в другие экземпляры". Гроссман обозлился, вспылил: "Ты, кроме знаков препинания, ничего в романе не разглядел". Встретившись с моим изумленным взглядом, он быстро обнял меня, слезы стояли в его глазах.

Шли за неделей неделя, за месяцем месяц, от "Знамени" — ни звука. Звонить первым в редакцию Гроссман не хотел, ждал. Однажды Гроссману обещал кое-что разведать Виктор Некрасов, он был вхож в эту редакцию, сказал, что придет в такой-то день, час. Ольга Михайловна, хлебосольная не по средствам, приготовила обильную выпивку и еду. Был приглашен и я, мне хотелось встретиться за дружеским столом с высокоталантливым писателем, мы были немного знакомы по Малеевке, но не более того. Ждали допоздна, Некрасов не пришел, забыл, видно, загулял. Гроссман был обижен до глубины души, он любил Некрасова — и писателя и человека.

А месяцы идут, а "Знамя" молчит. Вконец измученный, Гроссман надумал вот что. В это время сильно пошел в литературно-бюрократическую гору Николай Чуковский. Он стал членом редколлегии "Знамени". Я с ним поневоле продолжал встречаться на переводческих заседаниях, — встречаться все реже, так как эти заседания мне надоели. Гроссман поручил мне порасспросить нашего бывшего приятеля. Коля охотно откликнулся на мой вопрос такими словами: "Я не читал романа Василия Семеновича. Насколько я знаю, не читали его и другие беспартийные члены редколлегии. В редакции говорят, что роман прячут ото всех Кожевников, Кривицкий и Скорино. На прошлой неделе мы поехали на читательскую конференцию в Ленинград, я был в одном купе с Кожевниковым, спросил его о романе Гроссмана, он буркнул: "Подвел нас Гроссман", — и перевел разговор на другую тему".

Переводческое заседание затянулось до одиннадцати вечера, но я знал, что Гроссман волнуется, ждет меня, и решил заехать к нему, несмотря на поздний час. Гроссман, его жена,

Федя и его жена Ира и их дочь Леночка занимали на Беговой трехкомнатную квартиру, две маленьких комнаты были смежными, а отдельная, та, что чуть побольше, служила и кабинетом Гроссмана, и общей столовой, и гостиной. Я застал такую картину. Посреди комнаты, за квадратным столиком, Ольга Михайловна, Зинаида Николаевна Пастернак и Берта Яковлевна Сельвинская играли в китайскую игру маджонг (не уверен, что правильно траскрибирую это слово). Мы примостились в углу, я шепотом пересказал сообщение Николая Чуковского. "Повтори", — сказал Гроссман. Выслушав меня во второй раз, сказал, и губы его, как всегда при сильном волнении, дрожали: "А Люся играет в маджонг". Он потом нередко вспоминал и этот несчастный маджонг, и другие большие и малые грехи и прегрешения Ольги Михайловны, — он, например, считал, что его мать, погибшая в бердичевском гетто, осталась бы жива, если бы Ольга Михайловна, незадолго до войны, не воспротивилась бы тому, что мать приехала к ним в Москву, и та вынуждена была навсегда расстаться с сыном, но я думаю, что Ольга Михайловна была ему неплохой женой, все дело в том, что он разлюбил ее и полюбил другую.

Между тем через знакомых, имевших какое-то отношение к журналу, стали просачиваться слухи, что "Знамя" не хочет печатать роман. Наконец Гроссмана вызвали на заседание редколлегии. Гроссман не пошел, — и правильно сделал. Ему прислали стенограмму. Все выступавшие, среди которых Малюты Скуратовы чередовались с Тартюфами, единодушно отвергли роман, как произведение антисоветское, очернительское. Николай Чуковский в заседании не участвовал.

Гроссман уже давно стал понимать, что совершил непоправимую ошибку, отдав "Жизнь и судьбу" в руки Кожевникова и Кривицкого. Он попытался возобновить отношения с Твардовским. Вот что он мне написал в Малеевку 1 февраля 1961 года, — еще до рокового заседания редколлегии:

"Дорогой Сема, получил твое письмо. Вольный сын кефира, поэт и переводчик! Я снова заболел, но на сей раз обошлось дело, кажется, без воспаления легких.

Имел перед болезнью беседу с Твардовским. Встретились у него, говорили долго. Разговор вежливый, осадок тяжелый. Он отступил по всему фронту, от рукописи и от деловых отношений отказался полностью, да и от иных форм участия в

литературной жизнедеятельности собеседника отстранился. Так-то".

Однако на этом отношения с Твардовским не оборвались. После того как "Знамя" отвергло роман, но до его ареста, Гроссман с Ольгой Михайловной поехали в Коктебель. Там в это время отдыхали Твардовский и Мария Илларионовна. Жены, в прошлом — соседки по Чистополю, помирили мужей. Твардовский сказал: "Дайте мне роман почитать. Просто почитать". И Гроссман, вернувшись в Москву, отвез ему, видимо, с некой тайной надеждой, роман в редакцию "Нового мира". После ареста романа к Гроссману, чуть ли не в полночь, приехал Твардовский, трезвый. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал: "Нельзя у нас писать правду, нет свободы". Говорил: "Напрасно ты отдал бездарному подлецу Кожевникову. Ему до рубля девяти с половиной гривен не хватает. Я бы тоже не напечатал, разве что батальные сцены, но не сделал бы такой подлости, ты меня знаешь". По его словам, рукопись романа была передана "куда надо" Кожевниковым, Кривицким и Скорино.

Смеясь, Гроссман мне рассказывал: "Как всегда, водки не хватило. Твардовский злился, мучился. Вдруг он мне заявил: "Все вы, интеллигентики, думаете только о себе, о 37-м годе, а до того, что Сталин натворил во время коллективизации, погубил миллионы мужиков, — до этого тебе дела нет". — И тут он стал мне пересказывать мои же слова из "Жизни и судьбы" — "Саша, одумайся, об этом я же написал в романе". Глаза у него стали сначала растерянными, потом какими-то бессмысленными, он низко опустил голову, сбоку с его губ потекла струйка".

В феврале 1961 года роман был арестован. Гроссман мне позвонил днем и странным голосом сказал: "Приезжай сейчас же". Я понял, что случилась беда, но мне в голову не приходило, что арестован роман. На моей памяти такого не бывало. Писателей арестовывали охотно, но рукописи отбирались во время ареста, а не до ареста авторов. Только недавно я узнал, что еще в 1926 году изъяли рукопись у Булгакова.

Заявились двое, утром, оба в штатском. Ольги Михайловны дома не было, пошла на Ваганьковский рынок. Дверь открыла домработница Наташа. Когда эти двое вошли в комнату к Гроссману, Наташа сказала его невестке Ире: "Кажется, нехорошие люди пришли". Предъявили Гроссману ордер на

изъятие романа. Один, высокий, представился полковником, другой был и званием, и ростом помельче. Вот этот, второй, постучался к Ире и сказал: "У него что, больное сердце? Дайте что-нибудь сердечное". Ира дала капли и спросила: "По какому поводу вы пришли?" — "Мы должны изъять роман. Он ведь написал роман? Так вот, изымем. Об этом никому не говорите, подписку с вас не берем, но болтать не надо".

Этот же, званием пониже, вышел на двор и вернулся с двумя понятыми. Ясно было видно, рассказывал Гроссман, что понятые — не первые попавшиеся прохожие, а из того же учреждения, что и незваные гости. Обыск сделали тщательный. Забрали не только машинописные экземпляры, но и первоначальную рукопись, и черновики не вошедших глав, и все подготовительные материалы, эскизы, наброски. Другие рукописи, не имеющие отношения к роману, обыскивателей не интересовали, например несколько рассказов, повесть "Все течет" (первый вариант). Действовали по-военному точно, выполняя определенное задание — изъять только роман и все, что связано с романом. Обыскивали только в той комнате, где Гроссман работал. Были вежливы. Тот, кто помельче званием, обратился к Гроссману: "Извиняюсь, дело житейское, где тут у вас туалет".

Обыск длился час с чем-то. Полковник, когда кончился обыск, спросил, имеются ли где-нибудь другие экземпляры. Гроссман ответил: "У машинистки, она оставила один экземпляр у себя, чтобы получше вычитать. Другой — в "Новом мире". Был еще в "Знамени", но тот, наверно, у вас".

С Гроссмана хотели взять подписку, что он не будет никому говорить об изъятии рукописи, Гроссман дать подписку отказался, полковник не настаивал.

Гроссмана увели. Сказали Ире: "Не волнуйтесь, часика через полтора он вернется, мы едем с ним к машинистке". И действительно, Гроссман вернулся, сказал, что у машинистки забрали ее экземпляр. Потом стало известно, что пришли в "Новый мир", приказали вскрыть сейф, изъяли рукопись...

Я никогда не видел, чтобы Гроссман был так подавлен, как после ареста романа. Борис Ямпольский верно передает

его состояние, когда описывает встречу с нами в Александровском саду (я читал его воспоминания в рукописи).

Когда в 1953 году ударили по роману "За правое дело", когда мы каждый день ждали ареста, когда была реальная опасность, что Гроссмана приобщат к делу врачей-убийц, он был менее подавлен, чем сейчас. Конечно, он предполагал, что вслед за романом могут арестовать и его самого, но не это его мучило, а ужасная судьба его — он это понимал — самого главного, самого серьезного произведения. "Как быть, как быть", — повторял он, и что я мог ему сказать? Разве что горько-шутливо: "Беги на Дон к Каледину", — и он улыбался, но улыбка не прогоняла тоску из его глаз.

Теперь, когда я пишу эти записки, я думаю вот о чем. Почему Гроссману не приходило в голову предложить "Жизнь и судьбу" какому-нибудь зарубежному издательству, скажем, в какой-нибудь более либеральной, чем наша, социалистической стране. Ведь уже был пример, уже разразилась травля Пастернака, когда итальянское коммунистическое издательство опубликовало роман "Доктор Живаго". Почему Гроссмана, по его собственному выражению, "задушили в подворотне", почему об аресте романа не узнали читатели ни у нас, ни за рубежом?

Затрудняюсь ответить на эти вопросы. Возможно такое объяснение: в те годы не в обычае были знакомства с иностранными корреспондентами, издателями. Во всяком случае, Гроссман никого из них не знал. Впрочем, мне вспоминается следующее. Однажды, в первой городской больнице, за месяц-полтора до смерти, Гроссман спросил у меня: "Ты читал Жореса Медведева о шарлатане Лысенко?" — Я не читал. — "Говорят, что автор отправил свою рукопись за границу, а она вернулась к нам уже в виде книги, по Москве ходит. Мне об этом на днях рассказали. Как ты думаешь, и я мог бы так поступить?" — Ответа моего он не дождался, впал в забытье, закрыл глаза.

У Гроссмана вышел отдельной книжечкой рассказ "Жизнь" в Югославии, кое-что печаталось в Польше. Из Чехословакии он получил роскошное издание романа "За правое дело",

один его рассказ был переведен в Китае почтенным Лу Синем, какие-то вещи переводились на английский, немецкий, испанский. Но все это происходило самотеком, без какого-либо контакта с издателями, переводчиками. Мне известно, что даже в годы более поздние, даже после выхода в свет повести "Все течет", иностранные корреспонденты не проявляли к судьбе Гроссмана никакого интереса. Странный народ, нам их не понять, как и им нас.

При всей своей подавленности Гроссман втайне не терял надежды на то, что отношение к роману может перемениться. Он видел не только отрицательные, но и положительные черты импульсивного Хрущева, считал его доклад на XX съезде партии замечательным, ему внушали, как он говорил, "этюды оптимизма" документы XXII съезда партии. Он решил поговорить с Д.А.Поликарповым. Поликарпов был одно время оргсекретарем Союза писателей, потом покатился вниз, — как раз в это время Гроссман с ним встретился в Гаграх, они часто беседовали на пляже, — потом опять поднялся, стал в ЦК заведовать культурой. Я его тоже знал, он был из тех, кто делает зло только по приказу. Поликарпов, однако, как бы забыл о гагринском пляже, был с Гроссманом суров, резок, между прочим, со вздохом заметил: "Многократный орденоносец, член правления Союза писателей, а что написал!" Посоветовал Гроссману обратиться с письмом в ЦК. Если не ошибаюсь, он же посоветовал поговорить с руководителями Союза писателей, читавшими роман, помог устроить встречу с ними.

Состоялась у Гроссмана беседа с секретарем правления Союза писателей СССР Марковым, с секретарем правления Союза писателей РСФСР Сартаковым, с председателем правления московского отделения Союза писателей Щипачевым. По словам Гроссмана, его собеседники вели себя жестко, но чувствовалось, что арест романа им не по душе. Признали, что в романе нет очернительства, многое было так, как написал автор, но в нынешнее сложное время издание романа нанесло бы вред нашему государству, если и можно будет издать роман, то лет через 250. Мягче других был Щипачев, слову "вредный" предпочитал "субъективный".

Гроссман написал письмо Хрущеву. Копия письма сохранилась. Письмо составлено в том духе, в каком, начиная от Пушкина, составлены все письма писателей на высочайшее имя, и исполнено собственного достоинства, бесстрашной веры в свою правоту, в то, что немыслимо новое общество "без непрерывного роста свободы и демократии".

Вот это письмо:

Первому секретарю ЦК КПСС
Никите Сергеевичу Хрущеву

Дорогой Никита Сергеевич!

В октябре 1960 года я отдал рукопись моего романа "Жизнь и судьба" в редакцию журнала "Знамя". Примерно в то же время познакомился с моим романом редактор журнала "Новый мир" А.Т.Твардовский.

В середине февраля 1961 года сотрудники Комитета Государственной Безопасности, предъявив мне ордер на обыск, изъяли оставшиеся у меня дома экземпляры и черновики рукописи "Жизнь и судьба", рукопись была изъята из редакций журналов "Знамя" и "Новый мир".

Таким образом закончилось мое обращение в многократно печатавшие мои сочинения редакции с предложением рассмотреть десятилетний труд моей писательской жизни.

После изъятия рукописи я обратился в ЦК КПСС к тов.Поликарпову. Д.А.Поликарпов сурово осудил мой труд и рекомендовал мне продумать, осознать ошибочность, вредность моей книги и обратиться с письмом в ЦК.

Прошел год. Я много, неотступно думал о катастрофе, произошедшей в моей писательской жизни, о трагической судьбе моей книги.

Я хочу честно поделиться с Вами моими мыслями. Прежде всего должен сказать следующее: я не пришел к выводу, что в книге моей есть неправда. Я писал в своей книге то, что считал и продолжаю считать правдой, писал лишь то, что продумал, прочувствовал, перестрадал.

Моя книга не есть политическая книга. Я, в меру своих ограниченных сил, говорил в ней о людях, об их горе, радости, заблуждениях, смерти, я писал о любви к людям и о сострадании к людям.

В книге моей есть горькие, тяжелые страницы, обращенные к нашему недавнему прошлому, к событиям войны. Может быть, читать эти страницы нелегко. Но поверьте мне, — писать их было тоже нелегко. Но я не мог не написать их.

Я начал писать книгу до XX съезда партии, еще при жизни Сталина. В эту пору, казалось, не было ни тени надежды на публикацию книги. И все же я писал ее.

Ваш доклад на XX съезде придал мне уверенности. Ведь мысли писателя, его чувства, его боль есть частица общих мыслей, общей боли, общей правды.

Я предполагал, отдавая рукопись в редакцию, что между автором и редактором возникнут споры, что редактор потребует сокращения некоторых страниц, может быть, глав.

Редактор журнала "Знамя" Кожевников, а также руководители Союза писателей Марков, Сартаков, Щипачев, прочитавшие рукопись, сказали мне, что печатать книгу нельзя, вредно. Но при этом они не обвинили книгу в неправдивости. Один из товарищей сказал: "Все это было или могло быть, подобные изображенным людям также были или могли быть". Другой сказал: "Однако напечатать книгу можно будет через 250 лет".

Ваш доклад на XXII съезде с новой силой осветил все тяжелое, ошибочное, что происходило в нашей стране в пору сталинского руководства, еще больше укрепил меня в сознании того, что книга "Жизнь и судьба" не противоречит той правде, которая была сказана Вами, что правда стала достоянием сегодняшнего дня, а не откладывается на 250 лет.

Тем для меня ужасней, что книга моя насильственно изъята, отнята у меня. Эта книга мне так же дорога, как отцу дороги его честные дети. Отнять у меня книгу это то же, что отнять у отца его детище.

Вот уже год, как книга изъята у меня. Вот уже год, как я неотступно думаю о трагической ее судьбе, ищу объяснение происшедшему. Может, объяснение в том, что книга моя субъективна?

Но ведь отпечаток личного, субъективного имеют все произведения литературы, если они не написаны рукой ремесленника. Книга, написанная писателем, не есть прямая иллюстрация к взглядам политических и революционных вождей. Соприкасаясь с этими взглядами, иногда сливаясь с ними, иногда в чем-то приходя в противоречие с ними, книга всегда неизбежно выражает внутренний мир писателя, его чувства, близкие ему образы, и не может не быть субъективной. Так всегда было. Литература не эхо, она говорит о жизни и о жизненной драме по-своему.

Тургенев во многом выразил любовь русских людей к правде, свободе, добру. Но Тургенев совершенно не был иллюстратором идей вождей русской демократии, он выражал по-своему, по-тургеневски, жизнь русского общества. И так же выражали, переживали добро и зло русской жизни, ее радость, ее горе, ее красоту и страшные уродства Достоевский, Толстой, Чехов. Ведь ни Толстой, ни Чехов не были иллюстраторами взглядов тех, кто возглавлял русскую революционную демократию, они полировали свое зеркало русской жизни, и зеркало это бывало отлично от тех, что создавали политические вожди русской революции. Но ни Герцен, ни Чернышевский, ни Плеханов, ни Ленин не ополчались за это на русских писателей, они видели в них своих союзников, а не врагов.

Я знаю, что книга моя несовершенна, что она не идет ни в какое сравнение с произведениями великих писателей прошлого. Но дело тут не в слабости моего таланта. Дело в праве писать правду, выстраданную и вызревшую на протяжении долгих лет жизни.

Почему же на мою книгу, которая, может быть, в какой-то мере отвечает на внутренние вопросы советских людей, книгу, в которой нет лжи и клеветы, а есть правда, боль, любовь к людям, наложен запрет, почему она забрана у меня методами административного насилия, упрятана от меня и от людей, как преступный убийца?

Вот уже год, как я не знаю, — цела ли моя книга, хранится ли она, может быть, она уничтожена, сожжена?

Если книга моя ложь, — пусть об этом будет сказано людям, которые хотят ее прочесть. Если книга моя клевета, — пусть будет сказано об этом. Пусть советские люди, совет-

ские читатели, для которых я пишу 30 лет, судят, что правда и что ложь в моей книге.

Но читатель лишен возможности судить меня и мой труд тем судом, который страшней любого другого суда — я имею в виду суд сердца, суд совести. Я хотел и хочу этого суда.

Мало того, когда книга моя была отвергнута в редакции "Знамя", мне было рекомендовано отвечать на вопросы читателей, что работу над рукописью я не закончил еще, что работа эта затянется на долгое время. Иными словами, мне было предложено говорить неправду.

Мало того, когда рукопись моя была изъята, мне предложили дать подписку, что за разглашение факта изъятия рукописи я буду отвечать в уголовном порядке.

Методы, которыми все произошедшее с моей книгой хотят оставить в тайне, не есть методы борьбы с неправдой, с клеветой. Так с ложью не борются. Так борются против правды.

Что же это такое? Как понять это в свете идей XX съезда партии?

Дорогой Никита Сергеевич! У нас теперь часто пишут и говорят, что мы возвращаемся к ленинским нормам демократии. В суровую пору гражданской войны, оккупации, хозяйственной разрухи, голода Ленин создал нормы демократии, которые во все сталинские времена казались фантастически большими.

Вы на XXII съезде партии безоговорочно осудили кровавые беззакония и жестокости, которые были совершены Сталиным. Сила и смелость, с которыми Вы сделали это, дают все основания думать, что нормы нашей демократии будут расти так же, как выросли со времен разрухи, сопутствовавшей гражданской войне, нормы производства стали, угля, электричества. Ведь в росте демократии и свободы, еще больше, чем в росте производства и потребления, существо нового человеческого общества. Вне беспрерывного роста норм свободы и демократии новое общество мне кажется немыслимым.

Как же понять, что в наше время у писателя производят обыск, отбирают у него книгу, пусть полную несовершенства, но написанную во имя правды и любви к людям, и грозят ему тюрьмой, если он станет говорить о своем горе.

Я убежден, что самые суровые и непримиримые прокуроры моей книги должны во многом изменить свою точку зрения на нее, должны признать ошибочными ряд кардинальных обвинений, высказанных ими в адрес моей рукописи годпол тора назад — до XXII съезда.

Я прошу Вас вернуть свободу моей книге, я прошу, чтобы о моей рукописи говорили и спорили со мной редакторы, а не сотрудники Комитета Государственной Безопасности.

Нет смысла, нет правды в нынешнем положении, — в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал свою жизнь, находится в тюрьме, — ведь я ее написал, ведь я не отрекался и не отрекаюсь от нее. Прошло двенадцать лет с тех пор, как я начал работу над этой книгой. Я по-прежнему считаю, что написал правду, что писал я ее, любя и жалея людей, веря в людей. Я прошу свободы моей книге.

Глубоко уважающий Вас В.Гроссман
Москва, Беговая 1-а, корп.31, кв.1. Тел.ДЗ-00-80, доб.16."

Гроссман надеялся на то, что сумеет убедить Хрущева, что если книгу и не напечатают, то хотя бы вернут ему рукопись. Он не видал "смысла в нынешнем положении", но разве мощь насилия не заключается в его бессмысленности?

Ответ пришел не сразу, но сравнительно скоро, через месяц или два после отправки письма. Все это время Гроссман никуда не выходил из дому, ждал звонка. Однажды вышел на часок подышать воздухом, а тут и позвонили. Трубку взяла Ира, ей дали номер телефона, по которому Гроссман должен был позвонить, — как можно быстрее. Так он и сделал, когда вернулся с прогулки. Его приглашали к Суслову.

Они беседовали около трех часов. Гроссман записал дома по памяти (а она у него была великолепная) эту беседу. Получилось около ста страниц. Когда Гроссман умер, вдова передала эту существовавшую в единственном экземпляре запись беседы с серым кардиналом в спецхран ЦГАЛИ. Ольга Михайловна с удовлетворением мне сообщила, что секретарь московского отделения Союза писателей полицейский генерал В.Н.Ильин одобрил этот ее поступок. Святая простота.

Увы, я помню из этой записи, крайне интересной, — что легко себе представить, — далеко не все. Суслов похвалил Гроссмана за то, что он обратился к первому секретарю ЦК. Сказал, что партия и страна ценят такие его произведения, как "Народ бессмертен", "Степан Кольчугин", военные рассказы и очерки. "Что же касается "Жизни и судьбы", — сказал Суслов, — то я этой книги не читал, читали два моих референта, товарищи, хорошо разбирающиеся в художественной литературе, которым я доверяю, и оба, не сговариваясь, пришли к единому выводу — публикация этого произведения нанесет вред коммунизму, советской власти, советскому народу". Суслов спросил, на что Гроссман теперь живет, узнав, что он собирается переводить армянский роман по русскому подстрочнику, посочувствовал, трудна, мол, такая двуступенчатая работа, обещал дать указание Гослитиздату — выпустить пятитомное собрание сочинений Гроссмана, разумеется, без "Жизни и судьбы". Гроссман вернулся к вопросу о возвращении ему арестованной рукописи. Суслов сказал: "Нет, нет, вернуть нельзя. Издадим пятитомник, а об этом романе и не думайте. Может быть, он будет издан через двести-триста лет".

Не знаю, как двигалась эта космическая цифра, снизу — от писателей-функционеров к Суслову или сверху — от Суслова к ним. Разговаривая, Суслов перебирал рукой обе рецензии, заглядывал в них, читал вслух наиболее, с его точки зрения, предосудительные цитаты из романа. По словам Гроссмана, рецензии были довольно большие, на глаз — по 15-20 страниц каждая.

Недавно выяснилась примечательная подробность. Два дачных соседа Черноуцана — мужа писательницы М.Алигер, некогда ответственного работника отдела культуры ЦК, сообщили мне, каждый в отдельности, что Черноуцан им сказал, что он был одним из рецензентов "Жизни и судьбы" и посоветовал изъять роман, а Гроссмана не трогать: последнее ставит себе в заслугу.

Чтобы покончить с пятитомником. Собрание сочинений Гроссмана так и не вышло в свет, обещание Суслова осталось невыполненным. В Гослитиздате долго мурыжили, в одном из писем ко мне Гроссман жалуется на то, что директор издательства Владыкин "крутит, увиливает от ответа". В другом письме, в конце 1961 года, Гроссман писал:

"Сегодня позвонили из "Нового мира", Дементьев* сообщил, что рассказ у них не пойдет. Разговор противный.

Не поздравляй меня пока с собранием сочинений, ведь план издательства еще не утвержден. А если будут резать план, то кого же, как не меня, вышибут из него, — стою на подножке".

Как Гроссман предсказывал, его вышибли из плана. После его смерти я как член созданной правлением Союза писателей комиссии по литературному наследству Гроссмана, имел по поводу собрания его сочинений (Гроссман успел составить подробное содержание каждого тома), разговор с новым директором издательства В.А.Косолаповым, который при всей своей официальной тертости, мог увлечься литературным событием. Косолапое отнесся к делу сочувственно, посоветовал, чтобы я выступил с предложением издать пятитомник Гроссмана на ближайшем заседании редсовета, но чтобы перед этим в издательство обратились с письмом видные писатели. Было подготовлено письмо, его подписали Эренбург, Твардовский, Паустовский и, с помощью Косолапова, собрание сочинений Гроссмана снова вставили в план редакционной подготовки. С Ольгой Михайловной заключили договор на составление пятитомника, она сдала в издательство первые два тома, даже получила мелкие (для нее крупные) деньги, но издание отпихивали из года в год, пока эту позицию (такое слово они употребляли), не вычеркнули из плана навсегда, — после выхода за рубежом повести "Все течет".

Гроссман старел на глазах у близких. В его курчавой голове прибавилось седины, появилась на макушке лысинка. Астма, которая отпускала его на некоторое время, вернулась к нему опять. Походка его стала шаркающей. Телефон у него замолк, многие старые друзья его покинули. Болезненно вос-

* Заместитель Твардовского в "Новом мире". Не помню, о каком рассказе пишет Гроссман. Думаю, что о "Тиргартене".

принял он поведение детского писателя Р.И.Фраермана, давнего своего друга, которого он любил. Гроссман мне писал: "Звонил Рувим, разговор длился долго, — четыре минуты. Но все же позвонил, хорошо и это".

А Гроссману нужны были друзья, приятели, собеседники. Чего эти люди испугались? Ведь Сталина уже не было. Я с особенной силой понял положение Гроссмана в последние годы, когда после моего выхода из Союза писателей нечто подобное, в меньшем объеме, произошло со мной. Два моих школьных товарища, а мне пошел 73-й год, нетрудно прикинуть, сколько лет мы были дружны, перестали со мной общаться, я даже не знаю, живы ли они. Но у меня появились, и здесь, и там, новые, чудесные друзья, а Гроссмана этим судьба не баловала. Правда, в Коктебеле он познакомился с критиком Л.Лазаревым и поэтом Н.Коржавиным, они были к нему внимательны, понимали значение его таланта, оба пришлись ему по душе, особенно его поразил Коржавин с его поэтическим мышлением и непоэтической внешностью, Гроссман был обоим благодарен за доброе к нему отношение.

Не печатающийся, изгнанный из литературы, он продолжал не только писать, но и живо интересоваться всем новым, что появлялось в печати. Его удивил своим озорством "Звездный билет" Аксенова, он обрадовался повести Войновича "Мы здесь живем", "Большой руде" Владимова. Он говорил, что у этих писателей большое будущее. Он не дожил до того, чтобы узнать знаменитого "Чонкина", "Верного Руслана", магаданские страницы "Ожога", "Двор посреди неба", но я уверен, что высоко оценил бы эти прекрасные, фундаментальные вещи. Он увидел в телевизоре вечер поэзии в Лужниках, и с большим удовлетворением сказал мне, что задорные молодые имели у многочисленной публики гораздо больший успех, чем стихотворцы-чиновники, одетые в броню званий и должностей.

Однажды он позвал меня к себе и с ликованием, неожиданным для меня, дал мне рукопись. Это был рассказ, напечатанный с одним интервалом на папиросной бумаге. Имени автора не было, рассказ был озаглавлен каторжным номером

зэка. Я сел читать — и не мог и на миг оторваться от этих тоненьких, помятых страничек, читал с восторгом и болью. Гроссман то и дело подходил ко мне, заглядывал в глаза, восторгался моим восторгом. То был "Один день Ивана Денисовича". Гроссман говорил:

"Ты понимаешь, вдруг там, в загробном мире, в каторжном гноище рождается писатель. И не просто писатель, а зрелый, огромный талант. Кто у нас равен ему?"

О Солженицыне более подробно Гроссман узнал от сотрудницы "Нового мира" Анны Самойловны Берзер. Он почему-то ждал, что Солженицын придет к нему, хотел встречи с ним. Но им так и не суждено было встретиться.

Михаил РЕЙМАН

СТАЛИН ПЕРЕД ЗАХВАТОМ ВЛАСТИ

Почему завещание Ленина осталось на бумаге

В исторической литературе, как и в повседневной журналистике, вновь ожила дискуссия о преемственности между Лениным и Сталиным. Основные импульсы исходят от русской неподцензурной общественной мысли. Эта дискуссия проникает, однако, на страницы западной прессы, а также в работы западных авторов. В центре внимания стоят, естественно, идейные вопросы: вопросы о роли ленинизма и его общественных построений в становлении сталинского режима. Существенное место принадлежит тем не менее и историческому аспекту: характеру сотрудничества и взаимоотношений между Лениным и Сталиным.

Если отвлечься от советских исторических работ, то мнения, представленные в литературе, можно, с учетом многих разночтений, свести к двум основным позициям. Часть авторов рассматривает победу Сталина как победу тенденций и сил, чуждых первоначальному смыслу большевизма. Для этих авторов характерно подчеркивание существенных различий в идеологии, в политике, как и во всей структуре личностей

Ленина и Сталина. Другая группа авторов стоит на точке зрения, что сталинский режим является закономерным продуктом большевизма, как и социалистических общественных построений в целом; выдвижение Сталина представляется ей — даже с учетом личного и политического конфликта между Лениным и Сталиным в последние месяцы активной политической деятельности Ленина, — не только прямым последствием политики, но также и прямым выражением воли Ленина.

Вопрос о конкретных обстоятельствах выдвижения Сталина на пост Генерального секретаря ЦК РКП интересен сам по себе. Его рассмотрение создает известный корректив к чисто идеологическим интерпретациям истории. Мне хотелось бы поэтому остановиться на обстоятельствах политического развития того времени, которые не всегда четко отразились в историографии.

ПРОФСОЮЗНАЯ ДИСКУССИЯ 1920-21 ГОДОВ И ПЕРЕВОРОТ ЛЕНИНА-ЗИНОВЬЕВА

Восхождение Сталина к верхней ступени власти в СССР началось с профсоюзной дискуссии зимы 1920-21 гг., первого крупного столкновения в ЦК РКП после гражданской войны. Историки изображают ее в виде политического столкновения Ленина и его сторонников с Троцким, пытавшимся внедрить в профсоюзы политику "кнута и палки", политику милитаризации. В действительности же основным содержанием этой дискуссии была борьба за власть в партии и государстве.*

Осенью 1920 г. ЦК РКП состоял из 19 членов и 12 кандидатов; в этом виде он еще сохранял характер рабочего органа, объединяющего в своих рядах узкий круг наиболее крупных партийных политиков. Для руководства повседневной работой ЦК образовал исполнительные органы: Политбюро, Оргбюро и Секретариат. Хотя в заседаниях этих органов могли участвовать все присутствовавшие в Москве члены ЦК, они концентрировали в своих руках значительную часть реальной власти. Наиболее могущественным органом было Политбюро, состоявшее из пяти членов (Ленин, Троцкий, Сталин, Каменев, Крестинский) и трех кандидатов (Бухарин, Зиновьев, Калинин). Этот круг лиц —

* Это обстоятельство отметил Л.Шапиро в своей книге "Коммунистическая партия Советского Союза". Однако и ему не удалось избежать традиционных оценок.

различия между членами и кандидатами Политбюро тогда большой роли не играли — воспринимался членами и работниками партии в качестве ее действительного руководства. Оргбюро занималось организационными и персональными вопросами (в первую очередь, назначениями и перемещениями партийных работников), поскольку они не решались в Политбюро. Деятельность Оргбюро целиком зависела от Политбюро и его политических установок; состав Оргбюро не был к тому же стабильным; многие его члены надолго отлучались из Москвы, и их работу выполняли другие работники.

Ядром Оргбюро были секретари ЦК: Крестинский, Преображенский и Серебряков, образовавшие Секретариат ЦК. Генеральный секретарь ЦК не избирался: фактически руководителем Секретариата был И. Крестинский, соединявший членство в Оргбюро и в Секретариате с принадлежностью к Политбюро. Секретариат ЦК не имел еще в партии никакой ведущей роли; он не столько выполнял тогда функции руководства партийным аппаратом, находившимся в начальной стадии своего становления, сколько координировал деятельность руководящих партийных и государственных учреждений.

Кроме секретарей, в Оргбюро накануне X съезда РКП (март 1921 г.) входили Рыков и Сталин, пользовавшиеся авторитетом крупных организаторов-практиков. Рыков был занят главным образом хозяйственной деятельностью — он исполнял обязанности Председателя ВСНХ. Сталин (наряду с Крестинским) был единственным членом Оргбюро, входившим также в состав Политбюро. Преимущество его положения было, однако, тогда далеко не ясным. Кроме того, Сталин лишь редко появлялся на продолжительное время в Москве, проводя большую часть времени в разъездах.

Центральное место в партийном руководстве несомненно принадлежало двум лицам: Ленину и Троцкому. Они пользовались наибольшей популярностью в стране и наибольшим влиянием в органах власти. Тем не менее их положение было не одинаковым.

Ленин, председатель правительства, был безвыездно в Москве; он сосредоточил в своих руках не только основные нити власти, но и решение повседневных политических и хозяйственных проблем; при этом он пользовался исключительно большим авторитетом как у членов партии, так и у партийных работников.

Иным было положение Троцкого. Роль, которую он сыграл в революции и гражданской войне, обеспечивала ему место второго по значимости вождя партии — наряду с Лениным. Однако его авторитет не был равноценен ленинскому. Дело не только в том, что Троцкий в качестве Наркома по военным и морским делам проводил большую часть времени в разъездах по стране. В большевистскую партию Троцкий пришел лишь в 1917 г. — до этого он по многим вопросам был политическим противником большевиков. Его быстрое возвышение в партии вызывало поэтому сильное раздражение у части ведущих кадров большевиков, в особенности у Зиновьева, Каменева и Сталина. Это было потенциальным источником многих конфликтов. Важную роль играли также некоторые персональные качества Троцкого. С одной стороны, он был человеком большого личного и политического мужества, трибуном, умевшим увлечь за собой массу людей силой слова и примера. Его характеризовала несомненная сила интеллекта, аналитические свойства ума, способность мыслить в больших исторических категориях, строить оригинальные общественно-политические схемы и концепции. С другой, Троцкому, однако, не хватало той харизматической, притягательной силы в личном контакте, которая была у Ленина. Троцкий нередко раздражал людей манерой поведения, повадками местечкового интеллигента во много раз превышающего свое окружение и никак не скрывавшего своего превосходства. Ему никогда не удалось полностью усвоить культуры поведения, соответствующей его новому положению в обществь. Наделенный большим талантом руководителя и организатора, Троцкий, тем не менее, оставался интеллектуалом, неспособным к систематической аппаратной работе, которая играла все большую роль в системе власти, в результате ему не удалось достаточно прочно закрепить свое влияние в руководстве партии. Положение Троцкого в конце гражданской войны было поэтому противоречивым. Он увлек за собой большой слой руководящих работников, многих выдающихся представителей тогдашнего большевизма, оказывая влияние не только на подчинявшиеся ему военные учреждения, но и на центральный партийный аппарат, в частности — на Секретариат ЦК, на многих хозяйственников, — в том числе и на "буржуазных специалистов", сотрудничавших с советской властью, на большевистских литераторов и журналистов, на руководство советской службы безопасности — ЧК и т.д. В то же время он был уязвим в глазах среднего кадра большевиков, — удобным объектом разного рода интриг и сплетен.

Позиция Троцкого ослаблялась еще тем, что он, уже вследствие своего положения Наркомвоенмора, становился основным проводником военных методов в гражданской жизни. Военные методы работы, связанные с принуждением вплоть до судов трибунала, не могли, конечно, пользоваться популярностью у населения. Кроме того, Троцкий стоял на точке зрения — и это вряд ли приходится вменять ему в вину, — что военные строгости не могут применяться лишь по отношению к беспартийным: авторитет революционной власти можно было, по его мнению, сохранить только в том случае, если они в равной мере применялись также к коммунистам. Это вызывало крайнее недовольство у части партийных работников. Они вели разговоры о том — и это хорошо известно из литературы сталинского времени — что Троцкий расстреливает коммунистов.

---

* На одном из партийных съездов того периода Крестинского назвали Генеральным секретарем ЦК, но он резко отмежевался от такой характеристики своей роли, указав на равенство в правах всех секретарей ЦК.

Большая часть интриг против Троцкого исходила от Сталина и Зиновьева; последний стоял во главе Петрокоммуны и Коминтерна. Зиновьев был в годы эмиграции ближайшим сотрудником Ленина. Качества хорошего оратора и неплохого журналиста сочетались у него с неимоверными претензиями и непомерным честолюбием. В политике Зиновьев, которого характеризовала неодолимая склонность к бюрократическим и диктаторским методам, нередко пользовался нечистоплотными интригами. В критических ситуациях он легко поддавался панике, проявляя склонность к применению насилия и даже просто к жестокости. Претендуя на роль второго человека в государстве и законного наследника Ленина, Зиновьев лишь с большими усилиями мирился с положением Троцкого. Интриги Зиновьева и Сталина отравляли атмосферу в партийном руководстве; они тем не менее долгое время не вели к открытым конфликтам, разбиваясь о сотрудничество Ленина и Троцкого. Вряд ли приходится сомневаться в том, что Зиновьев и Сталин были Ленину ближе, чем Троцкий. Ленин, однако, ценил политический талант Троцкого; он прекрасно понимал, что в период гражданской войны Троцкий в качестве организатора армии вряд ли заменим.

С окончанием гражданской войны положение в партии и в органах государственной власти начало меняться. Страна была покрыта развалинами, производство сократилось до минимума, железные дороги останавливались, население городов голодало; голод угрожал также разоренной и непрерывно разоряемой властью деревне. Старая система общества и производства полностью распалась. Большевики пытались воссоздать ее на новой основе. Им не хватало, однако, ни элементарных знаний, ни опыта организации общественной и производственной жизни. Пробел должна была заполнить социалистическая теория. Результатом оказывались утопические, дилетантские представления о возможности непосредственного строительства фундамента социалистического строя: об отмене частной собственности и ликвидации товарно-денежных отношений, об их замене планомерной деятельностью новых государственных и хозяйственных аппаратов. Все это выливалось в неосознанную попытку создать бюрократическую систему общества.

Невежественные и некомпетентные работники советского аппарата не могли, конечно, справиться с возложенными на них задачами, которые уже в самой своей основе были неразрешимыми. Не оправдали себя и надежды на замену материальных стимулов моральными. Единственным фактором организации как производственной, так и всей остальной хозяйственной жизни общества становилось принуждение, насилие.

Принуждение в условиях существующей системы отношений могло, однако, приносить известный результат только в том случае, если оно применялось планомерно и систематически. В то же время единственным положительным организационным опытом власти оказывался армейский, — опыт организации армии, выстоявшей и победившей в гражданской войне. Отсюда неизбежно вытекали тенденции к милитаризации производственной и гражданской жизни, перенесение все большего числа разнообразных функций и обязанностей на военные аппараты и военных работников. Это направление в решении вопросов хозяйственной жизни разделялось большинством руководства РКП: Лениным, Троцким, Зиновьевым, Сталиным и др.; им противостояли главным образом работники профсоюзов (Томский) и некоторые хозяйственники (Рыков), не располагавшие, впрочем, никакой системой действенных положительных предложений. Особенно последовательно милитаризация применялась на транспорте, который стоял под угрозой полной остановки. Она осуществлялась на базе постановлений IX съезда РКП (1920 г.). В Наркомпуть был назначен Троцкий (сопротивлявшийся этому назначению), на транспорт были брошены многие военные работники, как и способные работники других отраслей. Создавались политические управления и система комиссаров на транспорте. Милитаризации подверглись также профсоюзы. Был создан пресловутый Центральный комитет объединенного профсоюза работников железнодорожного и водного транспорта (Цектран), который явился проводником таких методов. При помощи этих мер удалось несколько приостановить распад хозяйственной жизни, особенно транспорта.

Не хочу утверждать, что милитаризация была благом. Ее необходимость, особенно на железных дорогах, понималась тем не менее в известных пределах населением; она не вызывала споров и среди большевиков. Конечно, милитаризация провоцировала недовольство рабочих, но она не была — и здесь необходимо отвергнуть утверждения казенной советской историографии — основным источником массового недовольства. Таким источником было нечто другое: форсированное (с осени 1920 г.) внедрение военно-коммунистических мер. Новая волна экспроприаций и национализаций, затронувшая более мелкие функционирующие предприятия, запреты торговли, ее преследование со стороны ЧК, резкое ограничение денежного обращения, форменный грабеж в виде повальной продразверстки в деревне, — не способной прокормиться самостоятельно, — попытки подвергнуть всю жизнь деревни строгой административной регламентации, получившие в конце 1920 г. одобрение на VIII съезде Советов, и многие другие сходные меры, проводившиеся с полного согласия и по инициативе большевистского руководства, включая Ленина, — вот основные элементы того кризиса, который разразился в стране в начале 1921 г.

Нарастание недовольства не могло пройти незамеченным для партийного руководства. В самой партии оно проявилось возникновением сильной оппозиции части рабочего актива, выступавшего против бюрократизма и командования, а также против разложения в среде большевиков и привилегий руководящего партийного слоя. Эта оппозиция, получившая название "рабочей оппозиции" (Шляпников, Медведев, Мясников, Коллонтай и др.), осенью 1920 г. сумела завоевать прочные позиции в профсоюзах, в особенности в чрезвычайно влиятельном профсоюзе металлистов. На Московской губернской партийной конференции в ноябре 1920 г. за ней шло около одной трети делегатов.

---

* В связи с последовавшими событиями, как и со всем содержанием легенды, распространяемой и по сей день большинством советских авторов, будет не лишне заметить, что Цектран был оформлен постановлением ЦК от 26.9.1920 г., защищавшимся в отсутствие Троцкого Лениным, Зиновьевым и Сталиным. Возражал Томский.

Ленин нервничал. Нервничали и другие члены большевистского руководства. В рамках существующей системы организации общества действительные причины нарастающего недовольства оказывались вне их поля зрения. Их энергия расходовалась на частности. На партийной конференции в конце сентября 1920 г. по предложению Е.Преображенского, поддержанному Зиновьевым, была принята обширная резолюция, направленная на демократизацию партийной жизни. Она гарантировала некоторые права инакомыслящих. Это открывало двери дальнейшему росту критики, не продвигая ни на йоту положительного решения вопросов, и вело к назреванию внутрипартийных конфликтов.

Открытое столкновение произошло на V Всероссийской конференции профсоюзов в начале ноября 1920 г. Выступивший на заседании коммунистической фракции Троцкий констатировал глубокий кризис профсоюзов, их неспособность к положительным действиям, утрату ими влияния в рабочей среде. Причины создавшегося положения он усматривал, с одной стороны, в потере профсоюзами их традиционного поля деятельности — защиты рабочих интересов (отмена оплаты за коммунальные и прочие услуги, как и квартплаты и проезда на транспорте, отмена рынка и выдача зарплаты натурой и т.д.); с другой, в уходе наиболее толковых и способных работников в хозяйственный аппарат. Выход, по мнению Троцкого, — в усилении роли профсоюзов в хозяйстве, в слиянии профсоюзных и хозяйственных органов. Тем самым профсоюзы должны были вновь обрести возможность активно защищать интересы и запросы рабочих. В то же время придание профсоюзам хозяйственных функций потребовало бы их существенного усиления за счет работников, квалифицированных для хозяйственной работы, и ухода неквалифицированных и бестолковых "болтунов" (пресловутое "перетряхивание" профсоюзов и их кадров). Чувствуя недовольство части профсоюзной верхушки мерами, примененными на транспорте, Троцкий брал под свою защиту методы милитаризации производства, выступая против их противопоставления методам гражданским.

Выступление Троцкого получило поддержку значительной части присутствовавших коммунистов-профсоюзников. Оно, однако, вызвало также резкую реакцию части профсоюзного руководства. Непосредственно с заседания Томский отправился к Ленину. Ленин был крайне взволнован случившимся, его никак не прельщала перспектива конфликта в профсоюзной верхушке, грозившего усложнить и без того нелегкое положение в стране. При этом он не видел большого смысла в предложениях Троцкого, считая их с полным основанием бюрократической затеей, одной из многочисленных тогда бесплодных попыток "перестроек".

Вопрос был поставлен в Политбюро и затем на Пленуме ЦК. Роковым оказалось не только то, что Троцкий настаивал на своих взглядах, ошибочность которых в рамках тогдашнего партийного курса не была вполне очевидной, но и то, что Ленин пытался решить положение силой, не девая Троцкому возможности почетного отступления (первоначально Ленин собирался открыто выступить против Троцкого). Уступая мнениям части профсоюзной верхушки, он резко изменил также свою позицию по отношению к Цектрану, настаивая на его ускоренном переходе к гражданским методам работы. Тем самым на Троцкого взваливалась ответственность за то, что было линией партийного руководства в целом. Он, как и многие из его сотрудников на транспорте, неизбежно попадал под удар резкой и не всегда справедливой критики. Сдаться на таких условиях Троцкий вряд ли мог.

Конфликт застал ЦК неподготовленным. Зиновьев, в целом поддерживая Ленина, опасался открытого взрыва противоречий. Рыков и в еще большей степени Бухарин склонялись на сторону Троцкого, на его стороне выступал также Крестинский и весь партийный секретариат. Сталин отсутствовал. В конечном счете победило стремление не обострять отношений. ЦК запретил Ленину открыто выступать против Троцкого и создал особую комиссию под председательством Зиновьева. В основу ее работы легла ленинская точка зрения — "твердые" сторонники Ленина оказались в большинстве. Троцкий был фактически лишен возможности отстаивать свою позицию.

Тем не менее казалось, что спор закончен. В действительности дело было не так. Конфликт создал трещину во взаимоотношениях Ленина и Троцкого. Это, впервые за долгое время, открывало возможность фронтальной атаки на Троцкого. К тому же окончание гражданской войны в конце 1920 г. ослабляло позицию Троцкого как вождя Красной армии, делая его более уязвимым.

7 декабря 1920 г. профсоюзный вопрос был вновь поставлен на заседании ЦК. ЦК, однако, снова — вопреки возражениям Ленина и Зиновьева — принял компромиссное решение, стремившееся предупредить открытую вспышку противоречий. Тем самым стало вполне очевидным то, что впервые проявилось во время ноябрьских разногласий: Ленин не располагал в ЦК прочным большинством против Троцкого. В изменении внутрипартийного положения был теперь тем самым активно заинтересован не только Зиновьев, но и Ленин. Уже на том же заседании ЦК Ленин при помощи Зиновьева провел решение созвать в кратчайшие сроки съезд партии. С этого момента, однако, профсоюзная проблематика, вопреки своей внешней остроте, теряла свое первостепенное значение; речь шла не о профсоюзах, а о партии, о коренном изменении ее руководства.

События приобретали вполне определенное направление. Уже через несколько дней после заседания ЦК и вопреки его решениям, водники вышли из состава Цектрана. Вслед за этим Зиновьев — он позднее никак не скрывал этого — обратился к Троцкому от своего имени и от имени Ленина с предложением опубликовать тезисы по профсоюзному вопросу: дискуссия, дескать, все равно "прет изо всех углов". 24 декабря 1920 г. ЦК наконец — под давлением Ленина и Зиновьева — дает согласие на открытую дискуссию. 25 декабря Троцкий, следуя призы-

---

* Компромиссная резолюция была принята большинством (8 против 7) голосов. При полном составе ЦК Ленин мог твердо рассчитывать лишь на 8 голосов: его собственный, Артема, Зиновьева, Калинина, Каменева, Сталина, Томского и Рудзутака. На заседании 7 декабря на его сторону перешел Рыков. Рыков, однако, в последующей дискуссии так и не примкнул к ядру ленинской группы. ЦК имел тогда, как Уже указывалось, 19 членов (без кандидатов, которые не голосовали).

ву Ленина и Зиновьева, публикует свои тезисы. К дискуссии подключается также ряд оппозиционных групп, — в частности, уже упомянутая "рабочая оппозиция". Важным в действительности оказывается только одно: Зиновьев, а теперь и Ленин получают возможность обвинить Троцкого во фракционности и начать открытую борьбу за изменение состава партийных органов и всего внутрипартийного соотношения сил.

Открытое столкновение между Троцким, которого поддерживал Бухарин, и Лениным и Зиновьевым произошло на заседании коммунистической фракции VIII съезда Советов 30 декабря 1920 г. Обе стороны изложили здесь свои взгляды на актуальную профсоюзную проблематику. Эти взгляды не слишком изменились с момента их первого столкновения в ноябре. Действительный смысл происходящего стал, однако, очевиден спустя несколько дней: 3 января 1921 г. руководимая Зиновьевым петроградская организация — вернее, подобранное собрание руководящих работников — принимает особое обращение "К партии".* В этом обращении петроградская организация не только высказывает свою солидарность с Лениным и Зиновьевым, но выдвигает требование выбирать делегатов предстоящего партсъезда "по платформам", т.е. по принадлежности к фракциям.

Как и следовало ожидать, такое обращение вызвало в партии удивление и возмущение: петроградская организация, вопреки проповедывавшимся долгие годы принципам, открыто призывала к фракционности! Резкие возражения раздавались и в самом Петрограде, многие члены партии чувствовали себя обойденными зиновьевским руководством. Московская организация выразила свой протест в особой резолюции. Троцкий с полным основанием ссылался на IX партсъезд. Московская "Правда", редактируемая Бухариным, отказывалась предоставлять свои страницы для развязанной Зиновьевым полемики.

Между тем Ленин и Зиновьев продолжали группировать своих сторонников. 12 января 1921 г. ЦК под их давлением принимает новые решения: обеспечить полную свободу дискуссии, любая парторганизация имеет право защищать свое мнение и — что главное — допускаются выборы на съезд по платформам. Эти решения служили одному: развязать руки для фракционной деятельности сторонникам Ленина и Зиновьева.

14 января 1921 г., т.е. через два дня после того, как ЦК разрешает выборы по платформам, появляется "Платформа десяти" — Ленина, Сталина, Зиновьева, Томского, Рудрзутака, Калинина, Каменева, Петровского, Артема и Лозовского!** Общественности тем самым предста-

---

* Обращение появляется в такой спешке (с момента первого открытого столкновения прошло лишь три дня),«что члены партии не успели толком разобраться в основных представленных на VIII съезде Советов точках зрения.

** "Платформа" была первоначально издана в виде брошюры, а затем 18 января 1921 г. опубликована в московской "Правде". Здесь к ней присоединили свои подписи В.Шмидт, Г.Циперович и В.Милютин.

вилось ядро той группировки, которая предъявляла претензии на неограниченное господство в партии.

Вряд ли имеет смысл останавливаться на дальнейших частностях: ажиотаж ленинско-зиновьевской фракции перешагнул все разумные границы (ведущая роль в этом принадлежала Зиновьеву, Ленин в основном оставался в стороне). В партии распространялись высказывания Зиновьева о том, что власть захвачена сторонниками Троцкого и что "ленинцы" были вынуждены уйти "в подполье", что нельзя позволить "какому-то Оргбюро" распоряжаться партией. Утверждалось: "Кто голосует за Троцкого, голосует за диктатуру кнута". Фракционная пропаганда не останавливалась перед необходимостью сохранить еще не окрепший транспорт, а также боеспособность и благонадежность армии. Особенно разнузданную пропаганду против Троцкого вели сторонники Зиновьева в Кронштадте, и это в немалой степени подрывало авторитет командования, способствуя разложению местной партийной организации и последующим событиям Кронштадтского восстания. В Москве руководителем ленинско-зиновьевской фракционной кампании был Сталин. Здесь он впервые в большом объеме овладел искусством политической расправы с крупнейшими деятелями партии. Он даже публиковал "сводки" с "фронтов" внутрипартийной борьбы. Дело дошло до того, что посреди экономической катастрофы, развернувшейся в конце января и начале февраля 1921 г., Ленин, вопреки протестам петроградских коммунистов, посылает Зиновьева с фракционными заданиями на далекий Урал — вести борьбу против сильного в этих краях Троцкого.

Вся эта деятельность не могла окончиться добром. Сорвалось снабжение обеих столиц: с середины января пришлось значительно сокращать и без того голодные пайки, посреди зимы обнаружилась острая нехватка топлива и энергии. В Петрограде в феврале были закрыты 64 крупнейших предприятия — вся "крупная индустрия" города. Начались рабочие волнения в Москве и в Петрограде. В Петрограде даже носились слухи о возможности всеобщей забастовки. Город был поставлен на военное положение. Вскоре вспыхнул Кронштадский мятеж.

Неблагополучие нарастало и в деревне. С начала 1921 г. по стране прокатилась волна крестьянского повстанческого движения — ответ на жесточайшую заготовительную кампанию власти, обрекавшей крестьян на голод. Все это наглядно показывало, насколько профсоюзная дискуссия (вопреки внешней популярности борьбы против милитаризации, введшей в заблуждение и немалую часть историков) шла мимо действительных причин недовольства громадных масс населения страны.

Катастрофа свалилась на большевистское руководство, как снег на голову; занятое внутрипартийной борьбой, оно утратило способность оценивать реальное положение дел и своевременно принимать меры. Профсоюзную дискуссию пришлось скорейшим образом сворачивать. Кампания, развернутая Зиновьевым и Лениным, тем не менее дала уже свои плоды. Партийные организации одна за другой высказывались в пользу Ленина и Зиновьева. На X съезде РКП в марте 1921 г. Троцкий взывал к делегатам не углублять рвов, вырытых в партии профсоюзной дискуссией: положительные решения, принимаемые по этому воп-

росу — в этом Троцкий был совершенно прав — не стоят того, они не доживут даже до следующего партсъезда. Такие призывы не могли иметь, однако, никакого успеха. Группировка вокруг Ленина и Зиновьева завоевала себе возможность получить подавляющее большинство во всех решающих учреждениях партии и не имела намерения отказываться от плодов своей победы.* Более того, принятая на съезде резолюция о единстве партии закрепляла эту победу, отбирая у побежденных возможность добиваться легальными путями изменения руководящей группы.

То, что произошло на X съезде РКП/б/, равнялось в действительности государственному перевороту. Опасность милитаризма, угрожавшую тогда со стороны Троцкого переоценивать нельзя. Специфическая роль армии, проходившей после окончания гражданской войны процесс демобилизации и резкого сокращения, быстро падала. Большевики, как и сам Троцкий, — это достаточно показали последовавшие события — имели перед глазами опыт Французской революции. Троцкий не только не претендовал на роль русского Бонапарта, но и боялся такой роли. Государственный переворот в том виде, в каком он был осуществлен Лениным и Зиновьевым, особенно с учетом всех его последующих издержек, представляется поэтому вряд ли оправданным: он никоим образом не затрагивал корня зла.

В литературе, особенно в работах западных авторов, нередко выражается недоумение, почему Троцкий никогда не попытался по-настоящему бороться за "ленинское наследство", т.е. за роль руководителя советского государства. В свете результатов профсоюзной дискуссии 1920-21 гг. ответ на этот вопрос ясен. Троцкий утратил эту возможность еще на X съезде РКП и не мог не понимать этого.

ПОБЕДИТЕЛИ И ИХ ПОБЕДА

Я никак не хотел бы утверждать, что уже в период X съезда была полностью предопределена вся линия последующего развития. Положение в стране, как и внутри партии, оставалось сложным, чреватым многими неожиданными и непредвиденными последствиями. Ленинско-зиновьевская группировка была по своему составу весьма пестрой,

* На X съезде РКП в ЦК не было выбрано 5-ти из его прежних членов и 6-ти кандидатов. В то же время количество членов ЦК было увеличено с 19-ти до 25-ти, а кандидатов с 12-ти до 15-ти. Тем самым было кардинально изменено соотношение сил. Если при старом составе ЦК Троцкий мог рассчитывать на половину голосов, на полный перевес сил в Оргбюро и в Секретариате и на соотношение двух к двум в Политбюро при арбитражной роли Ленина, то в новом ЦК он мог считаться (также в результате перебежки Бухарина и Дзержинского) лишь с тремя. Троцкий полностью потерял позиции в Оргбюро и Секретариате, а в Политбюро соотношение сил становилось 1 к 3 или даже 1 к 4, поскольку Ленин не играл больше роли арбитра между двумя равноценными блоками.

она состояла в основном из своеобразной комбинации членов узкого руководства (Ленин, Зиновьев, Сталин, Каменев, Калинин) и профсоюзных работников (Томский, Рудзутак, Артем и Лозовский).* Не все члены этой группы оказывались в результате победы в равном положении. Более других в политическом отношении выигрывала группа: Зиновьев, Сталин и Каменев. Перспективной казалась позиция Томского. В его способностях практика-организатора не приходилось сомневаться. В дискуссии он, однако, проявил и немалые качества политика, сумев в конечном счете отстоять целый ряд своих мнений по вопросам профсоюзной работы, первоначально отвергавшихся партийным руководством. При всем том Томский был выходцем из рабочих и, что немаловажно, русским по национальности. Немалые надежды связывались, очевидно, также с Артемом (Ф.Сергеевым), погибшем короткое время спустя в железнодорожной катастрофе.

Первоначальная группировка сил была, однако, вскоре разрушена. События весны 1921 г. вызвали разнообразные реакции среди населения и в самой партии. И это не могло не сказаться на позициях отдельных членов руководства. Сильное брожение проявлялось в профсоюзах. С одной стороны, в них косвенно находило свое выражение недовольство широких кругов рабочих положением в стране, с другой — сильно действовала демагогия ленинско-зиновьевской группы, изображавшей борьбу против Троцкого как борьбу за права профсоюзов. Это привело к конфликту на IV Всероссийском съезде профсоюзов во второй половине мая 1921 г.

На заседании коммунистической фракции этого съезда Д.Рязанов, один из старейших большевиков, предложил резолюцию, требовавшую от центральных партийных учреждений отказа от мелочного вмешательства в повседневную жизнь профсоюза. Томский, председательствовавший на заседании фракции, отмолчался; фракция одобрила резолюцию Рязанова. Ленин был до крайности разозлен случившимся. Последовало наказание: Рязанову было запрещено работать в профсоюзах, Троцкого отправили в ссылку — "на работу" в далекий Туркестан, в проблематике которого он ничего не смыслил.** Он вернулся в Москву лишь в конце 1921 г. Его позиции, однако, были уже подорваны.

Не менее серьезные события разыгрались в Петрограде. В их центре оказался Зиновьев. Беспардонность Зиновьева в ходе профсоюзной Дискуссии, равнодушие к интересам города, оказавшегося в глубоком экономическом и политическом кризисе — все это вызвало сильное недовольство в партийной организации Петрограда. Полемика дос-

* Особняком в группу входил Петровский, бывший на руководящей работе на Украине.

** В Туркестане завязалась продолжительная борьба между Томским и Сафаровым, отстаивавшим интересы местного населения против русских — в них видели колонизаторов. На стороне Томского активно выступали не только его союзники по "десятке" в Москве, но и высокие чины ЧК. Сафарову удалось уцелеть как политику только потому, что Ленин, зная своих, не доверял их мнению.

тигла особой силы в сентябре 1921 г. в связи с происходившей тогда XV петроградской губернской партийной конференцией. Зиновьев реагировал на критику резкими, оскорбительными политическими обвинениями, называя своих противников "рабочей оппозицией четвертого сорта". Не помогло ни посредничество Ленина, ни многократное рассмотрение дела на заседаниях Политбюро и ЦК. Два секретаря петроградской организации — Угланов и Харитонов — должны были в угоду Зиновьеву покинуть город. Сталин, участвовавший в разборе петроградского конфликта, приобрел здесь ценных союзников. Положение Зиновьева было также сильно ослаблено. В партийных кругах ползли слухи о предстоящем уходе Зиновьева из Петрограда. Предполагалось, что его заменит популярный И.Н.Смирнов, оставивший свой пост Предсибревкома и тепло встреченный петроградским партийным активом.* Когда в феврале 1922 г. Исполком Коминтерна обратился к Зиновьеву с просьбой перейти в Москву и посвятить все свое время посту Председателя Коммунистического Интернационала, казалось, что дни Зиновьева в Петрограде сочтены.

Все эти события подрывали положение новой руководящей группы. Слабость ее заключалась также в том, что в ее составе не было людей, способных квалифицированно справляться со сложной проблематикой хозяйства и социальных отношений. Это было серьезным пробелом не только потому, что после X съезда РКП/б/ начала осуществляться перестройка экономики на базе нэпа, но и потому, что хозяйственная жизнь была полностью разрушена: страна стояла на пороге до той поры невиданного в ее истории голода.

Уже вскоре после съезда Ленин был вынужден включить в новую руководящую группу Рыкова, ставшего его заместителем по Совнаркому (до этого Ленин заместителей не имел). Позднее он попытался также укрепить положение А.Цюрупы, бывшего в период военного коммунизма Наркомпродом РСФСР. Этого, конечно, было недостаточно. Ленин продолжал поэтому все чаще пользоваться услугами целого ряда крупных работников, которые считались сторонниками Троцкого, и это приводило ко многим конфликтным ситуациям. В Донбассе Ленин поддерживал Пятакова, который не ладил с Рухимовичем и Чубарем, защищавшими местные интересы, а потому пытавшимися использовать общее поветрие борьбы с "троцкизмом". В ВСНХ Ленин одобрял Смилгу — за его деятельность во время революции, а затем в качестве члена Реввоенсовета Западного и Кавказского фронтов. Смилга в тот период Заместитель Председателя ВСНХ, сыграл на этом посту исключительно большую роль в разработке первой фазы нэпа. Ленин также долгое время тормозил политическую расправу с членами прежнего Секретариата ЦК. Крестинский мог в течение определенного времени отказываться от поста полпреда в Германии, на который его прочили, и оставался в Москве в качестве Наркомфина; Ленин систематически подчеркивал роль Преображенского, как специалиста по финансовым вопросам, против Сокольникова (зам.Наркомфина), принадлежавшего к зиновьевской группировке. Все это, в конечном счете, отражало существенные, хотя и открыто не сформулированные разногласия в ведущей группировке по вопросу об отношении к Троцкому и его сторонникам. Ленин стремился улучшить отношения, нарушенные в ходе профсоюзной дискуссии; он был с полной очевидностью удовлетворен новым соотношением сил в руководящих органах и не видел необходимости в дальнейших дискриминирующих мерах.

* На X съезде РКП Смирнов был по настоянию Ленина переведен из членов в кандидаты ЦК. Причины ленинского отвода не были опубликованы; можно, однако, предположить, что Смирнову вменялось в вину, что он не предупредил большого восстания сибирских крестьян, вспыхнувшего в феврале 1921 г. и явившегося для партийного руководства неожиданностью.

В литературе, посвященной восхождению Сталина к власти, нередко упускается из виду или даже неправильно интерпретируется один существенный фактор того времени: структура власти в тогдашней Советской России; сила отдельных руководителей производится непосредственно от тех административно-политических должностей, которые они занимали. Действительное положение выглядело несколько иначе. Внутри власти существовали сильные различия между постами и должностями административными и политическими. Пост члена правительства, особенно если он сочетался с членством в ЦК, был преимущественно политическим. Наркомы, как и другие руководители решающих центральных учреждений, принимали политические решения, участвовали в деятельности политических органов или выполняли особые политические поручения; они, однако, как правило, не осуществляли непосредственного руководства повседневной административно-политической деятельностью своих ведомств или учреждений; оно лежало на плечах их первых заместителей. Именно поэтому ведущие партийные работники могли выполнять несколько крупных политических поручений одновременно. Троцкий мог, например, находиться в отъезде, на фронтах войны, потому что военным ведомством руководил Склянский; повседневное руководство Рабкрином лежало не на Сталине, а на Аванесове. Сталин проводил долгие недели в Закавказье или выполнял другие поручения ЦК; Крестинский мог быть одновременно и секретарем ЦК, и Наркомфином, и оставаться Наркомфином, будучи Полпредом РСФСР в Германии. Красин при заместителе Лежаве мог целые месяцы выполнять дипломатические поручения за границей, работая при этом Наркомвнешторгом, и т.д.

Такая конструкция власти имела свои последствия. Победа ленинско зиновьевской группировки на X съезде означала большой рост ее политической власти как целого; она, однако, в то же время не закрепляла специфического удельного веса отдельных членов этой группы. Поэтому не было оснований считать, как часто пишут, что позиция Сталина во главе Наркомнаца и Рабкрина* была предпочтительней, чем, например, позиция Зиновьева во главе Петросовета и Коминтер-

* Роль этих двух Наркоматов, как опорных пунктов Сталина была в литературе сильно преувеличена. Наркомнац уже по характеру своих задач решающего влияния на отношения власти в центре не имел. Образованием СССР в декабре 1922 г. он исчерпал свое назначение. Что касается Рабкриида, то и его роль в расстановке кадров была в литературе сильно преувеличена. Основные кадровые вопросы проходили через Полит- и Оргбюро. В их подготовке Рабкрин не имел решающего значения.

на или позиция Каменева во главе Моссовета и Политбюро и т.д. Кроме того, сосредоточение большого количества самых разнообразных должностей в одних руках отнюдь не всегда означало полную политическую загруженность того или иного руководящего работника.

С точки зрения дальнейшего выдвижения на передний план в партии Сталина большое значение приобретают два обстоятельства: с одной стороны, Сталин в известном смысле оказывается в выгодном положении по сравнению с другими претендентами на власть. Этому способствуют уже указанные результаты профсоюзной дискуссии, отодвинувшие на задний план многих видных партийных работников, а также и последующее ослабление позиций ряда ведущих членов ленинско-зиновьевской группировки (Зиновьева, Томского, смерть Артема и т.д.). При этом не надо забывать, что Сталин, несмотря на отрицательные качества своего характера, был далеко не заурядным членом партийного руководства: в своем "Завещании" Ленин называл его, наряду с Троцким, наиболее выдающимся деятелем партии. С другой стороны, возврат Сталина в Москву создает для него возможность систематической работы в центре. Весной 1921 г. он ведет переговоры с Лениным, добиваясь у него новых партийных поручений.

Направление деятельности Сталина было в значительной степени предопределено положением в партийной верхушке. Наиболее слабым звеном в системе власти оказывался партийный аппарат. После X съезда были созданы новые Оргбюро и Секретариат ЦК. Ответственным секретарем ЦК стал В.Молотов, избранный одновременно членом ЦК и кандидатом Политбюро,** двумя другими секретарями были Ярославский и Михайлов. Никто из этой троицы не пользовался особым авторитетом в партии и ее руководстве. Роль партийного секретариата, как и аппарата в целом, оставалась недооцененной. В результате ведущим политикам вряд ли казалось необходимым самим занимать посты секретарей.

Будучи избранным, молотовский Секретариат попадал в чрезвычайно трудное положение. На Секретариат падали задачи, к которым он не был подготовлен, к тому же он и вообще не был достаточно квалифицирован. Волнения весны 1921 г. проходили в условиях значительного недовольства коммунистов своим правительством, а следовательно, партийным руководством. Руководство объясняло такое положение тем, что в партию влилось очень много "мелкобуржуазного элемента". Оно ухватилось за идею "партийной чистки", выдвинутую первоначально "рабочей оппозицией". "Рабочая оппозиция" имела в виду очищение партии от разложившихся элементов, от людей, злоупотреблявших своим положением в личных целях. Теперь же эта чистка должна была стать орудием изгнания не только "разложившихся" членов партии, но и массы недовольных.

---

* Каменев был по существу основным организатором работы Политбюро при Ленине.

** На IX съезде РКП/б/ Молотов был впервые избран кандидатом ЦК, но, работая в Нижнем Новгороде, он никак не вписал себя в комбинацию власти в центре.

Начавшись в августе 1921 г., она привела к сокращению партии на более чем 20 процентов (около 160 тысяч из общего числа в 660 тысяч членов). Проверке подлежали все члены партии, вплоть до работников ее центральных органов. Этим неизбежно менялся весь строй партийной жизни. Самостоятельность мнений членов партии резко ограничивалась, возводилась система безоговорочного подчинения руководству.

Параллельно проводилось интенсивное строительство партийного аппарата, сопровождавшееся учетом всех руководящих работников (то, что картотеки на партийных работников создавались практически в ходе чистки, не способствовало их независимости). Молотовский Секретариат ввел систему инструкторов ЦК в губерниях и областях, связывая низшие партийные органы в их деятельности. Эта система стала впоследствии одним из основных орудий подчинения центру партийных организаций сверху донизу. Если еще в сентябре 1920 г. руководство партии, не накопившее достаточного опыта в условиях "диктатуры пролетариата", пошло — по инициативе Преображенского — в сторону демократизации, то теперь оно прочно взяло обратный курс, курс на партию — послушный инструмент в руках руководства.

Общий курс, проводившийся партийным Секретариатом, не мог, конечно, способствовать его популярности. Неодолимая склонность Секретариата к бюрократизму становилась в партии притчей во языцех. В партии укрепилось мнение о его политической слабости.

К этому присовокуплялось и то, что молотовский Секретариат был недостаточно авторитетен и потому неспособен координировать деятельность высших партийных и государственных учреждений. Это вызывало сильное недовольство Ленина, который не мог в прежней степени пользоваться услугами секретарей. Новый Секретариат был также неспособен своевременно и тактично или во всяком случае достаточно решительно вмешиваться во внутрипартийные конфликты и трения, назревавшие в новых условиях (Петроград, Баку, Донбасс, Туркестан и т.д.). Во всех таких случаях руководству партии приходилось прибегать к созданию особых комиссий или к назначению посредников и уполномоченных из числа руководящих работников (особенно часто Каменева и еще больше — Сталина). Тем самым становилась все очевиднее необходимость принципиального "укрепления" партийного Секретариата, введения в его состав кого-либо из авторитетных партийных политиков.

В партийную жизнь с лета 1921 г. вступал еще один момент, роль которого нередко упускается из виду: болезнь Ленина. Болезнь Ленина стала вполне очевидной вскоре после окончания X съезда РКП/б/. Уже назначение Рыкова на пост его заместителя по Совнаркому было, по всей видимости, обсуловлено не только увеличением объема работы, но и уменьшением работоспособности Ленина. Летом 1921 г. Ленин ушел в отпуск, из которого он по существу уже никогда полностью не вернулся.*

---

* Политбюро непрерывно продляло отпуск Ленина. Ленин сам чувствовал себя больным. Он делил свое время между Москвой и Горками.

По мере того как выяснялся затяжной характер болезни Ленина, приходилось принимать меры. Партийное руководство — во всяком случае его большинство, преданное Ленину, — вряд ли считалось тогда с его полным уходом из политики. Строй партийной и государственной жизни тем не менее менялся. Поскольку Ленин, находясь большую часть времени в Горках, не мог вникать во все детали повседневной политики, а тем более практического руководства органами исполнительной власти, часть его обязанностей переходила теперь к другим членам партийной верхушки, становившимся своего рода посредниками между Лениным и властью.

Это ускорило оформление новой группировки сил в партийном руководстве. К январю 1922 г. относится первое ленинское упоминание о "двойке" Каменев—Сталин. Она должна была взять под свое наблюдение специфическую сферу партийной политики. Разделение ролей в этой "двойке" заключалось, по всей видимости, в том, что Каменев, пользовавшийся авторитетом "политика", концентрировал свое внимание на работе Политбюро, на заседаниях которого он председательствовал; Сталин же, будучи в глазах партийцев преимущественно "практиком", сосредоточивался на организации партийной работы, что его еще больше смыкало с партийным аппаратом.

Было бы, однако, неправильным рассматривать это развитие исключительно с точки зрения укрепления позиции Сталина. Выдвижение Сталина на передний план в партийной жизни было связано с рядом других мер, предпринятых Лениным для укрепления партийного руководства. Ленин, в частности, стремится усилить положение Рыкова, как своего заместителя в Совнаркоме. Он добивается назначения своим вторым заместителем А.Цюрупы, который пользовался его исключительным доверием (Рыков в это время находился в продолжительном отпуске по болезни). Предложив в декабре 1921 г. кардинальную перестройку профсоюзов, которая дезавуировала решения X съезда и с большим опозданием приспосабливала профсоюзы к условиям нэпа, Ленин вернул в их руководство Томского. В этих же целях он, очевидно, вмешивается в дела петроградской организации, чтобы вновь укрепить позицию Зиновьева, который, с точки зрения Ленина, был в руководстве партии необходим, — особенно учитывая характер взаимоотношений с Троцким.

Изменения, происходившие в господствующей партии и в ее руководстве, нашли свое выражение на XI съезде РКП/б/ в конце марта и начале апреля 1922 г. Съезд проходил, что нередко недооценивается в литературе, в условиях крайне сложного и напряженного положения в стране. В Поволжье достиг апогея голод, уносивший миллионы людей. Промышленность, не обладавшая необходимыми предпосылками для работы в условиях рынка, разбазарила свои скромные ресурсы и вступила в полосу нового жестокого кризиса, приводившего вновь к закрытию предприятий. К тому же нараставшая инфляция парализовала рынок и не давала наладить государственные финансы. Все это, конечно, не могло не вызывать опасений в партии.

XI съезду было суждено стать последним партийным съездом, на котором присутствовал Ленин. В силу этого он приобрел известное итоговое значение, не предусматривавшееся его организаторами. Именно эта его неожиданная итоговость привела к тому, что XI съезд РКП/б/ характеризуется иногда историками как съезд передачи власти Сталину.

Такая интерпретация XI съезда вряд ли оправдана. Конечно, съезд не мог не отразить реальных отношений и должен был отразить возросший удельный вес Сталина, а также наметившуюся тенденцию к переходу в руки Сталина политического руководства партийным аппаратом. В то же время в решениях съезда не было ничего такого, что оправдывало бы утверждение о передаче власти Сталину.

В период съезда Ленин, правда, чувствовал себя серьезно больным, — врачи тем не менее не находили у него никакого необратимого, а тем более смертельного заболевания.* Ведущим соображением Ленина поэтому с полной очевидностью были не поиски "наследника", а стремление обеспечить рациональную базу партийного руководства. Остальные члены партийного руководства развивали усилия, чтобы укрепить свое положение в органах власти; они, однако, ни в коей мере не оспаривали роли Ленина. В действительности съезд не привел ни к каким драматическим изменениям в руководстве. Наиболее серьезными оказались два изменения: введение в Политбюро двух новых членов (Рыкова и Томского), а также избрание Сталина на пост Генерального секретаря ЦК.

Введение Рыкова и Томского в Политбюро было чрезвычайно важным событием, — историки его недооценивают. Дело не только в том, что оно выражало стремление Ленина укрепить и стабилизировать руководство; менялся принципиально тот его состав, который сложился после 1917 г. Менялось прежде всего — это было неизбежным последствием нового характера партийных задач — соотношение "литераторов" и "практиков". Практики (Сталин, Рыков, Томский) становились сильной группой в Политбюро. Их объединял несомненный, хотя и не всегда осознанный антагонизм по отношению к партийным "литераторам". Вместе с тем в руководство вводился новый элемент: представители умеренного направления в большевизме. Это меняло все положение в партии, влияя на развитие внутрипартийных течений и внутрипартийной борьбы.

В перспективе, однако, наиболее важным оказалось избрание Сталина на пост Генерального секретаря. Конкретные обстоятельства этого избрания остаются не вполне выясненными.**

Это решение закрепляло сильную позицию Сталина в руководстве. Он получил в свои руки могучее орудие в борьбе за власть. В то же время пост Генерального секретаря не был тогда постом партийного вождя. Притом Сталин вошел в Секретариат не в качестве "секретаря" в сегодняшнем значении этого слова, а в качестве политика, призванного принципиально улучшить политическое руководство Секре-

---

* Говорилось о сильном переутомлении, а также о последствиях выстрела Ф.Каплан в августе 1918 г.

** Согласно одной из версий, вопрос о новом Генеральном секретаре возник непосредственно на XI съезде (так пишут Фишер, Даниэльс). На совещании руководителей делегаций, якобы под впечатлением резкой критики, раздавшейся на съезде, было предложено отозвать молотовский Секретариат и избрать новым Генеральным секретарем И.Смирнова. Ленин будто бы отвел эту кандидатуру, сославшись на то, что Смирнов необходим в Сибири, и после однодневных раздумий внес кандидатуру Сталина. Согласно Троцкому, Ленин остановил свой выбор на Сталине, к которому он якобы питал недоверие, по рекомендации Зиновьева и Каменева.

тариатом. Административная сторона деятельности оставалась за Молотовым и другими секретарями. В рамках реформированного Секретариата сохранялось таким образом обычное для того времени и еще не вполне устраненное различие между ответственными "политиками" и "администраторами".

XI съезд не содержал сознательной тенденции — передать власть Сталину или другому члену руководства единолично. Роковым оказалось как раз обратное: в силу неясности, связанной с характером заболевания Ленина, не было принято решений, предусматривающим его полную замену во главе власти. При новом распределении ролей за Лениным оставалась центральная позиция: руководство правительством. Укрепляя положение Рыкова, Ленин, конечно, никак не имел в виду, что Рыков может политически заменить его. Болезнь Ленина поэтому неизбежно вела не только к перераспределению ролей в руководстве, но и открывала двери для непредусмотренных принципиальных изменений в структуре власти. Именно это оказалось на руку Сталину.

СТАЛИН ANTE PORTAS

Решающую роль сыграли события, развернувшиеся после XI съезда РКП/б/.

Уже несколько недель спустя после съезда, в конце мая 1922 г., Ленина постиг первый удар. Он был относительно легким. Однако во второй половине июля положение Ленина ухудшилось. Партийному руководству пришлось серьезно задумываться над возможностью полного ухода или даже скорой смерти Ленина. Положение драматизировала многонедельная кампания в зарубежной прессе, публиковавшей подробнейшие информации о якобы развертывавшейся в Москве борьбе за власть между преемниками Ленина. Они не проходили бесследно для политической жизни в советской России. Зиновьев писал: "В течение всего лета 1922 г. (Милюков, Чернов, Дан, Гессен и К) на страницах своих газет злорадно гоготали по поводу "мнимо безнадежного" состояния Владимира Ильича..." Сталин добавлял: "Белая пресса... Эмиграция... Невероятные легенды о смерти Ленина с описанием подробностей..." А ведущий журналист "Правды" Л.Сосновский расшифровывал: "Вихрь чудовищных слухов и вестей, поднявшийся на страницах русских и заграничных газет, волновал и беспокоил... Троцкий борется с Зиновьевым, Серебряков вызывает с Кавказа Винокурова, как единственного человека, могущего проявить твердость. Нет, не Винокурова. Избрана тройка диктаторов: Семашко, Осинский, Преображенский. Назавтра меньшевики сообщают другое: Сталин, кавказец тюркского происхождения, человек с сильной рукой, будет диктатором".

Первоначально после XI съезда Ленина замещали Каменев, Сталин и Рыков как заместитель Председателя Совнаркома. В новых условиях, однако, произошла перегруппировка сил; оформилась пресловутая "тройка", о которой много написано: Зиновьев, Каменев, Сталин. Причины этой новой комбинации сил достаточно ясны. "Тройка" слу-

жила, с одной стороны, союзом против Троцкого. Правда, Троцкий был уже лишен основной части власти, тем не менее он оставался серьезным противником, превосходившим любого из членов "тройки" не только популярностью, но и способностью к политическому анализу, а также уменьем увлекать за собой людей. С другой стороны, "тройка", однако, была — об этом часто забывают — блоком "старых" членов Политбюро. Ее участники полностью игнорировали происшедшее на XI съезде партии расширение Политбюро, давая тем самым ясно понять, что они не считают Рыкова и Томского полноценными членами партийного руководства. Круг реальных претендентов на власть значительно сузился, одновременно в Политбюро был заложен новый серьезный конфликт. Рыков и Томский впоследствии не раз возвращались к тогдашнему положению, ответственность за которое они возлагали в первую голову на Зиновьева и Каменева.

Внутренняя конструкция "тройки" была довольно простой. Ее основу составляла прежняя "двойка" — Каменев и Сталин. Этой "двойке" недоставало, однако, политической головы. Каменев, правда, руководил работой Политбюро, тем не менее ему не хватало политической самостоятельности, а возможно, просто инициативы и жажды власти.* Сталин не пользовался достаточным авторитетом как политик. Поэтому оба они — и Каменев, и Сталин — нуждались в Зиновьеве. Каменева сверх того связывали с ним многолетняя дружба и сотрудничество.

Внешне могло казаться — и это ввело в заблуждение многих современников — что вопрос о "наследнике Ленина" предрешен в пользу Зиновьева. Авторитетом и известностью он, вне сомнения, превосходил своих партнеров по "тройке". В действительности же создание "тройки" ставило в выгодное положение не столько Зиновьева и Каменева, сколько Сталина. Зиновьев не располагал достаточной властью, чтобы реализовать свои претензии. За аппаратом Коминтерна, который он возглавлял, не стояло никакой реальной силы внутри СССР. В Петрограде позиция Зиновьева была все еще ослабленной. Кроме того, петроградский партийный и государственный аппарат был аппаратом региональным, лишь косвенно воздействовавшим на положение в Москве. Слабой была также позиция Каменева — как основного союзника Зиновьева в борьбе за власть. Председательствуя в Политбюро, он непосредственно не обладал никаким центральным аппаратом власти. Не уравновешивала его положения и позиция председателя Моссовета. Дело не только в относительной слабости Каменева как "вождя". Московские партийные и государственные аппараты были, как и аппараты петроградские, региональными. В Москве находился центральный аппарат партии, который непосредственно вмешивался в дела московской организации. В Москве жили основные кадры руководящих партийных работников. Большинство из них так или иначе воздействовало на положение в московских партийных и государственных органах, в то же время лишь мало завися от воли и решений московского руководства.

---

* Характерно, что Мартов в 1920 г., находясь в Москве, характеризовал Каменева не столько как политика, сколько как разложившегося бонвивана, любителя хорошо и беззаботно пожить.

В принципиально ином положении оказывался Сталин. Вследствие болезни Ленина Совнарком утрачивал свое прежнее центральное место в системе власти: никто из членов "тройки" не входил в его состав. Вместе с тем и государственный аппарат утрачивал свое прежнее значение — основного инструмента власти. В этих условиях неизбежно резко возрастала роль окрепшего аппарата партии. В отличие от Молотова Сталин способен эффективно координировать деятельность руководящих партийных работников и учреждений. В качестве Генерального секретаря он пользовался тем преимуществом, что на него — наряду с Каменевым — ложилось поддерживание повседневного контакта между партийным руководством и Лениным. Он мог определять содержание информации, получаемой Лениным, и даже степень его участия в конкретной работе (ему давали для этого право партийные решения, мотивированные заботой о состоянии ленинского здоровья)*; с другой стороны, Сталин мог выступать по отношению к другим партийным политикам (за исключением разве узкого круга руководящих работников) в качестве передатчика не только воли Политбюро, но и воли Ленина. Положение Сталина также чрезвычайно укрепилось по отношению к провинции. Сосредоточенный в ЦК учет партийных кадров давал ему более чем кому-либо другому воздействовать на назначения среднего кадра работников, — в первую очередь работников в губерниях. Ослабление роли правительства в системе руководства приводило также к тому, что основные политические решения, как и информация, "спускались вниз" преимущественно по каналам партийного аппарата. Сталин тем самым концентрировал в своих руках нити политического руководства страной: Зиновьев и Каменев могли играть большую роль в выработке концепции политики, основной линии политического поведения; ее обеспечение оказывалось, однако, все больше в руках Сталина.

Мы не располагаем достаточным материалом, чтобы характеризовать тогдашние взаимоотношения между Сталиным и Зиновьевым с Каменевым. Они, однако, не были лишены известной натянутости, а возможно, и скрытой неприязни. Зиновьев и Каменев осознавали вполне отчетливо свою зависимость от Сталина. Сталин незаметно и неожиданно для постороннего глаза становился центральной фигурой в руководстве страной.

СТОЛКНОВЕНИЕ С ЛЕНИНЫМ

Постепенный возврат Ленина, начиная с августа 1922 г., к активной политической деятельности привел — и это достаточно известно из сохранившихся документов и обширной литературы — к столкновению со Сталиным, вызвавшим разрыв их личных, а следовательно, и

* Ряд весьма метких наблюдений, касающихся этого положения дел, принадлежит Доре Штурман ("Мертвые хватают живых"). Оно полностью выявилось с декабря 1922 г. (см.ниже).

политических отношений. Именно этот конфликт, как и малая тогда известность Сталина в более широких кругах общественности, представлены в части исторических работ в качестве показателя все еще не укрепленной позиции Сталина в руководстве партией, возможности его относительно безболезненной замены другим лицом. Эти представления, опирающиеся нередко на оценки современников, в частности Троцкого, также заслуживают более детального рассмотрения.

Разногласия между Лениным и Сталиным созревали первоначально на основе более широких противоречий между Лениным и ведущей группой в ЦК.* Эти противоречия были следствием продолжительного отсутствия Ленина (с конца 1921 г.) в центре власти, в Москве, затруднившего его участие в выработке линии партийной политики по ряду вопросов. Столкнувшись лицом к лицу не только с ужасающим голодом в Поволжье, но и с тем, что в промышленном бюджете страны открылся громадный дефицит (по тогдашним подсчетам — 300-400 миллионов золотых рублей), эта группа искала выхода в расширении нэпа, а также в том, чтобы привлечь в Россию иностранные капиталы (займы, кредиты, концессии). Ленин относился к таким планам с возраставшим скепсисом. Он решительно выступал против попыток ослабить монополию внешней торговли, что, по мнению некоторых руководящих работников, должно было создать более благоприятные условия для международных хозяйственных соглашений. Разногласия распространялись также на некоторые вопросы внутренней политики. В интересах международных соглашений ведущая группа в ЦК была согласна, уступая зарубежному общественному мнению, в частности настояниям и протестам социалистических партий, не выносить смертных приговоров на подготавливавшемся тогда ЧК—ГПУ процессе против руководящих деятелей Партии социалистов-революционеров (эсеров) и допустить на этот процесс защитников-социалистов. Ленин возражал; он считал, что такие уступки ничего существенного не принесут. Он выступал против дальнейших уступок в целом. На уже упоминавшемся XI съезде РКП/б/ Ленин, к удивлению многих делегатов, в том числе и ряда руководящих работников партии, заявил, что "отступление (т.е. дальнейшее расширение нэпа) окончено".

ЦК руководствовался ленинской критикой лишь частично. Был резко усилен нажим на противников большевиков: на процессе эсеров были вынесены "условные смертные приговоры",** а на последовавшей летом 1922 г. партийной конференции взят курс на ликвидацию всякой организованной оппозиции. В сфере хозяйственной положение складывалось более сложно. Неудовлетворительное экономическое

* Имеется в виду та группа в ЦК, которая оформилась на базе ленинско-зиновьевской фракции периода X съезда РКП/б/.

** Первоначально членам ЦК ПСР были вынесены смертные приговоры. Решением ВЦИК они были затем объявлены "условными": осужденные оставались в тюрьме заложниками за свою партию. В случае продолжения эсерами активной "антисоветской деятельности", в частности террора, приговоры должны были быть приведены в исполнение. О том, что такое "антисоветская деятельность" и "террор", решал, конечно, ЦК РКП/б/ или даже просто ГПУ.

состояние страны, как и тяжелые последствия голода, толкали на путь расширения нэпа и непрекращающихся попыток завязать, даже ценой существенных уступок, международное экономическое сотрудничество. Ведущая группа в ЦК взяла иной курс и в персональной политике. В то время как Ленин после X съезда прилагал усилия к концентрации сил, к сглаживанию последствий внутрипартийного конфликта, особенно конфликта с Троцким и его сторонниками, новая ведущая группа (в данном случае "тройка") шла противоположным путем, стараясь уменьшить вес Троцкого в политике. Это было в интересах укрепления положения "тройки".

Принято считать, что противоречия между Лениным и ведущей группой в ЦК (особенно Сталиным) полностью выявились осенью 1922 г. Они затрагивали первоначально вопросы об образовании СССР и о монополии внешней торговли, перебросившись затем на проблемы национальной политики, в частности национальной политики в Закавказье и Грузии, а также на вопросы организации государственного аппарата и борьбы с бюрократизмом. Доступный материал, однако, показывает, что эти противоречия касались в действительности не тех или иных элементов политической линии, проводившейся "тройкой", а положения в руководстве в целом.

Недовольство Ленина вне зависимости от того, в какой форме оно выражалось, вызывала, очевидно, в первую очередь персональная политика "тройки". Имя Зиновьева быстро исчезло из аншлагов прессы, сжавшись до нормальных размеров. Имя Троцкого, наоборот, начинает занимать в ней гораздо большее место, чем прежде.

"Тройка" распалась. Во всяком случае, она перестала практически функционировать. Это ударило в первую очередь по Зиновьеву и Каменеву. Будучи "ленинскими учениками", зависимыми от своего "учителя", они тем не менее не сопротивлялись, или не сопротивлялись серьезно. Возврат Ленина оказал на них, как и на ряд других руководящих работников, в известном смысле парализующее действие, ослабляя их решимость к самостоятельным шагам.

Такое направление ленинского удара не имело, конечно, самодавлеющего характера. Не подлежит сомнению, что замысел Ленина заключался в том, чтобы, разбив "тройку", вернуть правительству (и себе, как его Председателю) в полную меру прежнее значение в системе власти, которое им было утрачено в предшествующий период. Это же подтверждает и стремление Ленина добиться назначения своим заместителем по Совнаркому политика с именем. Его внимание привлекают в первую очередь кандидатуры Троцкого и Каменева. Важной при этом была, видимо, кандидатура Троцкого. Она давала Ленину возможность не только укрепить роль правительства, но и создать известный противовес группировке, сложившейся под эгидой "тройки", что открывало для него больший простор политического маневра.

Усилия Ленина полного успеха не имели. Троцкий отказался. Он, видимо, не понял существа ленинского замысла.* Причины его отказа

* Это непонимание Троцким внутрипартийного положения и группировки сил не было у него единичным. Осенью 1924 г. он умудрился не заметить уже начавшейся открытой борьбы между Сталиным и Зиновьевым с Каменевым, выступив с совершенно несвоевременной статьей "Уроки Октября". Тем самым он сорвал наметившийся сговор части руководящих работников против Сталина. Сходная ситуация повторилась в конце 1925 г. Троцкий, якобы демонстративно занимаясь на заседаниях Политбюро чтением французских романов, оказался настолько неподготовленным к выступлению на XIV съезде ВКП/б/ новой оппозиции", что его лишь с трудом удалось удержать от открытого выступления против нее.

были, впрочем, достаточно ясны: он ссылался на постоянное вмешательство партийных инстанций — Секретариата, Оргбюро и Политбюро — за его спиной в дела военного ведомства; иными словами, он понимал крайнюю слабость своей позиции.

Ленин настаивать не мог. Этому препятствовала борьба с Троцким в период X съезда, последствия которой не были еще изжиты. Заместителем Ленина стал Каменев, на которого позднее, по предложению Ленина, перешло председательство на заседаниях Совнаркома. Это вряд ли было лучшим решением. Тем не менее известным решением это было.

В партийном руководстве возникало новое положение. Прежняя группировка сил была расшатана. На передний план теперь выпукло выступал антагонизм Ленина и Сталина, бывшего вне сомнений ключевой фигурой "тройки". Вырвавшийся у Ленина в его "Завещании" вздох, что Сталин сосредоточил в своих руках "власть необъятную", не случаен. Он выражает общее настроение Ленина, а также ядро проблемы.

В отличие от Зиновьева и Каменева Сталин не страдал комплексом полной зависимости от Ленина. Он, очевидно, более других членов руководства понимал временный характер возврата Ленина. Поэтому он нисколько не собирался добровольно сдавать своих позиций.

Конфликт Сталина с Лениным наметился — это нередко теряется в литературе — еще раньше, чем последний вновь приступил к исполнению своих обязанностей. Непосредственный повод для этого дал вопрос об образовании СССР.

Сущность спора известна. Сталин во главе комиссии ЦК выработал предложения, предусматривавшие вступление советских республик в РСФСР на основах автономии, Ленин же высказывался за федерацию равноправных республик. Спор шел больше о принципе, чем об актуальной практике: вся полнота реальной власти должна была так или иначе сосредоточиваться в руках ЦК в Москве.

Ленин попытался в личном разговоре склонить Сталина к отступлению. Сталин остался в целом при своем мнении. Ленин бросил Сталину упрек в торопливости. Сталин не только вернул Ленину этот упрек, но обвинил его в свою очередь в "национальном либерализме".**

* Формально вопрос о назначении новых замов был мотивирован Уходом в отпуск Рыкова. Отпуск Рыкова, однако, не мог быть действительной причиной выдвижения на пост ленинских заместителей Двух ведущих членов партийного руководства, т.е. Троцкого и Каменева.

** Я оставляю в стороне сохранившиеся в мемуарах резкие замечания Сталина в адрес Ленина, как и Ленина в адрес Сталина, поскольк

Вопрос о власти приобретал все большую остроту. Это, конечно, не означало, что обе стороны, т.е. как Ленин, так и Сталин, с самого начала вполне понимали глубину противоречий и неизбежные последствия, к которым они приводили. Тем не менее эти противоречия быстро распространились на широкий круг проблем, затрагивавших интересы целого ряда ведущих политиков, и приводили к фронтальному столкновению. Ленин добился принятия своего проекта объединения советских республик. Это, однако, не принесло успокоения. На горизонте появлялись новые острые проблемы. В начале октября Совнарком под давлением Ленина отверг уже подписанный Красиным концессионный договор с крупным английским предпринимателем Л.Урквартом, имевший первоначально поддержку партийного руководства. Последовала невиданная по своим размерам многонедельная кампания в советской прессе против концессии Уркварта. Это было лишь прологом. В повестку дня становились вопросы внешнеэкономических отношений. Большинство партийного руководства — в том числе и Сталин, — склонялись к тому, чтобы ослабить существующую монополию внешней торговли. ЦК партии вопреки возражениям Ленина, которые были достаточно известны уже с весны 1922 г., принял соответствующие предложения. Ленину лишь с большим трудом, при поддержке Троцкого, удалось добиться отмены этих решений.

Важно было, однако, другое: эти противоречия вновь, как и в свое время противоречия перед X съездом РКП, показывали, что Ленин не имеет в ЦК достаточно прочного большинства. Сталин проводил свой собственный курс, исподволь сопротивляясь многим предложениям Ленина. Зиновьев и Каменев колебались. Они были связаны лояльностью как по отношению к Ленину, так и по отношению к своему прежнему союзнику по "тройке" Сталину, мнения которого они в ряде случаев разделяли. Рыков, по всей видимости, склонялся к более "правому" курсу, чем тот, который предлагал Ленин. Томский, несмотря на свое возвращение в Москву на прежний пост в профсоюзах, вряд ли мог полностью забыть свою недавнюю незаслуженную ссылку в Казахстан. Твердым союзником Ленина не был и Бухарин, умудрившийся в течение каких-нибудь полутора лет проделать путь слева направо и от Троцкого к Зиновьеву и Сталину: Бухарин был одним из инициаторов борьбы за ослабление монополии внешней торговли. По иронии судьбы основным союзником Ленина в партийном руководстве все больше становился Троцкий, и не только в силу общности некоторых мнений. Ленина и Троцкого объединяла совместная заинтересованность в изменении существующих отношений власти.*

ку конкретные обстоятельства и даже время, когда они были высказаны, не вполне ясны.

* При образовании СССР список первых 20-ти членов ЦИК приводится в следующем порядке: Калинин (председатель ВЦИК), Ленин, Троцкий, Сталин, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Томский, Рыков, Молотов, Рудзутак, Дзержинский, Сокольников, Радек, Ярославский, Ворошилов, Куйбышев, Орджоникидзе, И.Смирнов, Зеленский. К ним нужно добавить первые три фамилии украинского списка: Петровский

Не подлежит сомнению, что в ноябре-декабре 1922 г. Ленин подходил к выводу о необходимости дальнейших изменений в разделении ролей внутри партийного руководства, а также принципиальных изменений в составе ЦК. К этому его подводила задуманная им еще в августе-сентябре 1922 г. атака на бюрократизм. Она предполагала перестройку центральных партийных учреждений, в особенности ЦК и ЦКК. Согласно свидетельству Троцкого — а не верить ему нет никаких оснований — Ленин имел в виду ударить по бюрократизму не только государственных, но и партийных аппаратов. В конечном счете это означало прямой удар по Сталину. Однако столкновение ускоряли конфликт по национальному вопросу, который не был исчерпан соглашением в ЦК по вопросам объединения советских республик.

Толчок к новой фазе противоречий дали события в Закавказье. Было принято предложение Ленина об образовании СССР, и сразу после этого ЦК КП Грузии высказался за прямое вхождение Грузии в СССР, минуя созданную до того федерацию закавказских республик. Требования ЦК Грузии имели веские причины: через полтора года после оккупации советскими войсками Грузия была лишена большей части своих хозяйственных ресурсов, ее экономика и финансы пришли в полное расстройство. Она подвергалась форменному грабежу, причем захватчики оправдывали свои действия тем, что таким образом якобы спасали хозяйственное положение соседних республик. Включение Грузии в Закавказскую федерацию лишало грузинские власти возможности эффективно защищать национальные интересы. Закавказская федерация была инструментом ущемления грузинского суверенитета, как, впрочем, и суверенитета других народов этой области.

Требования грузинского ЦК были первоначально отвергнуты всем руководством РКП, Ленина не исключая. В сохранении существующего положения был, однако, особенно заинтересован Сталин, который через посредство Орджоникидзе, руководившего партийными делами Закавказья, создал здесь свой опорный пункт. В знак протеста против политики Сталина—Орджоникидзе старый состав грузинского ЦК вышел в отставку. Был создан новый ЦК, превративший бывшее большинство в "меньшинство"; оно третировалось Сталиным и Орджоникидзе как "национал-уклонистское". Страсти накалялись: Орджоникидзе в своем рабочем кабинете в присутствии Рыкова набросился с кулаками на одного из сторонников "меньшинства", Кабанидзе.*

Известия об этих событиях дошли до Ленина. Он требовал расследования, столкнулся, однако, с сопротивлением в ЦК. Комиссия ЦК под руководством Дзержинского, созданная при активном участии Сталина, не дала ожидаемого Лениным результата: она не осудила действий Орджоникидзе. Ленин остро ощущал изолированность своей позиции. Ответственность за создавшееся положение он возлагал на Ста-

---

(председатель УЦИК), Раковский, Фрунзе. Это дает картину усиления Сталина и его сторонников, некоторого улучшения положения Троцкого и ослабления позиций Зиновьева и Каменева.

* События в Грузии были подробно описаны, например, в работе РТаккера "Сталин как революционер" (Нью-Йорк, 1973, на англ.яз.).

лина и Дзержинского. Необходимость перестройки и изменения состава центральных партийных учреждений приобретала для него тем самым особую настоятельность. По его замыслу, она должна была стать одной из решающих тем предстоявшего весной 1923 г. XII съезда РКП. Ленин подходил при этом к выводу о необходимости сместить Сталина с поста Генсека.*

Трудно сказать, к каким последствиям привело бы это развитие конфликта в руководстве партии. Авторитет Ленина оставался исключительно высоким. Открытое столкновение с Лениным Сталин вряд ли мог бы выдержать. Его тактика была выжидательной: он стремился, уступая Ленину по существу спорных вопросов, избежать прямого столкновения, сохраняя при этом благоприятную для себя группировку сил и свои позиции в руководстве. Сталин вполне очевидно рассчитывал на дальнейшее развитие болезни Ленина. Когда в середине декабря 1922 г. в состоянии здоровья Ленина наступило резкое ухудшение, приведшее затем к параличу правой половины тела, исход борьбы был предрешен.

ЛЕНИНСКОЕ "ЗАВЕЩАНИЕ" И XII СЪЕЗД РКП

Исход борьбы был предрешен. Тем не менее Сталину еще предстояло использовать результаты своей победы. Это требовало больших усилий. Его позиция была сильной, но уязвимой. Необходимо упомянуть об эпизоде, занявшем большое место в исторической литературе — о ленинском "Завещании", дополненном им затем рядом статей для "Правды".

Ленинские записки, его "Завещание", были потенциально взрывчатым материалом. Это были выводы, к которым Ленин пришел в последние недели или даже дни своей активной деятельности, его настроения и намерения. Поскольку Ленин не сразу утратил возможность выражать свою волю, они могли при определенных условиях стать программой политических действий.

---

* Этот вывод содержался в ленинских записках — в "Завещании", продиктованных им в конце 1922 и в начале 1923 г. Рекомендация сместить Сталина была мотивирована его грубостью, нелояльностью и капризностью. Она была, однако, продиктована Лениным непосредственно после завершения им записок по национальному вопросу и выражала опыт не столь личного, сколь политического поведения Сталина.

"Завещание" как целое было продиктовано Лениным в конце декабря 1922 г. Четвертым января 1923 г. помечена последняя часть "Завещания" — уже упоминавшаяся рекомендация сместить Сталина с поста генсека. Статьи для "Правды" были продиктованы в январе-марте 1923 г. "Завещание", как и последние статьи Ленина, освещены подробно, например, у М.Левина ("Последний бой Ленина", Нью-Йорк—Торонто, 1968, на англ. яз.)

В своих записках Ленин характеризовал некоторых ведущих партийных политиков: Сталина, Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина и Пятакова. Указав на опасность раскола, проистекавшую из взаимоотношений членов руководства, в особенности Сталина и Троцкого, он рекомендовал расширить состав ЦК РКП до 50-100 человек, превратив его в своеобразную постоянную партийную конференцию — это должно было повысить устойчивость руководства. В области хозяйственной политики Ленин высказывался в пользу давнего предложения Троцкого о придании законодательных функций Госплану; одновременно он указывал на необходимость того, чтобы партийные политики уделяли больше внимания решению вопросов по существу и не подходили к ним только с административной точки зрения.

Исключительно большое место в записках Ленина занял национальный вопрос, в частности вопрос о так называемой "автономизации". Ленин резко осудил политический курс Сталина и Орджоникидзе на Кавказе, поставив его в прямую связь с первоначальными планами Сталина на объединение советских республик. На передний план он выдвигал равноправие советских республик и права нерусских народов против русского великодержавного шовинизма. Борьбу Сталина и Орджоникидзе против "национал-уклонистов" в Грузии и Закавказье Ленин характеризовал как великорусскую националистическую кампанию и возлагал за нее ответственность в первую очередь на Сталина и Дзержинского. Требуя особого внимания к интересам ранее угнетавшихся народов и национальных меньшинств, Ленин настаивал на наказании Орджоникидзе за рукоприкладство. Записки заканчивались уже упоминавшейся рекомендацией освободить Сталина от поста Генерального секретаря.

Как политический документ записки Ленина отличались некоторыми существенными особенностями, предопределявшими их место в политической жизни того периода. Ленин, как уже упоминалось, продиктовал свои заметки в конце 1922 г. Они предназначались XII съезду РКП, состоявшемуся во второй половине апреля 1923 г. Некоторые из них, по всей видимости, должны были стать основой для рассмотрения на заседаниях ЦК. Ленин формулировал свои мысли и предложения на тот случай, если болезнь или смерть окончательно выведут его из строя. Он, однако, не отказывался от надежды, что ему все же удастся выступить на съезде, до которого оставалось еще более трех месяцев; во всяком случае Ленин считался с тем, что в его распоряжении еще может оказаться достаточно времени. Ленинские записки — "Завещание" — не носили поэтому характера окончательности, завершенности.* Ленин распорядился передать Сталину для ознакомления ЦК лишь первую запись — "Письмо съезду", посвященную преимущественно проблематике расширения ЦК и содержавшую замечание о необходимости придания законодательных функций Госплану; остальные части "Завещания" оставались секретными даже для членов Политбюро.

---

* Об этом, например, свидетельствует замечание, что характеристики ведущих политиков действительны только для настоящего времени и при условии, что они не найдут способа дополнить свои знания или преодолеть односторонность.

Причины такой тактики можно понять: болезнь застигла Ленина раньше, чем ему удалось полностью сформулировать и развить свои предложения; Ленин также, по всей видимости, не чувствовал себя достаточно вооруженным для открытой политической борьбы. Политические обвинения в адрес Сталина, Орджоникидзе и Дзержинского страдали существенным дефектом: Ленин опирался лишь на впечатления от разговоров с руководящими работниками, в его распоряжении не было материалов и заключений комиссии ЦК по Грузии, которые рассматривались Политбюро, а затем ЦК. Ленин не мог не понимать, что его позиция крайне уязвима, ее можно было торпедировать простой ссылкой на недостаточную информированность. Важно было, однако, и другое: задумываясь над изменениями в руководстве, Ленин явно не мог предложить (во всяком случае — пока) положительной альтернативы. "Завещание" отражает его изолированность. Характеристики членов руководства носят характер предупреждений, указаний на их слабые стороны; предлагая смещение Сталина с поста Генерального секретаря, Ленин не выдвигает другой кандидатуры. Такую кандидатуру Ленину еще предстояло найти.

В этой связи становится понятной вторая особенность ленинского "Завещания": строгая секретность большинства его частей. Ленин оставлял за собой возможность дальнейшей разработки отдельных проблем; он оставлял за собой также и выбор времени, обстоятельств и формы, в которой они будут вынесены на обсуждение. При этом его действия были подчинены определенному плану. Поставив в декабре 1922 г. открыто на обсуждение ЦК вопрос о его реформе и расширении, Ленин затем спустя месяц в статье "Как нам реорганизовать Рабкрин?", опубликованной в "Правде" 25 февраля 1923 г., выносит свои планы перестройки центральных партийных учреждений — как ЦК, так и ЦКК — в развернутой форме на обсуждение партийной общественности в целом. Открытость объяснялась, очевидно, в данном случае тем, что эти планы не были для Ленина непосредственно связаны с прямой постановкой основных персональных проблем.* Ленин просто оставил за собой право выбрать время и способ публикации своих предложений, хотя это, конечно, являлось выражением известного недоверия к ЦК.

Параллельно с такими "открытыми" шагами Ленин предпринимает и шаги иного рода. Секретари Ленина по его поручению обрабатывают материалы по грузинскому вопросу. Точка зрения Ленина здесь остается, как уже говорилось, до поры до времени секретной. Положение, однако, меняется в тот момент, когда секретари делают Ленину 3 марта 1923 г, отчет об этих материалах. Этот отчет становится для Ленина отправным пунктом для решительных действий: теперь он считает свою позицию достаточно обоснованной, чтобы пойти на открытое столкновение. Ленин обращается к Троцкому с просьбой взять на себя на предстоящем пленуме ЦК защиту грузин против Сталина и Дзержинского, посылая одновременно телеграмму представителям грузинского ЦК (Мдивани и Махарадзе), в которой он заявляет о своей солидарности с ними и обещает выступить публично в их пользу. Секретность записок была теперь сохранена, очевидно, лишь постольку, поскольку Ленин хотел "атаковать" противника (Сталина, Орджоникидзе, Дзержинского) внезапно, не давая ему шансов спастись "гнилым компромиссом".

Кажется несомненным, что подготовлявшаяся Лениным таким образом постановка национальной проблемы должна была стать исходным пунктом для решения персональных вопросов, намеченных в "Завещании", в частности снятия Сталина с поста Генерального секретаря. Такое предположение оправдывается тем, что Ленин, узнав об оскорбительном поведении Сталина по отношению к Крупской, пишет ему известное письмо, в котором требует извинения и угрожает полным разрывом личных отношений.* Во всяком случае, посвященные поняли смысл этого шага; если верить Троцкому, а не верить ему опять нет никаких оснований, то Каменев бросил фразу: "Ленин решил политически покончить со Сталиным". Кроме того, Троцкий передает (очевидно, из того же источника), что Ленин предлагал снять с постов Сталина и Дзержинского и исключить из партии Орджоникидзе.

Случилось так, что "Завещание" не сыграло существенной роли в оформлении новых отношений власти в СССР. Решающие места этого "Завещания" не были опубликованы своевременно, или были опубликованы при таких обстоятельствах и в такой форме, что они не могли оказать воздействия на политическое развитие.

Дело в том, что Ленина — после того как он кончил диктовать свои последние письма — полностью разбил паралич. Он не успел дать никаких указаний относительно дальнейшей судьбы своих записок.** Были, однако, причины иного рода. Историки к их числу относят "непонятное" молчание Троцкого, который, ссылаясь на болезнь,

---

* Вряд ли справедливо предположение, что статья о Рабкрине была прямой атакой на Сталина. Сталин в качестве бывшего наркома Рабкрина нес, конечно, ответственность за состояние наркомата, но к тому времени он уже более полугода не выполнял этих обязанностей. Наркомом был близкий Ленину по Совнаркому А.Цюрупа. Никаких прямых последствий для Сталина ленинская статья иметь не могла.

* Указанный эпизод нельзя считать полностью выясненным. Наиболее распространенная версия событий относит конфликт между Крупской и Сталиным еще ко второй половине декабря 1922 г., т.е. к сроку, отделенному от ленинского письма более чем двумя месяцами. Если это так, то остается неясным, что заставило Крупскую так поздно известить Ленина об инциденте или что заставило ее сделать это именно в данный момент (моменты хорошего самочувствия были у Ленина и раньше). В равной степени остается неясным, почему уже сравнительно давний инцидент вызвал у Ленина такую обостренную реакцию именно в данный момент.

** Его записки по национальному вопросу были пересланы Троцкому, который, однако, был связан ленинским запретом ставить о них в известность даже членов Политбюро (см. дальше). Письмо Сталину с угрозой разрыва личных взаимоотношений осталось также известным лишь весьма узкому кругу лиц.

отказался на заседании ЦК защищать позицию Ленина, а затем пошел на "гнилой компромисс", согласившись в обмен на словесные уступки не требовать смещения Сталина.

Действительные причины безрезультатности ленинских замыслов были, однако, сложнее. Они заключались не столько в образе действий Троцкого, сколько в образе действий Сталина. Сталин мог с самого начала опираться на благоприятную для него группировку сил в ЦК, которую Ленину так и не удалось сколько-нибудь существенно изменить. Он повел искусный политический курс, ограждавший его от потенциальной опасности со стороны Ленина. Я уже упоминал о том, что Сталин, по решению ЦК, получил контроль над связями Ленина с внешним миром, ограничивая их по возможности до минимума. Обеспечив себя таким образом с тыла, Сталин направил основной удар против Троцкого, прекрасно понимая, что при сложившихся обстоятельствах Троцкий — главный союзник Ленина. Это, впрочем, достаточно ясно показала уже борьба по вопросу о монополии внешней торговли. Сталин умело использовал некоторые особенности характера Троцкого, а также его неумение ориентироваться в джунглях бумажно-аппаратной интриги.

Исходным пунктом для атаки на Троцкого послужило — это был ход конем — ленинское предложение назначить его заместителем Председателя Совнаркома. Сталин настаивал на том, чтобы Троцкий принял это предложение, не предусматривая при этом какого-либо расширения его компетенций. Когда Троцкий отказался, Сталин поставил его в положение человека, добивающегося для себя особых прав. Протесты и деловые возражения Троцкого не могли парализовать отравляющее действие этого выпада. Последовало еще более серьезное столкновение. Поводом для него было обсуждение в Политбюро ленинского "Письма съезду", содержавшего предложения о расширении ЦК. Предложения Ленина были — с точки зрения тех целей, которые они преследовали — непродуманными. Расширение ЦК, его превращение в своего рода постоянную "партийную конференцию" не только не поднимало его роли, но вело к прямо противоположным последствиям. ЦК переставал быть рабочим органом, превращаясь все больше в орган представительный. Тем самым роль Политбюро не уменьшалась, а, наоборот, резко повышалась. Повышалась также роль остальных узких органов, в частности партийного Секретариата, и возникали условия, при которых большое значение приобретали не только фракционные, но и просто персональные комбинации.

При обсуждении этих вопросов в Политбюро Рыков внес предложения (от которых он впоследствии отказался), направленные на то, чтобы сохранить стабильность состава и рабочий характер ЦК. Когда Троцкий поддержал и развил Рыкова, Сталин умело использовал создавшееся положение. Незавершенный обмен мнениями в Политбюро был перенесен на заседания ЦК. Докладывал Зиновьев. Троцкий был выставлен противником ленинских предложений. Одновременно на рассмотрение партийных инстанций выносился проект "распределения функций между Пленумами ЦК, Политбюро, Оргбюро и Секретариатом" — как бы практическое осуществление ленинских предложений. Резкое усиление роли Политбюро здесь выдавалось за увеличение роли

Пленумов ЦК. На Секретариат ЦК возлагалась ответственность за подготовку материалов для Пленумов, а также органов ЦК. В этих целях создавался новый орган: Совещание заведующих отделами ЦК. Впервые определялась и закреплялась номенклатура партийных органов по персональным и кадровым вопросам. Все это резко усиливало новую роль центрального партийного аппарата, как и партийных аппаратов вообще.

Троцкий возражал, указывая на групповщину и закулисные интриги ряда членов руководства. Выиграть не только без Ленина, но и против существа его предложений Троцкий, конечно, не мог. Результатом был дальнейший подрыв его авторитета.

Неудивительно, что в этих условиях Троцкий, получивший от Ленина предложение защищать на Пленуме ЦК их совместную позицию по национальному вопросу, не рвался к фронтальному столкновению со Сталиным. К тому же записки Ленина, как и его предложение сместить Сталина, лежали под замком.

Многое зависело от того, какую позицию займут Зиновьев и Каменев. Несмотря на все запреты Ленина, касавшиеся распространения его записок, они не могли совсем не знать о ленинских настроениях. Во время своей поездки в Грузию в марте 1923 г. Каменев пытался приостановить травлю "уклонистов". Сохранился официальный документ, свидетельствующий о том, что и Зиновьев высказывался против похода на "уклонистов".

Тем не менее решающую роль играли групповые интересы, как и антагонизмы в руководстве. Не имея возможности использовать заметки Ленина по национальной проблеме, Троцкий, как уже говорилось согласился на компромисс по вопросу о Грузии. Тем самым он не только принял на себя ответственность за решения, весьма далекие от того, чего добивался Ленин, но и дезавуировал на будущее свою позицию.* Он не мог теперь открыто выступить с критикой политики Сталина и Орджоникидзе в Закавказье.

14 марта праздновалось двадцатилетие второго съезда РСДРП, с которым большевики связывали начало своего политического существования. В потоке юбилейных статей — это было спустя неделю после удара, который парализовал Ленина, — в "Правде" появилась статья К.Радека, пользовавшегося тогда исключительно большим авторитетом: "Лев Троцкий — организатор победы". Она была панегириком Троцкому. Вместе с появившейся в том же номере статьей Троцкого "Мысли о партии" это выглядело прямой заявкой Троцкого на руководство партией. О волнении, вызванном в партийных кругах статьей Радека, свидетельствует информированный современник Валентинов (Вольский). Возрождающаяся "тройка" поворачивается теперь еди-

* Особо серьезным было то обстоятельство, что Троцкий не позаботился о записи в протоколе двух выдвинутых им решающих положений: 1) Закавказская федерация в своем нынешнем виде является искажением идеи федерации в смысле чрезмерного централизма; 2) представители меньшинства в Грузии (т.е. Махарадзе, Мдивани и др.) не являются уклонистами от национальной политики партии; их действия имеют оборонительный характер, вызванный неправильной политикой Орджоникидзе.

ным фронтом против опасности, кажущейся ей в данный момент главной — против Троцкого.

Атака вновь велась скрыто, методами группового сговора. Поводом для нее служат теперь тезисы Троцкого по промышленности, которые он подготавливал для предстоящего партсъезда. Тезисы Троцкого были единогласно одобрены Пленумом ЦК в феврале и сданы в комиссию. Однако в ходе дальнейшего обсуждения в Политбюро Каменев предложил политические поправки, мотивированные якобы тем, что в партии имела место недооценка сельского хозяйства, а также "неклассовый" подход к специалистам. Троцкий воспротивился. Это подлило масла в огонь. Его обвинили в том — доказательством служила статья "Мысли о партии", — что он поддерживает силы, добивающиеся "ликвидации руководящей роли партии", а то и прямо "сменовеховцев". Столкновение произошло на расширенном заседании Политбюро 22 марта. Это было, по всей видимости, то заседание, где Сталин предложил Троцкому — его предложение носило явно демонстративный характер — сделать на партийном съезде вместо Ленина политический отчет ЦК.* Подробности заседания не были опубликованы. Не подлежит, однако, сомнению, что Троцкий в той или иной форме стал объектом резкой критики. Дело дошло до того, что он грозил вообще отказаться от доклада на съезде. Через день после заседания, 23 марта, Троцкий в письме, разосланном членам ЦК, вновь подверг критике деятельность руководства, выдвигая повторно обвинения в групповщине, в наличии в руководстве предвзятого большинства.

Такие обвинения, конечно, никак не меняли положения. Они лишь обостряли в ЦК атмосферу раздраженности против Троцкого. Политбюро реагировало письмом, направленным всем участникам заседания 22 марта, в котором оно давало свою оценку разногласиям. **

Письмо изображало Троцкого раскольником и "уклонистом", пренебрегавшим и мнением своих коллег по руководству, и решениями партийных органов. Проявляя чисто словесную готовность к уступкам. Политбюро выражало опасения, что на предстоящем съезде "скрытые разногласия, оттенки, группировки" прорвутся наружу. Оно обращалось к ЦК с "просьбой" предупредить возможность этого. Троцкий был тем самым связан дисциплиной ЦК. Теперь его выступление с критикой "тройки" не только не могло принести желаемого результата, но явилось бы инструментом полного подрыва его и без того слабой позиции.

Между тем Сталин, приняв меры против возможной атаки со стороны Троцкого, чувствовал себя достаточно прочно. ЦК одобрил в целом его и Орджоникидзе политику на Кавказе и предопределил тем самым обсуждение этого вопроса на съезде. Возражения Ленина против похода на "уклонистов" остались без существенных последствий;

---

* Принять такое предложение Троцкий, конечно, не мог. Этим он лишь подтвердил бы подозрения о претензиях занять место Ленина.

** Характерной деталью письма было то, что "тройка" представила третируемых ею Рыкова и Томского в качестве свидетелей того, что в Политбюро нет никакой "групповщины".

"уклонисты" оказались в своем большинстве устраненными от дел, а частично были вообще отозваны из Грузии.

Сложившуюся к моменту открытия XII съезда обстановку хорошо продемонстрировал следующий эпизод. 12 апреля 1923 г., т.е. за неполную неделю до открытия съезда, Орджоникидзе (вполне очевидно — в прямом сговоре со Сталиным) опубликовал в "Правде" статью "Наша национальная политика в Закавказье". Статья была решительной защитой политики, осужденной Лениным. Это оказалось поводом для взрыва. Секретарь Ленина Л.Фотиева обратилась к Политбюро с сообщением о существовании ленинских записок по национальному вопросу. Троцкий в свою очередь информировал письмом всех членов ЦК РКП о том, что эти ленинские записки находятся с 5 марта 1923 г. в его распоряжении. Они были основой его, Троцкого, замечаний по тезисам Сталина о национальном вопросе, а также основой соответствующих частей статьи "Мысли о партии".

Сообщения Троцкого и Фотиевой были крайне неприятны для руководства. Инцидент нельзя было утаить. Ленинские записки дезавуировали политику Политбюро по грузинскому вопросу и демонстрировали одновременно близость взглядов Ленина и Троцкого. Сталин попытался ответить обвинением Троцкого в сокрытии ленинских материалов; Троцкий угрожал передать все дело на рассмотрение конфликтной комиссии съезда. Это неизбежно означало широкую гласность.

Тем временем слухи о ленинских записках распространились в кулуарах съезда. Пытаясь не допустить их открытой публикации, а также прямого обсуждения записок на съезде. Политбюро ознакомило делегатов с их содержанием на собраниях делегаций.** Часть руководства стремилась при этом создать у делегатов впечатление, что документ Ленина — записки больного и неинформированного человека, не предназначенные для публикации.

Впрочем, ход дискуссии на съезде был полностью предрешен. Ни о каких выводах в отношении Сталина не могло быть и речи. Сталин был на съезде докладчиком сразу по двум пунктам: по организационному отчету ЦК и по национальному вопросу. Ленинские записки сыграли определенную роль лишь постольку, поскольку они заставили руководство словесно отмежеваться от великорусского шовинизма, что придало представителям "меньшинства" в КП Грузии мужества открыто выступить на съезде. Это выступление было серьезным, но с первого же момента носило оборонительный характер. Большинство де-

---

* После возвращения комиссии Дзержинского, Мануильского и Мицкевича-Капсукаса, результаты которой были встречены Лениным в штыки, на Кавказ были, как уже говорилось, командированы Каменев и Куйбышев. Заключение этой комиссии слегка журило Орджоникидзе за "излишний централизм", устанавливая в то же время "ошибки прежнего состава ЦК КПГ"... "по существу вопроса о проведении Закавказской федерации".

** Когда некоторые грузинские делегаты (Мдивани, Махарадзе) попытались все же цитировать на съезде Ленина, они были остановлены председательствующим Каменевым, квалифицировавшим такое цитирование как недозволенную публикацию.

легатов съезда смотрело на грузинский вопрос в лучшем случае как на частный, отнимающий дорогое время.

Свою позицию по национальному вопросу — а она была, вне сомнения, согласована в "тройке" и одобрена как в Политбюро, так и в ЦК, — Сталин сформулировал уже в организационном отчете ЦК. Внешне он принимал ленинскую критику великодержавного русского шовинизма, но игнорировал суть выступления Ленина по национальному вопросу: конкретные проявления шовинизма в партийной политике. Более того, в заключительном слове по отчету ЦК Сталин представил себя не только единомышленником Ленина, но и человеком, удерживавшим его в Закавказье от неосторожных шагов. Сталин обрушился на грузинское "меньшинство", как на людей, не пользующихся в Грузии никакой поддержкой. Члены партийного руководства, включая Троцкого, промолчали.* Это придало Сталину смелости. В докладе по национальному вопросу он уже в полную силу обрушился на грузинское "меньшинство", изображая его как группу шовинистов, стремящихся к привилегиям для Грузии и проводящих политику примиренчества по отношению к грузинским помещикам и меньшевикам.

Выступление Сталина переходило все границы, но именно оно определяло тон. Зиновьев разразился длинной риторической тирадой, в которой шумно обличал опасность русского шовинизма; в то же время он по спорным вопросам не только поддерживал Сталина, но и отвел от него подозрение в желании скрыть ленинскую критику. В пользу грузин раздалось лишь два голоса: Раковского, который в мужественном выступлении от имени украинской делегации указал на крайне неудовлетворительное состояние национальной политики, и Бухарина. Бухарин был единственным членом партийного руководства, который осмелился заговорить о том, что записки Ленина направлены на защиту грузинского "меньшинства".

Борьбе между Лениным и Сталиным была завершена. Результаты XII съезда предрешили судьбу ленинского "Завещания" в целом. Не сыграв существенной роли в борьбе против Сталина на XII съезде, "Завещание" не могло сыграть ее позднее, когда позиция Сталина всесторонне укрепилась.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В переходе власти от Ленина к Сталину идейные мотивы существенной роли не играли. Не было и продуманной передачи власти. Переход совершился как результат личных и политических взаимоотношений в

* Вопреки соглашениям в руководстве Сталин сделал выпад против Троцкого, представив в неблагоприятных тонах его отказ занять пост заместителя Ленина по Совнаркому. Хотя Сталин снял затем эти места в протоколе, его замысел был ясен: если бы Троцкий, паче чаяния, решился выступить, ему пришлось бы опровергать сталинские утверждения. Это было бы делом крайне неблагодарным и неэффективным.

руководстве партии, а также известного развития системы и институциональной структуры власти.

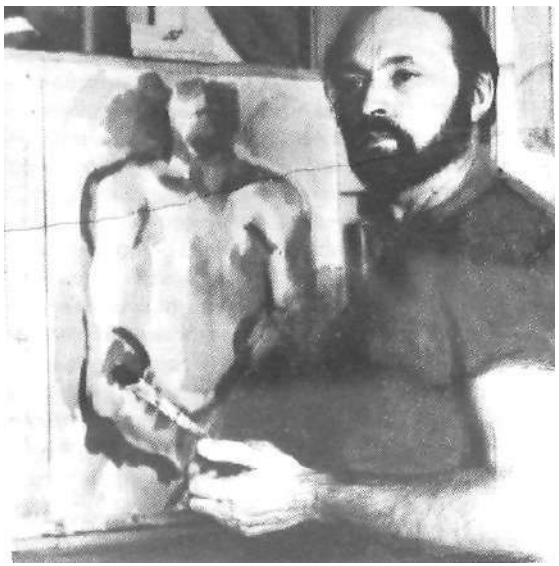
Предпосылки для перехода власти к Сталину создала профсоюзная дискуссия 1920-21 гг. Она разбила те взаимоотношения в руководстве партии, которые сложились после 1917 г., вытолкнула с решающих позиций в аппаратах власти большую группу ведущих политиков и привела к перегруппировке сил внутри партии. В этот период Ленин довольно часто прибегал к услугам Сталина. Такое "благоволение" было вызвано не столько личными симпатиями, сколько недостатком выбора. Позиция Сталина затем укрепилась в период продолжительного отсутствия Ленина в 1922 г., чему способствовало, во-первых, то, что с весны 1922 г. в его руки перешло руководство партийным аппаратом и, во-вторых, падение в отсутствие Ленина роли правительства как центра власти. Причиной острого конфликта между Лениным и Сталиным осенью 1922 г. были не столько противоречия по политическим вопросам, сколько выявившееся вследствие этих противоречий новое соотношение сил в руководстве: концентрация в руках Сталина "власти необъятной".

Переход власти к Сталину был в значительной степени предрешен новым приступом болезни Ленина в конце 1922 г. "Завещание" Ленина привело, правда, к постановке некоторых важных политических вопросов; в целом оно, однако, осталось записками больного человека, находившегося не у дел, а потому лишенного возможности эффективно воздействовать на положение в руководстве.

В выдвижении Сталина большую роль играли амбиции Зиновьева стать "наследником" Ленина. Без политической поддержки Зиновьева, которой Сталин вначале пользовался, его продвижение к власти было бы несравненно более трудным. Тем не менее вряд ли можно приписывать выдвижение Сталина исключительно Зиновьеву. Сталин, учитывая сопротивление Ленина и Троцкого, едва ли смог бы выдвинуться вопреки Зиновьеву и Каменеву. Его выдвижение, однако, не было простым результатом их воли и действий.

Победа Сталина на XII съезде РКП не была окончательной. Он все еще должен был считаться с мнением и интересами остальных ведущих партийных политиков того времени, которые оставались членами Политбюро. Он был тем не менее победителем: в его руках сосредоточивалась решающая часть власти, то, что составляло ядро ленинского "наследства".

Для обеспечения своей победы Сталин применил все средства политической борьбы, вплоть до преступлений. Это, однако, не должно закрывать от нас того факта, что в начальный период, т.е. в 1921-23 гг., победа Сталина была в первую очередь победой политической: он сумел создать необходимую для него комбинацию политических сил. Первоначально переход от Ленина к Сталину не был переходом к "сталинизму": в сфере хозяйственной и общественно-политической жизни он привел к расширению нэпа, а следовательно, создал на определенное время относительно более свободные условия общественного развития. Это было одной из существенных причин победы Сталина.



ИСТОКИ САМОБЫТНОСТИ

"Этот художник не стремится к новаторству любой ценой. Он не нуждается в фабрикации визуальных парадоксов, доказав, что можно быть современным художником, основываясь на линии, цвете и композиции — имея свой, личный голос. Во всех техниках Эдуард Левин абсолютно владеет материалом. Интерес к его произведениям происходит от острой интенсивности его собственного мировосприятия, от умения передать зрителю душевную, а вернее, духовную суть пейзажа, натюрморта или символических, не "литературных" произведений. Перед нами самобытная и сильная личность, достойная большого признания, и не только в нашей стране", — так писала об Эдуарде Левине израильская газета "Едиот Ахронот" (25 апреля, 1980 г.).

Через несколько лет один из авторитетнейших критиков д-р Гидеон Эфрат пишет о нем: "Я ни на секунду не сомневаюсь, что выставка Эдуарда Левина представляет израильскому искусству большого художника, с достоинством идущего по трудному пути настоящего искусства".

Эдуард Левин принадлежит к тем мастерам, чье творчество складывается долго и нешумно, в стороне от столбовых, укатанных дорог современного искусства. В своей работе он реализует принципы, в которые верит; он — художник, чьим высшим мерилом является одухотворенная Истина. Он убежден, что биография художника — творческая и человеческая — стоит за его холстами. Он пристально вглядывается в наследие мастеров прошлого, он учится у многих, и в этом тоже — источник его самобытности.

Левин родился, учился и большую часть жизни прожил в Минске. После четырехкратного поступления в художественный институт был изгнан как формалист, "не национальный кадр" и "еврейский художник".

В 1976 г. поселился в Иерусалиме. Окна его мастерской смотрят на Иудейскую пустыню, Мертвое море. Пустыня безмолвно присутствует в холстах художника, в его натюрмортах, драматичных и сдержанных.

Одним из важнейших событий своей жизни Левин считает поездку в Испанию — в музей Прадо, в Толедо, к картинам Тициана, Эль Греко и Гойи.

Эдуард Левин говорит: "Чем было борение Иакова-Израиля? Борением с Богом или с Сатаной? Старомодная и смешная, забытая или просто непознанная, борьба эта вечна. В страшном приговоре "Искусство для народа" (читай поп-арт, авангард) — вой ощетинившегося волчьего века. Упраздняется гильдия мастеров, цель уже — лишь сотворить нечто непохожее на то, что делают другие. И здесь начинается парадокс: порождение комплекса неполноценности, как близнецы, похожи друг на друга обезличенные детища потока, объединенного в антиискусство.

Мир художника ведь по сути не вокруг, а в нем самом. Здесь и истоки, и вершина его творчества.

Вслед за Руо я осмеливаюсь сказать: "Конечно, я бы писал даже на необитаемом острове, не надеясь быть увиденным".

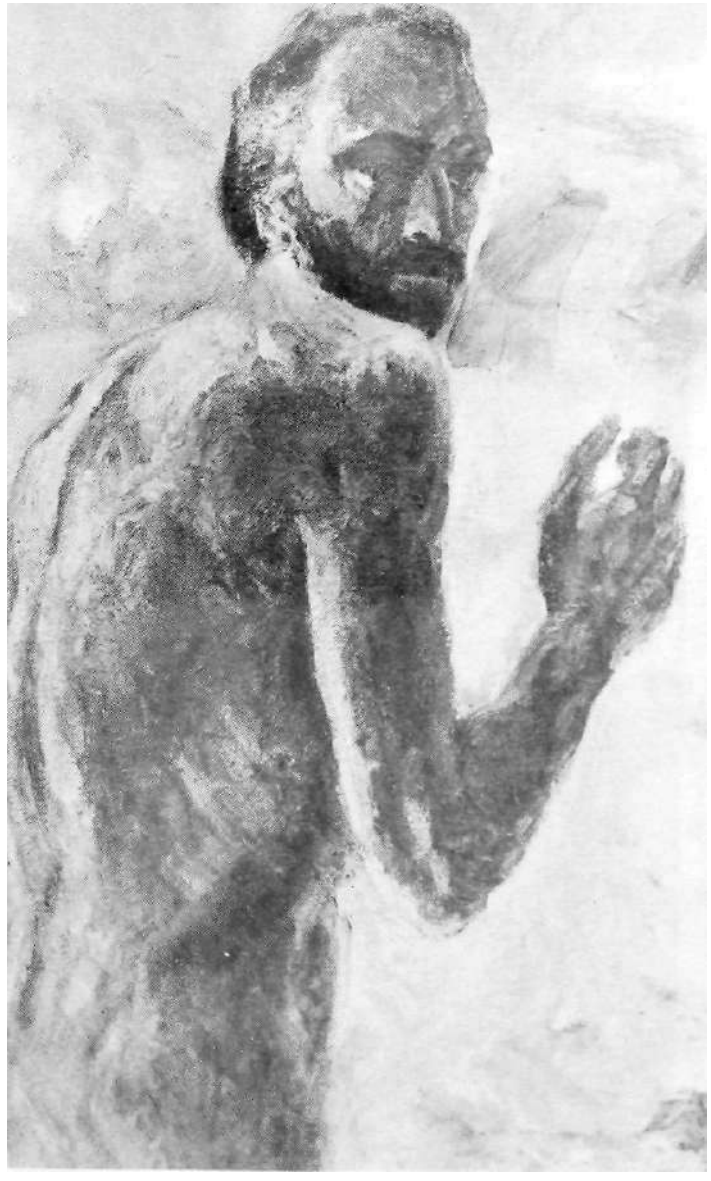
Художник живет на земле, но взор его обращен в небо. Стиль, манера художника — лишь внешняя сторона его работы. Одухотворенность того, что он делает, — родственный код, расшифровать который нам не дано, критерии которого не определены и который все же несомненно существует, — это не код времени, не формула успеха, а код человеческой души. Значение художника — в его человечности.

И здесь я снова прихожу к воспоминанию о борении. Не то ли же борение — сатанинское — наступление на человека, жесткость и жестокость "искусства для масс" — и живущее, казалось бы, само по себе, искусство, чьи истоки — в духовной сути самого человека? И уже неважно подчас, что и как сделано, а важно — что стоит за картиной, за фреской, за маленьким экслибрисом, что вызвало их к жизни и кто он — художник, — не имя его, конечно, а кто он — человек?

...Художник обращен в небо, даже если глаза его смотрят на землю.

Р. В.

Портрет. Холст, масло. 1981



Иов, Холст, масло. 1984

Раненый. Фреска. 1984

Смотрящий в небо. Фреска. 1984

Распятый. фреска. 1984

Руки. Холст, масло. 1984

243

Пейзаж Толедо. Холст, дерево, масло. 1981

242

Пейзаж Иерусалима. Холст, масло. 1979

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЗИНОВИЙ ЗИНИК — см. № 82

ВЛАДИМИР МАТЛИН — родился в 1931 г. Окончил юридический факультет МГУ. Семнадцать лет проработал редактором и сценаристом на киностудии Центрнаучфильм. По сценариям В.Матлина снято около десяти короткометражных фильмов. Один из них — "Ночь на размышление" (режиссер Цукерман) был запрещен в СССР, нелегально вывезен на Запад и получил премию на Международном фестивале "Филмэкс" в Лос-Анджелесе. С 1975 года работает на радиостанции "Голос Америки", публикуется в русскоязычной и англоязычной печати.

МАРИНА ГЛАЗОВА — филолог по образованию, поэт и переводчик. В эмиграции с 1972 года. Живет в Канаде. Печатается в русскоязычной прессе.

А.ЕРЕМЕНКО — стихи получены по каналам самиздата. Печатаются без разрешения автора.

ЕФИМ МАНЕВИЧ — родился в 1937 году. По профессии инженер-электронщик. Окончил Московский энергетический институт. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1972 году репатриировался в Израиль. В настоящее время живет в США.

ЕФИМ ЭТКИНД — родился в 1918 г. Писатель, литературовед, переводчик и критик. До отъезда из СССР — член Союза писателей. Окончил Ленинградский университет. Во время войны воевал на Карельском и Третьем Украинских фронтах. После войны преподавал в ленинградских вузах. С 1952 по 1974 год — доцент, а затем профессор Ленинградского педагогического института им.А.И. Герцена. В октябре 1974 г. Ефим Эткинд, уволенный с работы и лишенный ученых степеней и званий, вынужден был эмигрировать. В настоящее время живет в Париже. Профессор Десятого Парижского университета. В эмиграции много работает над популяризацией русской поэзии. Под его редакцией впервые на французском языке вышли поэтические переводы А.С.Пушкина. Под его же редакцией готовятся переводы М.Ю.Лермонтова. На французском и немецком языках Е.Эткиндом написан ряд книг о русской поэзии. Широко известна его книга "Записки незаговорщика", посвященная анализу советской жизни, в частности, судьбе творческой интеллигенции.

МАРРАН — рукопись пришла по каналам самиздата.

СЕМЕН ЛИПКИН — родился в 1911 году в Одессе. Поэт, переводчик. В силу специфических советских условий вынужден был много заниматься переводами с калмыцкого, киргизского, кабардинского и других языков. В переводе Липкина вышли также поэмы Навои, Фирдоуси и тюркоязычных поэтов и поэтов, пишущих на фарси. С 1934 года был членом Союза писателей. В 1979 г. в знак протеста вышел из него. В настоящее время живет в Москве.

МИХАИЛ РЕЙМАН — родился в 1930 году в Москве. До 1954 года жил попеременно в Чехословакии и СССР. В 1954 году окончил исторический факультет МГУ. Затем преподавал в Высшей политической школе в Праге. Доктор исторических наук. Имеет около шестидесяти печатных работ. Активный участник "Пражской весны". В 1976 году эмигрировал в ФРГ.

БОРИС ХАЗАНОВ
Я ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ

ОДНОТОМНИК ИЗБРАННОЙ ПРОЗЫ 352 стр.

Однотомник избранной прозы Бориса Хазанова включает три произведения, которые объединены общей темой. Эта тема — "антивремя", эпоха, давшая жизнь поколению, чье детство и юность протекли в промежутке между двумя мировыми войнами. Вместе с тем антивремя — это время, обращенное вспять, упорядоченное нашей памятью и как бы переживаемое *заново.*

Повесть "Час короля" — история вымышленного миниатюрного государства, оккупированного нацистской Германией.

"Я Воскресение и Жизнь" — семейная драма, в центре которой стоит ребенок.

"Антивремя" — роман, действие которого, как и в предыдущей повести, происходит в Москве. Это история любви, связавшая трех молодых людей и рассказанная много лет спустя ее единственным оставшимся в живых участником. В роман вплетена тема "двойного отцовства" — русского и еврейского, которая становится частью общей темы исторической судьбы страны. Написанная в конце 70-х годов, книга вместе со всеми черновиками была арестована КГБ и позднее написана ав тором заново.

Все три произведения Бориса Хазанова, писателя, работающего в современной аналитической манере, с использованием многозначной символики и фантастики, но пишущего ясным, лаконичным и гармоническим языком, воспроизводят одну и ту же жизненную ситуацию — одиночество человека, отстаивающего свое достоинство перед грозными силами неумолимой Истории, деспотического Государства и своего собственного душевного подполья Книги Бориса Хазанова не относятся к роду политической, идеологической, националистической или какой-либо иной ангажированной литературы. "Душа мытарствует по России в XX веке" — в этих словах Блока заключена вся его программа.

Заказы и чеки присылайте на адрес издательства:

Time and We

475 Fifth ave, suite 511-A, New York, New York, 10017

Цена 15 долларов, включая пересылку

АРДИС

Владимир Паперный. КУЛЬТУРА „ДВА". Советская архитектура 1932 — 1954 гг. 338 стр. Большой формат. Много иллюстраций. 19.50.

Эта книга об архитектуре и других видах искусства, об истории и экономике, об образе жизни и типах социальной организации; о закономерных циклических процессах, первичных по отношению к усилиям отдельных архитекторов, критиков, чиновников и вождей.

Автор развивает гипотезу о наличии двух враждебных друг другу культурных механизмов, поочередно преобладающих в советской культуре, условно названных им культура 1 и культура 2.

„В общем потоке научной и документальной литературы третьей эмиграции книга Владимира Паперного занимает особое место. Сочетая в себе черты глубокого научного исследования и блестящего сатирического памфлета, она удовлетворит читателей с высокими интеллектуальными запросами и не оставит равнодушными ценителей яркого, образного, лаконичного стиля".

— Сергей Довлатов

Мартин Круз Смит. ПАРК ИМЕНИ ГОРЬКОГО. 393 стр, 10.00.

Международный бестселлер — в основе материалы многочисленных интервью с эмигрантами из России.

Семен Липкин. КОЧЕВОЙ ОГОНЬ. Стихотворения и поэмы. 167 стр. 6.00.

„Анна Ахматова называла имя Липкина среди наиболее значительных наших поэтов каждый раз, когда речь заходила о советской поэзии".

— Л. Чуковская, ЗАПИСКИ ОБ АХМАТОВОЙ

Книги „Ардиса" можно приобрести во всех русских книжных магазинах или непосредственно у ARDIS PUBLISHERS, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104 USA.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫХОДИТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аркадий ШЕВЧЕНКО
"РАЗРЫВ С МОСКВОЙ"
Авторизованный перевод

Для русского издания автор предоставил дополнительные материалы, не вошедшие в английское, французское и немецкое издание своей книги.

Объем книги 512 стр. Цена 19 долларов, включая пересылку.

АРКАДИЙ ШЕВЧЕНКО — БЫВШИЙ СОВЕТСКИЙ ДИПЛОМАТ ВЫСШЕГО РАНГА, ПОРВАВШИЙ ОТНОШЕНИЯ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ В 1978 ГОДУ.

С 1956 года Шевченко был сотрудником Министерства иностранных дел. В книге ярко обрисована закулисная реальность работы в этом министерстве.

В 1959 году Шевченко сопровождал Хрущева в его поездке в Америку. Описание этой поездки, а также характера Хрущева — принадлежат к одним из лучших страниц книги.

В период с 1970 по 1973 год Шевченко был советником министра иностранных дел А.Громыко. Рассказывая об этом периоде своей жизни, автор подробно анализирует цели советского детанта, отношения с Китаем, вопросы разоружения, работу Политбюро и закулисные отношения между его членами.

С апреля 1973 года Шевченко — заместитель Генерального секретаря ООН. Эта часть книги посвящена рассказу о том, как эксплуатирует СССР своих работников в ООН И таким образом финансирует деятельность КГБ в США. Кроме того, в книге даны портреты многих политических деятелей, созданные автором по личным впечатлениям, — это и Хрущев, и Громыко, и Пономарев, и Андропов, и Горбачев и многие другие.

Читатель, обратившийся к книге Шевченко, получит уникальную возможность узнать, как формируется внешняя политика СССР, от человека, принимавшего в ней непосредственное участие и рассказавшего о ней откровенно и искренне.

Заказы и чеки направляйте на имя издательства:
LIBERTY PUBLISHING HOUSE
475 Fifth ave, suite 511 A. New York, New York, 10017

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА
Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; "Свободный мир"; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП "АВРОРЫ"

Инженер Сэм Житницкий: "Оплот Израиля"; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака

*Книгу можно заказать в редакции "Время **и** мы":*
"Time and We" 475 Fifth ave, room 511-A
New York, New York, 10017
Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

ДЖОН БАРРОН "КГБ СЕГОДНЯ"

Большинство наших читателей знакомо с именем Джона Баррона — автора нашумевшей книги "КГБ", переведенной на многие языки мира, в том числе и на русский.

Книга "КГБ сегодня" — новейшее исследование того же автора, рассказывающее о самых зловещих сторонах и тайных пружинах деятельности советской секретной полиции в наши дни.

На примерах подрывной деятельности КГБ в Соединенных Штатах и Японии Джон Баррон рисует широкую картину политического бандитизма, инспирируемого Москвой во всех странах мира.

В книге подробно раскрывается механизм деятельности КГБ. Джон Баррон рассказывает о том,

КАК ДЕЙСТВУЕТ КГБ СЕГОДНЯ И В СССР, И В ОСОБЕННОСТИ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ,

КАК ГОТОВЯТСЯ КАДРЫ БУДУЩИХ РАЗВЕДЧИКОВ И ВЕРБУЕТСЯ АГЕНТУРА НА ЗАПАДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДЫ САМЫХ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ,

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАЖА ПЕРЕДОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,

КАК КГБ ВЛИЯЕТ СЕГОДНЯ НА ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ И О МНОГОМ ДРУГОМ.

Книга написана в форме захватывающего детектива. В то же время она является важнейшим обличающим документом нашего века.

Объем книги — 432 страницы. Цена — 22 доллара.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
475 Fifth ave, suite 511-A
New York, New York
10017

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

Александр Орлов

ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ. КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателем. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской.инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 15 долларов. Пересылка — 1 доллар.

Заказы и чеки высылать по адресу:

Time and We
475 Fifth ave, room 511-A
New York. New York 10017

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГА--ЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА И СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫШЛА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Цена книги -15 долларов.
Заказы и чеки высылать по адресу: **Time and We**
475 Fifth ave, room 511 - A
New York, New York, 10017

Григорий СВИРСКИЙ

ПРОРЫВ

Роман о судьбе эмиграции из СССР

Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э.Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".

Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".

В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, которых судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.

Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни герое в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные, человеческие драмы, через судьбы героев.

"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:
Hermitage Publishers of New Russian Books
2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 1985

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подлиски в США — 43 доллара; для библиотек — 54 доллара; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:

Time and We
475 Fifth Ave. suite 511-a. New York, New York 10017
Цена в розничной продаже — 8.50

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина) .

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 450 франков; для библиотек — 550; с целью экономической поддержки журнала 550 франков;

— в Германии — 150 немецких марок; для библиотек — 180; с целью экономической поддержки журнала — 200 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1985

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия. . . . . .

Имя. . . . . .

Адрес. . . . . .

Подписной период. . . . . .

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на. . . . . год. Высылать с номера. . . . . .

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись.....

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /**Time and We**/.

Из Германии. Англии. Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США и высылается по адресу "Time and We"

475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A. NEW YORK. NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:
475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017

OCR и вычитка - Давид Титиевский, март 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки:
Эдуард Левин. Экслибрисы.

Линогравюра, 1972 г.

Гравюра на дереве, 1972 г.

Гравюра на дереве, 1974 г.

Офорт, 1974 г.

Линогравюра, цинкография, 1975 г.